



Дружба народов

4/2025



В номере:

Наследственность и предопределённость

Герой романа Дмитрия ИСАКЖАНОВА «Проскинитарий» (начальные главы опубликованы в «ДН»: № 8, 2022; № 4, 2023; № 3, 2024) живёт в своём длящемся настоящем, сплетённом из воспоминаний и ощущений детства, в котором островами возникают события и люди, — всё, что он «видел, всё, что он слышал, всё, что вдыхал лёгкими и впитывал через кожу», то, что отпечаталось в характере и судьбе. И как всё это, с таким трудом приобретённое, передать сыну? «Что если и вправду её <жены> порода? — требовательно задавал он снова и снова свой вопрос тишине. — Что если...» И принимался разбирать, раскладывать по «стопочкам», направо-налево черты и жесты: его-её, дедушки-бабушки. Сойдётся или не сойдётся пасьянс?.. И хотя сюжетная рамка романа весьма неприхотлива: возвращение героя из Арабских Эмиратов, где он работал, в Россию, домой, в рушащийся мир семьи, — это роман прежде всего о времени, в котором проживается, изживается жизнь.

Собранье сочинений света

Поэтическая подборка Сергея ЗОЛОТАРЁВА с ироничным названием «Абсолютная классика» — зарифмованный портрет нашего времени: сложного, подчас абсурдного, вызывающего и оторопь, и восторг, но неразрывно связанного с реальной жизнью вообще и жизнью отдельного человека: «мы с тобою обнимемся/ как в автобусном парке/ пожилые омнибусы/ задувая огарки...» В лирике Феликса ЧЕЧИКА много о детстве, родителях и дорогом Пинске — всё это с годами протупает рельефнее и больнее, и жизнь как «чеховская пьеса/ и бахтинский карнавал».

Поэтика собирающей «слово золотое» Любви ГЛОТОВОЙ — «и рифмой, и полрифмой, и верлибром» — стоит на «настоящем простом», которое не только время, но и быт, и мир.

Фото по памяти

«Не отпускали фантомные боли от потери театра. Во сне я пытался в него попасть. Что за чертовщина — не узнаю двери, они другие, не привычные. Звоню, стучу. Вахтёр не открывает. Надо же, всегда такой приветливый. Он не отдаёт мои вещи, вырезанную отцом из дерева собаку, которая раньше в театре никогда не была. Я кричу на несчастного так, что самому стыдно. Не пересказать все сны. Чем явственнее, тем хуже утро: прежней жизни не будет, а новая — во всём новая...» В рубрике «Проза.doc» — главы из будущей книги режиссёра Адольфа ШАПИРО «Замри. Расставания и встречи». Жизнь после закрытия Рижского ТЮЗа. Проявленные временем портреты любимых людей, окружавших в детстве, и людей театра: Натальи Крымовой, Олега Табакова, Давида Боровского, Сергея Дрейдена...

Измена? Побег? Спасение?..

«Начало XXI века в чем-то повторяет начало XX. Наше столетие не копирует предыдущее, скорее собирает в иной композиции фрагменты предшествующего опыта, разбросанные в истории; ведь это уже было: остров Лесбос, венецианский карнавал, кошмарные войны, потоки беженцев и переселенцев, опасные изобретения и открытия, неистребимая жажда нового... Тема миграции — неотъемлемая часть общей картины истории и не может быть понята без неё. Какие тектонические сдвиги рождают это явление? Что толкает отдельного человека на те или иные поступки, совпадающие с общим вектором или прямо ему противоположные?»

В основе публицистических заметок Анатолия ЦИРУЛЬНИКОВА «Миграция» — записанные им личные истории людей из разных стран.

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.02.2025.
Подписано в печать 20.03.2025.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отг. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН





СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей ЗОЛОТАРЁВ. Абсолютная классика. Стихи	3
Дмитрий ИСАКЖАНОВ. Проскинитарий. Роман. Продолжение	9
Феликс ЧЕЧИК. Пунктир берёз. Стихи	80
Наталья ВЕСЕЛОВА. Милая Мила. Повесть	83
Игорь КОРНИЕНКО. Безделушки, или Сливовая косточка. Рассказ	107
Любовь ГЛОТОВА. Настоящее простое. Стихи	117
Татьяна ФИЛАТОВА. Спасибо за музыку. Два рассказа	120
Елизавета ЕВСТИГНЕЕВА. Собрание сочинений света. Стихи	133
Алёна ШВАРЁВА. Ловля корюшки в тёмное время суток. Рассказ	136
Ольга СИЧКАРЬ. Сокровенное. Рассказ	147
Елена ЧАЙКА. Жить на краю. Стихи	153

ПРОЗА. ДОС

Адольф ШАПИРО. Замри. Расставания и встречи. Главы из будущей книги	156
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Миграция	208
--------------------------------------	-----

НАЦИЯ И МИР

Юрий КАГРАМАНОВ. У них всё возможно. Полемические заметки	230
---	-----

СВЯЗКА РЕЦЕНЗИЙ

Татьяна ВЕРЕТЕНОВА. Надо ли быть своим? (М.Неволошин. «Где сидит фазан»; А.Лужбина. «Юркие люди»; А.Обух. «Следующая остановка «Пионерская-стрит»»; С.Волкова. «Великая любовь Оленьки Дьяковой»)	250
---	-----

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Человек — это больше, чем тело, страна и планета (Ю.Хоменко. «Лётное поле»; Д.Гаричев. «Пусть долетят»; А.Каримова. «Между»)	258
---	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Смешной лес	269
---------------------------------	-----

SUMMARY	272
---------------	-----

Сергей Золотарёв

Абсолютная классика

* * *

в ателье в архангельском в пошивочной
сбившись с курса кройки и шитья
Господи я молвил безошибочно
из бумаги курточка моя

сам-то деревянный по подобию
образа могильного креста
отче мой приёмный из надгробия
смастерил мне азбуки фристайл

и бумаги кожа буйволиная
ближе к телу нежели своя
Божье имя длинное-предлинное
по размеру совести кроя

так в стихах заматывали мумию
но из сорока восьми листов
общее в тетради лишь безумие
наизнанку вывернутых слов

* * *

человек смотрит в окна
для него дважды два
это часть филиокве
а москва это старая смоква
погорелого века вдова
шеи тонкие словно шарфы
и москва как камея
появляется в роли москвы

Золотарёв Сергей Феликсович — поэт, прозаик. Родился в 1973 году. Учился в Государственной академии управления им. Серго Орджоникидзе. Автор поэтических сборников «Книга жалоб и предложений» (М., 2015) и «Линзы Шостаковича» (М., 2020). Лауреат премий журналов «Новый мир» (2015) и «Дружба народов» (2021). Живёт в г. Жуковском.

человек смотрит в оба
потому-то его
взгляд вбивает железные скобы
в парный облик всего

но и этого мало
как по мне
вся б москва утопала
в кирпичах в кирпичах фальконе

а и жители вкупе
как улитки плачевную слизь
очищали б аквариум с гуппи
что уже после них завелись

но в домах наших светом
натирают сетчатки ожог
и не пыль на предметах
но подросший пушок

по-над верхней губою —
и начни говорить
вещи (хоть бы и сами с собою)
где искать нам тот гидроперит

что тоску обесцветит
мир устроен под нужным углом
из загадочного в предмете
только старца зосимы поклон

человек ковыляет
мимо окон и всё же как встарь
из толпы иноземцев его выделяет
словно говор морозный январь

* * *

...на ледяную спицу

с чего бы то о чём и по-каковски
вы говорите с нами не пойму
Арсений Александрович Тарковский
рассыпав было набранную тьму

там ангел смерти кается икает
вязальной спицей щёку протыкает
без крови и без капельки смущения
он знает место где щека моргает
в своём вращеньи

там в колесе (чуть больше проживи мы)
велосипедном иже херувимы
водили бы на спицах хоровод
многоочиты и неуловимы
горящие колечки катафот

но пупсы словно каменные клипсы
висят на мочке уха не проткнув
собой слуха дабы он не слипся
в железный клюв

* * *

липе зимой примерещились цветики
пчёлы кормящиеся из рук
вышедший из комитета по этике
солнечный круг

где обретаётся в лиственном шелесте
прикосновений запас
там у деревьев слёзные железы —
завязи глаз

липа внутриутробным развитием
зрительного сучка
смотрит какое-то старое видео —
лето река

слышит всё тёплое и временами —
веток пучком —
как размножаются именами
люди кругом

* * *

телескоп замёрз как воздух
линза выпала в кристалл
город с мыслями о звёздах
собираться перестал

наблюденье как искусство
ветром перенесено
на себя чтоб мысли в чувство
привести

здесь никто не умирает
кошке (в эти сорок дней)
состоянье выбирает
размышление о ней

ночью небо кьюар-кодом
донимает местный СДЭК
проведи рукой по водам
и получишь первый снег

тот кто слишком озабочен
приращением краёв
мироздания — birdwatching
выбирает вместо слов

(можно маленькую птицу
столь неправильно назвать
что потом она гнездится
на особицу опять)

да и я мой соглядатай
я живу в течение дня
что ты смотришь на меня

* * *

ступени каменные с планочкой
чтоб не поехала нога
и я подошвою изнаночной
кладу ступню наверняка

но если собственное творчество
ходьбы хоть как-то осознал
то руки хлопают как форточки
открытый выстудив финал

шагами шинами полозьями
мы разоряем гнёзда лиц
что прямо в небе расположены
не зная глиняных таблиц

деревья смешанные с травами
звучат как если извлекли
(где пахмутовы их где добронравовы?)
живую ноту из земли

как свету белому исполнится
16 миллиардов лет
достигнув возраста согласия
он непременно скажет нет

* * *

отражайся тщательнее мой мальчик
в зеркалах словно руки перед едой
моешь с мылом — как и любой зеркальщик
начиная с этой закончишь с той
стороны — от частого отражения
серебрится кожа амальгам
но подумай всякое шелушение —
и омоложение и корм мальчикам
любопытства от роду головастик
божьем промыслом к рыбному прикреплён
и уткнувшись нимбом в дешёвый пластик
наблюдает бедных своих гулён

* * *

дерево молнией испепелённое содержит
рукопись сгоревшую задолго до написания
(и появления паттерна)
вынутый из милосердия стержень
останавливает в касание
реактор ядерный

вспыхнуть возможно мгновенно но вскоре погаснуть
или огонь пронести на себе как перцовый пластырь

Ганц Кюхельgarten пример — так и нас с тобой выкупают
ангелы чая неряшливость уничтожить
в тёплом свете фаворском купают
дабы страницы жизни до тела съесть

с неба спускают лестницы трапы шесты понтоны
пожарные знают что рукописи не горят а тонут

* * *

мы с тобою обнимемся
как в автобусном парке
пожилые омнибусы
задувая огарки

зажигательных свеч
гужевые лошадки
отошли далеко их оставив пылиться —
на вагонной площадке
мы вольны развалиться

что нам графики трафики
если вне расписанья
скорой помощи рафики
да горячие финские сани

обниматься и ластиться
нам осталось и это
абсолютная классика

* * *

до нас доходит постепенно
что семенами на лету
в полях строительная пена
заделывает пустоту

что каждый цветик-семицветик
разбрасывает лепестки
как обязательный герметик
по истечению реки

зима без снежного покрова
вдруг обнажила суть вещей
над дверью к счастью подкова
лишь увеличивает щель

непритворённости: откроешь —
доводчик тянет на запор
как если жизнь застряла промеж
двух положений мир и мор

земля безвидна одинока
была и будет но теперь
всечеловеческое око
снимает дерево с петель

как сумасшедший с безопасным
тройным станком наперевес
природа ждёт где брить на пасху
чтоб после сделали надрез

Дмитрий Исакжанов

Проскинитарий

Роман. Продолжение

3. Домашние вечера и конец света

Конец света, которого Заяц когда-то так боялся и потом бояться забыл, кажется, наступал. Он приближался исподволь, безо всяких спецэффектов, без взрывов и радиаций, без всего того, от чего стоило бы бежать в подвал и что враз оставляло бы на свете его одного, лишив близких и родных людей — все были живы, здоровы, рядом, заняты делами, и всё же... Заяц оставался один.

С утра все разбегались: тесть, заговорщицки подмигнув, сообщал, что уходит «решать вопросы» (возвращался с координацией чуть нарушенной, как у опьянённого любовью кота); тёща с Варварой убегали следом на неопределённое, но весьма долгое время, и даже Женечка отпрашивался «погулять чуть-чуть во дворе» и приходил домой только в сумерках, замёрзший и голодный.

После ужина тесть, тёща и Варвара садились перед телевизором и, отрешённо уставясь в экран, лузгали семечки. Лузгали сосредоточенно, словно выполняли план: до оскомы, до трещин на языке. С такими языками много не наговоришь.

Гора шелухи цвета соли и перца росла, как пирамида.

От работы такой уставали, конечно, и порой уходили спать, оставив задел на утро, так что следующий день начинался с того, на чём закончился вчерашний. И, с утра поглощённые трудом, терялись в нём, растворялись в шелухе так, что к обеду, отрешась вдруг, с удивлением оглядывались, себя и друг друга не узнавая, и места не узнавая, и самих дней, мельчающих, становящихся крохотными, никчёмными, ничтожными, как эти семечки, не узнавая тоже. Заяц, видя такое наваждение, вспоминал забавное Женечкино слово «симекулы», но ему было совсем не до веселья.

Исакжанов Дмитрий Константинович — прозаик, поэт. Родился в Омске в 1970 году. Образование высшее юридическое. Печатался в журналах «Арион», «Знамя», «Новая Юность». Лауреат премии журнала «Дружба народов». Живёт в Подольске.

Начальные главы романа опубликованы в «ДН» — 2022, № 8; 2023, № 4; 2024 № 3.

— Слушай, — взмолился Заяц Варваре, — может, сходим куда-нибудь вместе? В театр, в музей, в ресторан, в конце концов? Просто прогуляемся...

— Когда? — холодно спросила Варвара.

— Завтра, послезавтра... — неуверенно пробормотал Заяц. — Посмотрим, выберем...

— Когда? — снова повторила Варвара, и голос её был сух. — Завтра мы с мамой идём в ателье, послезавтра — снова туда же. Потом у нас вечер встречи с одноклассниками, потом мы с подругами идём в Русский Музей, а там уже пора и уезжать.

Заяц поник.

— Вон сходите с Женькой, погуляйте по городу вдвоём, — смягчилась Варвара неожиданно.

И отец с сыном принялись гулять. Возражения отменялись с ходу, мольбы «я сам, я во дворе» игнорировались напрочь — только вдвоём, как можно дальше от дома. Васильевский остров, Стрелка, Новая Голландия (ближайшие места Женечка уже исходил самостоятельно) — всё памятное, всё где когда-то бывали Заяц с Варварой, манкируя занятиями.

Глазели, болтали, сочиняли, глядя на гуляющих, истории: «Тако же тама живут странные продолговатые собачки, еллинами именуемые “таксос”. Собачки сии ростом невелики, но зело длинны, аки змеи, и бегают вретящиеся (видимо, рассказчик всё же хотел сказать “вертящиеся”) на пузии своем...» — это о записках предка Толстопузого Бабака, Бабаке Индиоплаве, отправившемся некогда в поход в Индию и Африку.

И мечтали о лете, об отпуске: «Однажды Толстый Бабак и Бабачонок собрались в путешествие.

— Видишь ли, Бабачонок, — важно сказал Бабак перед тем, как уже выйти из дома, — я тут случайно вспомнил, что согласно знаменитому уравнению Альберта Эйнштейна масса практически равна энергии. То есть чем выше масса, тем больше энергия, сечёшь?

— Секу, — сказал умный Бабачонок.

— Вооот... — Бабак многозначительно помолчал и продолжил: — А теперь посмотри на меня и представь, сколько во мне энергии...

— Ого! — почтительно прошептал Бабачонок.

— Да... Только дело в том, что я немножко эээ... инертный. Эта энергия дремлет во мне, и её нужно пробудить, привести в действие, понимаешь?

— Понимаю. А как ты это сделаешь?

— Ну, я думаю, ничто так не бодрит, как хороший обед.

Бабачонок кивнул, и Бабак снял уже надетый на спину рюкзак, прошёл на кухню, полез в холодильник и принялся доставать кастрюльки, баночки, горшочки... Обед был славный: котлеты, сардельки, буженина, холодец, куриные окорочка и даже паштет “Печёночный”, сделанный по лучшим магазинным рецептам из гречки и птичьего пуха.

Они так натрудились, что после обеда долго отдыхали, потягивались, полёживали и не заметили как уснули. А когда проснулись, стояла на земле ночь, и звёзды в небе светили ярко и маняще.

— Вон та звезда, — показал Бабак лапой на небо, — называется Эарендель, что означает “Утренняя звезда”. Это самая далёкая звезда, видимая на нашем небе, свет от неё до нас шёл почти тринадцать миллиардов лет!

— Тринадцать! — ошеломлённо прошептал Бабачонок.

— Да... Представляешь, сколько энергии нужно свету для такого путешествия! — сказал Бабак.

И Бабачонок подумал, что когда он подрастёт, то обязательно отправится к звезде Эарендель. Только нужно будет как следует пообедать».

Сырой ветер с Невы дул не переставая, заставлял отворачивать лицо, жмуриться, а Заяц с Женечкой всё шагали и шагали, порой невольно ускоряясь, порой останавливаясь, чтобы сделать передышку. Улицы города казались как-то особенно пусты (а может быть, и вправду опустели на время зимних каникул), и в пустоте этой всё безмерно отдалялось, — и прошлое и настоящее, и подлинное и мнимое, и даже призрак Алекса навещал Зайца всё реже, хотя, конечно, и не исчез вовсе. (Вспоминая тот злосчастный вечер душевного стриптиза, Заяц ёжился и вздыхал: чем больше отдалялся вечер, тем ближе становился день, когда Алекс предстанет во плоти, со всегдашней своей ухмылочкой и неуёмным бабьим любопытством.) И уже дома, глядя в серые, словно бы посыпанные пеплом окна, Заяц дивился тому, сколько вдруг пустого, ничем не занятого места обнаруживается в душе у него самого. Как там, где прежде всё громоздилось и лезло друг на друга, теперь свободно и тускло, словно в доме, из которого съехали все жильцы и забрали вещи, и даже выкрутили из крошащихся эбонитовых патронов слабосильные жалкие лампочки.

Темнело.

Неудовлетворённое любопытство по поводу злосчастной фразы Кирилла Матвеевича и смутное ощущение чего-то творящегося втайне и вблизи от него, но ему недоступного, заставляли Зайца нервничать, и нервозность, как морская волна, то захлёстывала его с головой, то отступала, но лишь затем, чтобы обрушиться ещё мощнее, ещё сокрушительнее.

От этого укачивающего её действия, то ли от изнуряющей борьбы за покой и равновесие или же просто от этих вечных сумерек исходящего света, всё время хотелось спать. И ещё ужасно хотелось сладкого. Просто невыносимо хотелось — ощущение недостатка сладости во рту преследовало, как галлюцинация. Один раз, когда искушение оказалось чересчур велико, Заяц, не выдержав, обманом покинул дом — сказал Женечке, что ему нужно отлучиться на минутку в аптеку, — и едва ли не бегом направился к кондитерской на углу.

Перед тем как войти он воровато оглянулся — словно боялся, что сын будет преследовать его, затем осторожно, готовый при первой опасности отказаться от своего замысла или сделать вид, что он здесь, в общем-то, случайно, потянул на себя огромную тяжёлую дверь за ручку с серебряной шишечкой наверху и скользнул в душный полумрак крохотного, как грот, зальца.

Внутри было пусто, лишь у окна молодая мамаша поила соком из коробки сидящего в коляске ребёнка. Продавщица (или барменша, или кондитерша — чёрт её знает, как там правильно), присев на корточки, спиной к залу, перебирала что-то в распахнутом настежь холодильнике. Отлично. На ходу

доставая деньги, Заяц подошёл к прилавку и без раздумий купил целую коробку пирожных «Наполеон». Восемь штук. Подумал, не взять ли ещё кофе или чай, но решил не разбавлять удовольствия и так, с одной коробкой, отошёл в глухой конец зала. Усевшись за столик, он снял картонную крышку с прозрачным окошечком и, не теряя времени, подцепил пальцем первый увесистый кусок...

Торопясь, пачкая пальцы кремом и крошками, отдуваясь и отрывая, он упихивал в себя пирожные — одно за одним, — глотал, почти не ощущая вкуса, оглушённый приторной сладостью, и отчего-то изводился неуместной нелепой мыслью о том, что, может быть, к губам его прилипли крошки, множество крошек, и кто-нибудь вошедший, увидит его *таким*. Впрочем, эта мысль отвлекала его от угрызений совести, и он был ей за это даже благодарен.

Скоро ему стало трудно дышать, он в десятый раз пересчитал глазами оставшиеся треугольники: сколько их ещё тут? Ещё много. «Зря я всё-таки кофе не взял», — подумал он. Есть уже не хотелось, вид крема, воображаемая сладость его — отвращения ещё не вызывали, но воображения уже не будоражили. Что-то упало за спиной и загремело, катясь по кафелям. Заяц вздрогнул и обернулся: словно дожидаясь этого, громко, визгливо заорал ребёнок. Мать, присев перед ним на корточки, зашипела, заругалась, затем встала и поволокла коляску к выходу. Продавщица хлопнула дверцей холодильника. Заяц опустил голову, передохнул и заработал челюстями ещё быстрее.

Наконец, кое-как впихнув в себя последний кусок, он осторожно огляделся и облизал перепачканные кремом пальцы. Встал, вытирая с лица пот. Взял пустую коробку и побрёл к выходу. У самых дверей бросил коробку в ведро, поискал взглядом на свободных столах салфетки — их нигде не было, не было и продавщицы — видимо, ушла в подсобку. Ладно, на улице снег есть. Грузное тело его ныло, голова кружилась, и хотелось пить.

Улица опрокинулась сразу, всей своей просторной тяжестью пустоты, и заегозила автомобилями и глупыми вывесками, прыгающими на растяхках по самому небу. Царапнув коготками по железу водостока, над самой головою звонко чирикнул воробей. «Откуда он здесь?» — отчего-то удивился Заяц. Он был удивлён тем, что кто-то сейчас вообще здесь есть ещё живой, кроме него, в этой узкой улице, в этом жёлобе, которым нужно скользить до самого дома, словно только он и дом были сейчас два единственно подлинных места отделившейся вдруг ото всего жизни. Он огляделся. Провёл языком по нёбу, сунул руки в карманы куртки — пальцы, сжатые в кулак, неприятно липли. Нет, тут если сумасшествием и пахнет, то лишь моим», — подумал он. Секунду поколебавшись, словно сомневаясь, стоит ли ему возвращаться, рыгнул и быстрым шагом перешёл дорогу.

И опять тянулось суконное время гостевых часов, и всё темнее ему казалось будущее, в которое он пытался заглядывать. Конец света длился, и было непонятно: то ли, раз он уже начался, можно считать его свершившимся, то ли финал преподнесёт нечто особенное, такое, чтобы уж без сомнения, как дверь — хлоп! — и на засов, а пока — живи.

А то вдруг принимались разговаривать посреди телевизора. С болезненной какой-то страстностью, с дотошностью питаемой не интересом или желанием

истины, а пустотой. Обсуждали однокурсниц, родственников и знакомых, жизнь которых вот уж удалась так удалась: и машины, и хоромы, и золото-брильянты! (А некоторым даже шубу не сообразят привезти из Дубая, хотя любой мало-мальский дурак знает, что привезти из Дубая шубу — самое милое дело: и модно, и недорого. И вообще, если жену любишь, то чего-чего для неё не расстараться...) Разговоры самозарождались и утихали одинаково внезапно — жизненные силы, питавшие мороки, иссякали, не оставляя следов.

От пустоты, может быть, часто принимались пить чай, и тогда ВПБ томно и протяжно нудела: «Вениамиин, не сёёерпай», — но Вениамин, в трико и майке, не обращая никакого внимания на супругу, втягивал в себя кипяток из кружки, отнесённой на расстояние чуть ли не вытянутой руки, и лицо его было при этом сосредоточенно и мужественно. Заяц отворачивался. Медленно вращаясь в холодном космосе, он всё больше тосковал по домашней жизни — пусть хоть такой, какая она теперь есть, — и всё больше замыкался в себе. Лишь однажды, когда Варвара, будто забывшись или, наоборот, вспомнив что-то, на вопрос, сколько ей добавить молока в кофе — Заяц никак не мог сориентироваться в мерах и объёмах чужой посуды, — ответила «симекулу», он улыбнулся. Улыбку подхватила и Варвара, но, подержав секунду, отвела её от лица.

А накануне отъезда, вечером, в доме и в самом деле погас свет. Пока встревоженно переговаривались, пока гадали, что это, локальное ли недоразумение или всеобщая неприятность, да высматривали окна дома напротив, да сомневались, стоит ли куда-то звонить или уж просто подождать пока само всё наладится — в диспетчерской-то наверняка ведь сразу узнают о таком — да вздыхали, да чертыхались на неожиданную, преждевременную эту тьму и думали, что же теперь делать без телевизора и чая, Заяц подумал, не предложить ли зажечь свечи, но подумал так же и то, что это, пожалуй, ни к чему, ибо будет сочтено за издевательство, так как понятно, *какие* свечи всем сразу придут на ум.

Под предлогом посмотреть щиток Заяц включил на телефоне фонарик и направился в прихожую. Он шёл медленно, осторожно, и снова, как когда-то в школе или на вилле в пору заката, пространство умножалось, берясь словно из самого себя, питаясь собой; выворачивалось, продлевалось, повторялось, холостое и бессмысленное, в каждом шаге. Случайный отблеск фонарика мелькнул отражением в зеркале стенного шкафа.

На прощанье тесть, помявшись, сказал Зайцу: «А свечи те я вам с Варей покупал. Увидел — дай, думаю, куплю: дело молодое. Эх вы, пиджаки...»

4. Возвращение домой

После чая Женечка достал тетрадку, фломастеры и принялся рисовать — Заяц заглянул через плечо — машинки. «Тачки», поди, свои рисует, — подумал он. — И не надоест?»

Вагон качало, линии получались не очень ровными.

Женечка, словно почувствовав взгляд отца, не оборачиваясь, шумно вздохнул:

— Ну вот, скоро снова ты уезжаешь...

— Ничего, зато в отпуске все вместе будем, — ответила за отца Варвара. И добавила: — И ремонт закажем, наконец-то от всего этого хлама избавимся, всё будет как у людей.

— Да, но до отпуска ещё полгода, а может, и больше, — вмешался Заяц.

— Что ты хочешь сказать? — спросила Варвара голосом ровным и тяжёлым, как рельса.

— Что устал я уже. Кататься так... И Женька растёт без меня, я даже и не вижу его почти.

— Слушай, — Варвара вся подобралась, — так работают тысячи людей! В тех же Эмиратах — ты сам говорил — вообще почти все приезжие! В мире таких — миллионы!

Заяц поспешно умолк. «Ну вот, — он досадливо вздохнул про себя, — собирался сказать, собирался... и сказал, когда и не думал даже. И вышло всё по-дурацки и глупо...»

Ему как-будто не хватает воздуха, и он долго смотрит в окно, туда, где и простора, и воздуха много, он думает о том, что конечно, да, их миллионы, но мы-то не миллионы, и даже не тысячи. Мы — это мы. Единственные. И глупо всё это: сначала каждый ищет своё, единственное и неповторимое, а потом, не найдя, или найдя лишь отчасти и привыкнув к найденному, сживается, смиряется с неполнотой и влачит свой век уже как есть, ссылаясь на то, что «так принято», что «все так делают» и «всегда так было».

А за окном всё смеркалось, темнота там сливалась с темнотою здесь, и во всеобщем этом равенстве темнот пропадали стены, полки, — всё растворялось, уходило, и как-будто становилось даже легче дышать...

Зажёгся свет, и все вернулось на свои места, даже с обманчивым прибытком, а он всё так же смотрел в окно, и сквозь отражение собственного лица, вброшенного в узкую грязную раму, скользили, летели, стекая мутным потоком за предел зрения то рощицы, то поля и речки, то малые безымянные городки.

И Варвара смотрела в окно и думала, что деньги, как ни крути, нужны, что осточертела уже вся эта музыка в доме — куда ни ступи, всё визжит и поёт, — что Женьке нужно покупать на будущий год почти всё — вон как вырос, а денег вечно в обрез... Соскучился он, видите ли, устал. Если по каждому поводу распускать нюни, то так далеко не уйдёшь. Тоже мне... Кстати, и ему нужно что-нибудь домашнее туда купить, а то всю задницу уже протёр в своих трудах.

Легли спать, но спать не хотелось. Свесившись с полки, Заяц отыскал глазами глаза сына и спросил:

— Ну что, зайчонок, будешь дома писать свою сказку?

Сын виновато вздохнул:

— Не знаю... — И умолк.

Зато неожиданно взвилась Варвара:

— Что ты ему голову морочишь своими сказками! Что ты от него требуешь, чтобы он писал! Он в школе пишет! Он, если хочешь знать, ненавидит всю эту писанину!

Заяц шокирован агрессией жены и едва удерживается от того, чтобы не юркнуть под одеяло.

— Растёт он без него, бедного! — продолжила супруга. — А что ты о нём знаешь, ты им интересуешься?! Ты поговорил с ним, как я просила?

— Варюш, да когда бы я?.. Да и... не могу я так, ни с того, ни с сего...

— А что ты можешь? Что ты можешь вообще?! — Варвара приподнялась на локте и смотрит на оробевшего Зайца снизу вверх, и взгляд её похож на взгляд не Лазаря, но зенитного орудия.

— Тише, тише, люди кругом... спят, — пытается урезонить её внезапно вспотевший Заяц.

Варвара, опомнившись, убавляет громкость, но продолжает изливать всё, что накопилось у неё на душе. Свистящий шёпот наполняет тесное пространство купе, мешаясь с сумраком в самой ядовитой пропорции.

— Тоже мне, отец! Самому надо сопли вытирать, как маленькому! Женьке восемнадцать будет, ему в армию идти, а он постоять за себя не может! Я недавно селёдку купила, попросила его: «Почисти и отрежь голову». А он: «Не могу, — говорит, — мне её жалко!»

В словах Варвары слышится не только бессильная ярость из-за неумения мужа решать обыкновенные, с её точки зрения, житейские дела, не только гнев, вызванный его идиотским поведением, но и обида на саму судьбу, превратившую праздник в фарс, на вообще, кажется, не очень-то задавшуюся жизнь и на что-то ещё, что-то такое, что даже и представить себе трудно, страшно даже представить, ей-богу страшно...

При словах о селёдке Заяц невольно улыбнулся и сказал примиряюще, уже без испуга:

— Ну и что? Жалко — это же хорошо! Знаешь, у нас в школе однажды случай был, пригласили на Девятое мая ветерана, Тимофея Борисовича, помнишь, я тебе рассказывал о нём? Ну, он там выступил, рассказал, как работал корреспондентом на войне, а потом спрашивает: «Если у кого-нибудь есть вопросы, — задавайте, я готов ответить». А у нас в классе двоечник один был, хулиганистый такой, Тудыкин. Вот он встаёт и спрашивает: «А вы много немцев на войне убили?» А Тимофей Борисович посмотрел так на него, на нас всех и говорит: «Ни одного, деточки. Ни одного, слава богу».

Варвара скептически хмыкнула. Зайцу стало обидно за Тимофея Борисовича и, защищая его, он пояснил:

— Он же корреспондентом работал. И вообще... чудной был. Книжку написал. Наверное, про таких и стали говорить потом «пацифист».

— Пацифист! — возмутилась Варвара. — Убивать надо таких пацифистов! Он даже близких своих защитить не сможет, если что! — И тут же, без перехода, переключилась на самого Зайца: — И ты туда же! Да что с того, что ты будешь здесь?! Я вот тебе сказала, что его в школе бьют, — ну и что ты сделаешь? Да ничего ты не сделаешь!

— Ну... Пусть ничего. — Зайцу стало жарко, он почувствовал, как щёки и уши его запылали. — Да, я ничего не сделаю, но я хотя бы переживать буду, страдать. Здесь, с ним...

— А какую он книжку написал? Про войну? — вмешался Женечка.

— Не знаю, зайчонок, говорят — стихи.

— Знаешь, уж лучше так, с деньгами страдать, чем без денег! — снова вступила Варвара. Посмотри вон на соседей, даром что все всегда дома! Им ни на что не хватает, даже отдохнуть никуда не ездят! — Шёпот жены из-за физического насилия над связками звучит яростно и страстно: — Где ты ещё такую работу найдёшь?

Заяц молчит. В каком-то смысле она права, но что же ему-то делать?.. И не только ему. Ещё десять лет такой работы, и они все станут друг другу чужие. Замкнутый круг...

Задумавшись, Заяц уже не слышит, что продолжает ему страстно шептать Варвара. Он вспоминает, как мечтал в начале своих поездок заработать денег и купить большой дом, чтобы жить в нём и по выходным собираться в огромной кухне за громадным круглым столом... Где они теперь, эти мечты? И где теперь его дом? Там? Здесь? Дома нет нигде.

В словах Варвары есть какая-то своя, сомнамбулическая, логика, но Заяцу эта логика не даётся. И он вспоминает пришедшее вчера ему на ум слово, точной формулой описывающее его нынешнее состояние: «Западня». «Ей-богу, это западня», — повторяет он себе. Ему, наконец, становится понятно, что так томило его все эти дни и казалось то усталостью, то игрою нервов, то концом света: ощущение тупика.

Сквозь эти мысли снова всплывает в сознание голос жены: «Что ты ему своими историями голову морочишь?! Он растёт, ему учиться жить нужно, понимаешь, просто-напросто жить! А ты тут...» Увы, всё реже их разговор похож на движение навстречу друг другу, и всё чаще на бегство прочь, а то и вовсе на сражение, в котором результаты действий и последствия сказанного необходимо просчитывать на много ходов вперёд.

«Надо же, хоть заметила, и на том спасибо», — раздражённо парирует ей в мыслях Заяц, пытается подняться над склокой, сказать что-то действительно важное, но кроме нескольких междометий ему не удаётся исторгнуть из себя ничего — Варвара упорно стаскивает его назад:

— Ты на себя лучше посмотри! Приехал в этой дурацкой кофте — сколько раз тебе говорила, выброси её! Выглядишь, как... прости господи... Тебе всё равно, так ты меня хоть не позорь перед родителями!

— Я хожу как мне удобно — не одежда главное!

Это уже явный шаг в сторону. Неверное движение отбрасывает его от намеченной цели, и Варвара тоже, словно в растерянности подхватив его, усиливает ошибку:

— Вот ты и ходи в чём хочешь, а я себя не на помойке нашла!

Заяц хмыкает: то, что прежде наполняло их слова особым смыслом, заполняется теперь почвенной, гнилой водицей расхожих оборотов: «Не на помойке нашла». Ах ты боже мой. Что поделать, природа пустоты

не терпит. «Ох, Рюшечка-Рюшечка, где ты нахваталась этой пошлости, когда успела...» Перед самым лицом Зайца серый пластик потолка часто взблёскивает возвратным светом проносащихся за окном фонарей.

«Поговорить с сыном...» Что же ему рассказать, как, каким образом? Самое важное ведь передаётся просто, изо дня в день. Наводится, как магнитное поле. А слова, не подкреплённые личным примером, называются “ложь”, какими бы красивыми и правильными они ни были. Но он что, мало видел меня читающим? И — ничего. А когда я ему рассказываю о том, как замирало сердце от воображаемых картин в детстве, как до сих пор чтение хорошо написанной истории буквально завораживает, он искренне не понимает меня — ведь есть видео и компьютерные игры, которые намного зрелищнее! Вот там — картины! Но те-то картины все чужие, а эти — свои! И вот, он отдаёт своё в обмен на чужое...

И живи мы все вместе, как мечталось, что изменилось бы? Он так же таращился бы в экран в своём углу, я — шуршал бы страницами в своём. Кто-то отнял у нас язык, то единственное соединительное и передаточное звено, ту необходимую шестерёнку, благодаря которой работает весь механизм...» — Заяц замялся, ища подходящее слово, но ничего, кроме пафосного «механизма семьи», на ум не идёт. И он покорно довершает: «Семьи». Еже писах — писах.

Отделять от небытия, выводить к свету сына должно именно ему — по принадлежности, по праву и обязанности родства душ. Но куда же ему выводить его, чёрт возьми, к какому свету, если тот свет, что встречал его самого, для сына вовсе и не свет? Если свет для него — это свечение экрана? Как выводить, если с каждым днём то общее, что лежит в основе всякого союза, тончает и утрачивается? Самое трудное не передать опыт человеку, а убедить человека в необходимости этот опыт перенимать. Перенимать — это тоже труд, а зачем трудиться, если давно придуманы вещи для облегчения труда?

Соблазн простоты погубил не только книгу, вся наша прежняя цивилизация на глазах устаревает, умирает, теряя важнейшие свои артефакты. Уже наши внуки будут смотреть на них с тем же недоумением, с которым мы смотрим на сосуды для ритуального орошения земли бычьей кровью. Только от нас до них прошло три тысячи лет, а от этого поколения до следующего пройдёт всего сотня. Каковы будут их мифы? Прежде люди воздействовали на материю зримо: лепили глиняные таблички, высекали стеллы, делали папирус, пергамент и ими закрепляли то бестелесное, что владело умами на протяжении тысячелетий. У них знание было неотделимо от искусства, теперь же мы научились изменять структуру материи ничуть не меняя её внешне: кремниевый кристалл, вмещающий в себя знания всех поколений, с виду ничем не отличается от такого же кристалла, но пустого — слово в буквальном смысле отделилось от дела! Мы научились изменять вещество на атомном уровне, ничуть не проникнув в суть вещественности как таковой, опыт перестал быть равным информации, опыт — это опыт, а информация — это информация, — она отныне покрывает мир, подобно дифтеритной плёнке, а что теперь есть опыт? Для каждого из нас глубина опыта всегда определялась глубиной личности этот опыт получившего

или, что для посторонних почти то же, глубиной личности его поведавшего, а теперь? Важен ли вообще, ценен ли индивидуальный и неповторяемый опыт, если он именно *индивидуальный* и именно *неповторяемый*, если нет той самой закваски, сводящей различное к единому и частное к общему?»

Мысль, не желая удерживаться на слишком болезненном частном, соскальзывала на общие рассуждения, рассеивалась, и, размышляя так, Заяц не заметил, как провалился в пустоту, лишённую света и протяжённости.

Утром, желая подластиться к жене и сгладить вчерашнюю размолвку, Заяц насколько можно игриво сообщает Варваре: «А я и не знал, что Викентий Вениаминович у нас такой шутник! Он ещё...» И едва не пригибается от возмущённого вопля: «Оставь в покое моего папу!»

— И вообще, — шипит Варвара с такой страстью, что могла бы, пожалуй, с лёгкостью задуть все четыре те злосчастных свечи, — оставь ты нас всех в покое! Оставь ради бога!!!

Нет, какая-то ошибка вкралась в их жизнь, в самую основу жизни. Что-то осталось в ней непонятым до конца, ускользнуло, утаилось. Ах, что-то будет, что-то будет! Ах, скорее бы снова *туда*...

Заяц пересел на постель к Женечке. Тот был вял, долго не хотел вставать и на расспросы отвечал неохотно. Заяц попытался его растормошить наложением рук, но — безуспешно, чуда не случилось.

Наконец, Женечка сам расшевелился, вылез из-под одеяла, попил кофе и принялся укладывать свой рюкзачок. Поезд подходил к Москве. Варвара ушла в туалет умываться и долго стояла там в очереди.

— Ты пойдёшь? — спросил у Женечки Заяц, когда Варвара вернулась.

— Нет, я дома.

— Фу, будет у Бабачонка из пасти вонять, все мухи передохнут!

Женечка не ответил на шутку. Заяц хотел сказать что-то ещё, но передумал. Разговор не клеился. За окном всё чаще мелькали станции, дачные посёлки, берёзовые рощицы (чёрные стволы деревьев понизу казались не то горелыми, не то вымазанными дёгтем), переезды, и всё это выглядело таким маленьким, таким непродолжительным, таким ничтожным... «Надо привыкать к тому, — сказал Заяц себе, машинально следя за мелочной чехардой, — что расстояние между нами будет неизбежно увеличиваться. Сколько ещё, лет пять? Да, лет пять-шесть...»

Аль-Айн. В этом оазисе посреди оранжевых песков подвижно всё, и всё проникает друг в друга, замещая и замещаясь. Даже на последних, ближних к городу барханах — там, где ветром сорваны верхние покровы песка — видно, как корни ядовитого марха, растущего на вершинах, спускаются до самого основания холма и уходят ещё дальше, вглубь, к центру земли. Раковины древних моллюсков, устилавших дно иссохшего миллионы лет назад моря, поднимаются антиклиналями к самому небу. Утренние призывы муэдзинов входят в сны органной музыкой божественной красоты. Барочная избыточность растительной жизни то и дело

обращается в свою противоположность: гниющие скудные остатки. Солнце проникает сквозь любую преграду и, как ни прячься, загар появляется, словно старость: незаметно и неотвратимо, всюду — это само время, останавливаемое телом на лету, начинает светиться в каждой точке соединения с ним.

Если подняться на самую высокую здесь гору — Хафит, то сквозь лёгкую дымку можно разглядеть вдали гигантское дерево Сидр, растущее на границе с Оманом. Дерево, на листьях которого написаны имена всех живущих. И когда ураганный ветер в ночь Бараат сотрясает его крону, то горе тем, с чьими именами листья падут на землю. В кавернах и дырах источенных ветром камней сверкают на вершине горы кристаллы кварца — разграбленные ветром и зноем тайные кладовые времени, наполнявшиеся подземными источниками тысячи лет, открыты теперь любому. Кристаллы кварца подобны семенам хлебного дерева.

От самой вершины Хафита далеко на восток разбегаются русла пересохших ручьёв. Они долго петляют среди всё мельчающих барханов и утрачиваются сами, покуда не исчезают окончательно среди безжизненных плато, там, где торчат одни лишь мерзкие, как собачий срам, циномории, вылезшие из возбуждённых солнцем недр. В другую сторону, на запад, текут с горы воды жизни, и люди, следуя их течению, населили места, покрытые тенью горы. Солоноватая горячая влага, исторгаемая плотью земли, оплодотворяет там почву и возбуждающий, животный запах мускуса стоит всюду. Роскошные дворцы перемежаются нищими хижинами; величественные башни надмеваются над самой мыслью о земном тяготении, и живые ограды, переходящие в стены лачуг, тихо дотлевают, повалившись то внутрь, то во вне склонением смерти. И то и другое — и дворцы и лачуги — втягивает в себя, миллиметр за миллиметром и год за годом, ненасытное чрево земли — по штукатурке, от самых фундаментов расплываются влажные пятна: пищеварительные соки и ферменты недр. Однажды жизнь иссякнет и здесь. Земля повернётся, солнце перейдёт за вершину. Белая пыль в ослепительно-остром свете взметнётся ветром и, долго провисев в воздухе кисеёй, всё-таки опадёт.

Подъезжали к Ленинградскому. Люди с чемоданами и сумками уже толпились в тамбуре, стояли в проходе. Вышли в коридор и они. Стояли, разглядывая проплывающие мимо вагоны на соседних путях, ржавую щербенку под колёсами, шпалы, людей. Внимание Зайца привлекла необычная парочка у самого тамбура: мать и дочь — вернее, даже не они, а платок, покрывавший голову девицы. И не покрывавший даже, а оборачивавший её кругом, пронзительно-синий, как афганский лазурит. «Экий, право же, тюрбан!» — сказал себе Заяц против воли восторженно, в тон цвету.

С вокзала добрались до дома на автобусе, вышли остановкой раньше, чтобы зайти в магазин, — завтракать было нечем. Чтобы скрасить путь, Заяц принялся рассказывать Женечке историю про хладнокровие:

«Однажды, в самом начале весны, Бабачонок позвонил на работу Толстому Бабаку и сказал:

— А я улитку видел!

— Улитку? — удивился Бабак. — Ого! Уже оттаяла, значит.

— Да, оттаяла, проснулась.

— Да... всю зиму она спала, — мечтательно произнёс Бабак. — А кто ещё на зиму засыпает, ты знаешь?

— Лягушки, змеи... — Бабачонок был умным и наблюдательным бабачонком.

— Правильно, лягушки и змеи. И ежи, и медведи. У них с понижением температуры окружающей среды падает температура тела, и они впадают в спячку. В анабиоз впадают, как космонавты будущего, которые отправятся к дальним звёздам! Поэтому их называют...

— Хладнокровные! Я знаю!

— Молодец! Так что, как видишь, хладнокровие — это не только отвага. Хотя, чтобы проспать полгода, тоже, пожалуй, требуется определённая смелость.

— Ага, требуется... Значит, улитки смелые!

— Конечно. А когда их солнышко пригревает, у них смелость испаряется и они просыпаются.

— И Бабак тоже такой: он на работе, когда никого нет, выключает кондиционер, залезает в ящик своего стола и спит до вечера! А к вечеру температура в ящике повышается, смелость у Бабака испаряется, и Бабак просыпается!

— Нет, Бабак в туалете спит. Там всегда прохладно как раз.

— Ага. Люди приходят — а дверь закрыта. Они ручку дёргают-дёргают, в дверь стучат-стучат! Уууу, как ругаются!

— Да! А там Бабак спит и ничего не слышит!

— Сохраняет хладнокровие...»

Женечка смеётся. Он уже не кукуется, и Заяц, довольный собой, косится на Варвару: заметила ли она, как он может? Но лицо Варвары отчуждённо и холодно. Заяц спрашивает у неё:

— Рюшечка, у тебя ключи далеко? А то мои в сумке...

Варвара не отвечает.

«Не может быть, чтобы она не слышала, — растерянно думает Заяц, — не может быть...»

V. Жизнь вдвоём

1. Самолетение (цветы и плоды)

И снова тикали часы, и посверкивал металлическими шарами грузный контрабас на стене, и позвякивали при каждом — даже детском! — шаге кувшинчики и статуэтки, колокольцы и брахиоподы, шуршали, соприкасаясь, паспарту, постукивали белемниты, шкатулочки, бутылочки, взблёскивали ёлочные

шары в ресничках цветной алюминиевой фольги, и что-то похожее на иллиций светилося в зелёной глубине искусственной хвои по ночам, когда во всех комнатах гас свет, и поскрипывал, уже сам собою, пол...

Но скоро и эти стены стали ощутимо давить. И то, что в Питере представлялось причиной Вариной холодности и странного её поведения — непривычная обстановка, чужие, в общем-то, люди, — теперь казалось благом, ибо на время дарило надежду на несомненное улучшение отношений дома. Дома же, в отсутствие всяких оправдывающих причин, стало совершенно ясно, что «неестественное» поведение жены, к сожалению, теперь для неё совершенно естественно, что никакого прояснения ситуации сейчас не будет и никакого «решающего разговора» в этот раз у них не состоится. Не будет ничего, кроме того жалкого бунта, что он уже выдал в купе.

Он ощущал себя жертвой и, как положено жертве, старался быть немногословным, что поначалу давалось нелегко, но довольно скоро — он с удивлением заметил это — немота стала охватывать его всего, всё больше, без усилий, и всё реже он прибегал к помощи слов, отделяваясь жестами или взглядами. Усилие теперь требовалось для того, чтобы что-нибудь сказать. Их речь на глазах увядала, осыпалась, и вот, наконец, настало время, когда от прежних слов, как от тех злосчастных фиалок, совсем ничего не осталось. В молчании, приобретшем черты исступлённого шизофренического подвижничества, стало видно, как время, ток времени, не заслоняемый ничем, влачит и толкает три маленькие жизни: с утра — перед собою, к вечеру — позади себя, ночью — глубоко в себе, без цели и без смысла.

Немота забрала дом как болезнь: все трое отдались ей покорно, даже с какой-то готовностью, угадывая в страдании подобие облегчения, и в неестественной тишине, подобно сорным травам, тут же всюду стали прорастать чужие дурные звуки, заносимые извне: дом гулил и гундел, как слабоумный, оставленный без догляда. В зале время от времени громко и отчётливо раздавались разные неприличные слова, в ванной что-то плакало и скрежетало, истерические женские визги мешались с сатанинским хохотом, кто-то мощно мочился, заполошно вскрикивал, полоумный телевизор то реготал, то произносил слова, которые были холодны и обоснованы тщательно, как бред сумасшедшего. Те уютные звуки человеческого жилья, что просачивались сквозь стены прежде, куда-то исчезли, и всё казалось, что время, их собственное домашнее уютное время, под Новый год ушло и где-то заблудилось, а вместо него появилось нечто заолодевшее, отчуждённое и никому не приносящее пользы.

К счастью, скоро Варвара уехала на свои гастроли, и тогда, постепенно, но как бы само собою всё стало входить в привычную колею: Заяц с Женечкой разговорились, в воздухе перестало пахнуть грозovým электричеством, упало атмосферное давление, и даже сатанинский хохот за стеной и прочие непотребные звуки стихли, стали звучать реже, а в конце концов и вовсе прекратились.

Утром, пока сын спал, Заяц сбежал в магазин. Когда Женечка, стукаясь об углы, по стенке, с закрытыми глазами вполз в кухню, Заяц с разогретой уже на огне сковородой приветствовал его и в позе провозглашающего герольда, выпрямившись с отведёнными назад плечами, с победно откинутой головой, простёр вперёд правую руку свою, в которой был нож, и заиграл губами туш, и забумкал, и замурлыкал, и воспел гимн утру. И повелел:

— А подать сюда солёных огурцов!

— Есть!

— Оливок!

— Есть! То есть съел...

— Ну ничего, и маслины сойдут.

— Есть!

— Масла сюда! самого наилучшего, «Фёст харвест»!

— Вот оно, сэр!

— Помидорrrrr! — прорычал Толстопузый Бабак.

— Есть! — радостно воскликнул Бабачонок и жестом фокусника достал откуда-то из-за уха две крупные помидорины. Бабак от удивления поперхнулся, но тут же продолжил: — Колбасы мне!¹

И речь, начавшаяся со звуков, подобных музыке, продолжалась музыкой, подобной речи: голосили, лишённые косточек, плоды божественного дерева, что-то вокруг них шипело и шкворчало, пищало и позванивало, пыхтел, раздуваясь пузырями *de profundis* сыр, а в глубине яичных желтков некая восхитительная тайна, невесомая, как эфир, ощутимо уплотнялась, тяжелела, и альтами взывали, изгибаясь в направлении небес, кружочки сервелата, и на глазах всё, что было вброшено, помещено и бережно опущено в сковороду, превращалась в божественную супербабацкую яичницу. И вот уже яичница, вместе со сковородой, подана была на разделочной доске на стол, а в воздухе всё ещё что-то потрескивало, пощёлкивало и постанывало, беря октавой всё выше и выше, так высоко, что хотелось воскликнуть туда, куда воздымалось всё: «Господи, ведь есть же на свете чистое искусство и чистая радость!»

Нож стучал о веснушчатую буковую досочку, как сердце молодого влюблённого: часто и настойчиво. Закипал, окутываясь клубами пара, чайник, и окно, не в силах видеть всё это великолепие, подёргивалось тонкою пеленою и как будто отворачивалось от нескромных и соблазнительных видов.

И когда завтрак был съеден, когда, излучающее последние флюиды, поставлено было к раковине чугунное блюдо, и допит чай, и убраны серебряные инструменты, когда сын воспрянул и разлепил глаза, и ожил, Заяц, вспомнив, как дурачились они когда-то так вот все вместе, втроём — «Нас утро пум-пум-

¹ Ах, колбаса! Там он покупал в «Карефуре» колбасные обрезки, причём не нечто именуемое так иносказательно, но натуральные обрезки мортаделлы и суджука, каких-то сыро- и горячепопчённых сокровищ с шампиньонами и спаржей, с разомлевшими в розовых глубинах горошинами чёрного перца (одиннадцать дирхамов за пенопластовый лоток размером с тарелку), чтобы залить их яйцами и изжарить, но это было не то, не то, к чему он привык дома: сухая и волокнистая, колбаса эта была словно замешена на песке и иерихонской розе, в ней не хватало упоительных соков, она была непитательна!

пум-бурууум...», — вдруг подумал: «А не осточертело ли ей это всё просто-напросто? Не надоело ли притворяться и потакать, повторять эхом чужое и невменённое? И не послала ли она потому всё подальше, просто вот взяла и скинула, как тесную обувь? Ведь, в конце-то концов, невозможно же притворяться всю жизнь, пусть даже из самых лучших побуждений...»

И простым алхимическим действием он обратил «поесть» в «повесть»:

Великий тараканий исход

Бабак с Бабачонком возвращались домой из культурной поездки в Северную Пальмиру. Топали по тропинке, представляли, как дремлет их пустое жилище, до окон засыпанное снегом, как холодно и тихо внутри него.

Однако, когда с пригорка показалась будка, они увидели, что из трубы валит дым, на всю округу пахнет щами, а воздух звенит от смехов и восклицаний. «Что такое?» — удивились они.

Оказалось, это пришли тараканы, целый табор. Бабак с Бабачонком, воспитанные в традициях великой литературы, решили, что нужно быть терпимыми, что они у простого народа в долгу и судьба подарила им шанс сблизиться, узнать, чем он живёт... Но тараканы шныряли под самыми ногами, падали с потолка в чашки и тарелки, карабкались по стенам, с утра до вечера плясали и ночи напролёт пели цыганские романсы. Это скоро надоело Бабаку с Бабачонком, и они потребовали, чтобы тараканы убирались.

— Зря ты так, паря, — сказал один бородач, кряжистый и широкий, как тапок. — Мы ведь до весны только, а там в поля подадимся, на волю.

— Убирайтесь немедленно! — закричал Бабак. — Пройти невозможно!

— И всю колбасу нашу съели, — добавил Бабачонок.

— Мы колбасу того... в кредит! — слышались голоса. — Да-да, в кредит! Под проценты! Вернём! Обязательно вернём!

— А где... — Бабак, собравшийся писать письмо в санэпидемстанцию, растерянно покрутил в лапах пустую чернильницу.

— Я извиняюсь... — протиснулся вперёд таракан, весь какой-то замызганный и вдобавок совершенно синий. — У вас чернила челябинские?

— Челябинские, — хмуро ответил Бабак.

— Категорически одобряю ваш выбор! Очень даже прекрасные чернила! — воскликнул таракан и икнул. — Отменно забористые, но пьются на удивление легко! — Его тонкие лапки подгибались и не стояли на месте. — Мы с товарищами их, того, употребили маненько, но попрошу это так же занести на счёт — всё вернём, до капельки! В скором... ик... времени... Мы люди честные, порядочные...

— А может, договоримся, а, хозяин? — вперёд пролез другой, тощий, развязный и нахальный. — Мы вам подсобим, дровишек напилем, в хате подметём...

— Сами напилем и сами подметём, — недружелюбно буркнул Бабачонок.

Вдруг толпа зашевелилась, раздалась надвое, и вперёд из неё выступила одна кругленькая чёрненькая таракашка. «Принцесса!» — зашептались тараканы и почтительно притихли. Принцессу тараканов звали Пунта Негра.

— Издалека, видать, — шепнул Бабачонок Бабаку.

— А вот не понимаю я этого! — вдруг взвился один, по виду похожий на пролетария, но с глазами явно окосевшими от чтения. — Одним всё, а другим ничего! Это же несправедливо, это избыточность площадей!

Но его тут же оттеснили:

— Тихо-тихо, дай августейшей особе выразиться!

— Ненаглядные мои, дорогие, давайте всё поделим, — заговорила принцесса, поблёскивая золотыми зубами. — Вам дом, а мы тут, за печкой. Ваш — день, наша — ночь, уживёмся! В конце концов, кому мы мешаем?!

— Вы в суп постоянно попадаете и в полотенцах спите!

— Э, дарагой, пустяки! Устраним недочёты, проведём с кем надо воспитательную работу...

— Мы же ничего, мы смирные, — снова влез кряжистый.

— Смирные?! — завопил Бабачонок. — А кто вчера вечером у меня в супе плавал? Сразу несколько штук!

Тараканы смущённо запереглядывались.

— Это... Это Матрёнины шалят. Ты, малой, не серчай, это детишки, мы им запретим.

«Запретим, запретим, — слышались голоса, — как бог свят, запретим!»

— Я сказал нет!

Вперёд протиснулась усадистая баба в сером платке.

— Ты ба им, милок, в плошечку водицы налил, они ба там и плавали...

Судя по всему, это и была Матрёна. И уходить тараканы, судя по всему, тоже не собирались.

— Ещё чего! — завопил Бабачонок. — Воды им! В плошку! Да если они не уйдут, то я им... я им Асадова читать буду! Вслух!

По толпе пронёсся ропот.

— С выражением! И... Арцыбашева!

Слышался сухой шелест падающих тел.

— Эх вы... — продребезжал какой-то старикашка со взъерошенными крыльями. — А ещё благородные люди!.. Э-эх! — И шлёпнул себе под ноги треух.

Общество постояло ещё немного и разошлось.

Десять дней и десять ночей длился великий тараканий исход. С узелками и с чемоданами, с тележками, санками, семьями и по одному, длинной вереницей шли они, и над всею землёй стоял плач и скрежет зубовый...

Новые ростки поднимались над руинами. Сквозь обломки, поверх отжившего.

Получалось вроде бы ничего.

Заяц прислушался, присмотрелся — и продолжил. Женечка подхватил. Заяц взял тоном выше. Сын осилил и это. Вступил. Заяц добавил. Сын развил...

Говорил в основном Заяц, но иногда разгорался и жаркий, подобный пламени спор:

— А как насчёт старца Папоса Ананасоса, устроившего на Святом Афоне подпольный тотализатор на кошках? А небезызвестный всем Иегуда Бен Сосискер, в двадцатых годах двадцатого века поставивший в приют для подрастающих пантер под видом говяжьих сарделек двадцать тонн варёной моркови?

— Но он преследовал благородные цели! Он был гуманист! Все вырученные деньги... Антропософия! — вопил с кафедры Бабак с бабочкой под ухом.

— Хороши цели! — сарказму Бабачонка не было предела. — Он набивал мошну!

— А что ты скажешь об Адаме Метеоросе, иллюминате, что первым, ещё в эпоху Возрождения, построил в своей лаборатории гальваностат, приводимый в движение трением собственной шерсти о нефритовый жезл, подаренный персидским шейхом Бар-аб-Баком?! Гальваностат, при помощи которого Адам поднялся к самой Луне и доказал сырность её происхождения?! Неслыханное самопожертвование ради науки! Ведь чтобы на такую высоту!.. В его-то годы! Он облысел!.. А странствующий самурай и философ Рычаки Кусао, в семнадцатом веке создавший Кодекс Бабацкого Самурая, предписывающий не нападать на кошек, пока не будет сочтено количество всех мух на кончике носа, ибо дух самурая должен быть спокоен и невозмутим, как цветок лотоса в пруду, что бы ни случилось? Как он страдал, как мучился, постоянно пересчитывая их перед боем, — ведь жизнь самурая так непредсказуема... А мудрый старец-отшельник, живший перед самой революцией в казахстанских степях под именем Балбес-ага? А Бабак-Индигоплав, в конце концов, — ещё в тринадцатом веке создавший из макарон подлинную и наиболее подробную Маппу Мунди, остающуюся, между прочим, и поныне самой достоверной? А юродивый Барбоска, тот самый, чьё имя великий Александр Сергеевич уступил забвению, несправедливо предпочтя ему презренного Бориску?!

— Ладно, — сказал Бабачонок махнув лапой. — Ладно, твоя взяла.

— Не «моя взяла», — кратко отвечал Бабак, — но Истина одержала победу. — И, не вставая из-за стола, слизнул со сковородки остатки масла. — Но, ты прав, о юноша, — времена меняются, и не в лучшую сторону...

— И откуда ты всё знаешь?

Бабак помолчал и со вздохом, словно решившись на что-то очень-очень важное, отвечал:

— Дело в том, Бабачонок, что все те уважаемые личности — я! — И, не давая себя перебить, продолжил: — Да-да! Всё это я, единый во многих и многих в одном, я есмь сущий от начала начал, не в физическом, конечно, теле, но в виде образа, так сказать, идеи... Эээ... о чём это я... Ах, да! Волны любви, доносящиеся из самых глубин Вселенной, воссоздают меня каждый раз в новом веке и в новом виде. В последний раз я пресуществовался в тридцатых годах прошлого века в образе сторожевого пса! Я был строен и мускулист, в прыжке я доставал носом потолка в главном зале Эрмитажа, а плевком сбивал мух с пяти шагов, и звали меня Анчар! Я сторожил и спасал, я укрывал и защищал, я приходил на помощь, невзирая на метеоусловия, на дни недели, время суток,

выходные и праздничные дни! В гриме, конечно, в гриме. Под таинственной холодной полумаской, не то газетчики бы мне просто проходу не дали — сам понимаешь, не маленький. Это пузо, что ты сейчас видишь перед собой, эта обвислая шкура пусть не сбивают тебя с толку, всё это видимость, это моё новое воплощение, у меня, Бабачонок, если хочешь знать, до сих пор остался наряд отчаянного пионера и грим незадачливой старушки! Лежат где-то... в сарае... Бесконечная цепь перерождений во всех видах бытия, понимаешь? Ведь и та собака из «Трёх встреч» Тургенева, *улыбавшаяся иронически* и понимавшая *объективный свист*, — всё я, всё я!

Заяц по-прежнему был осторожен — из головы ещё не шёл тот исступлённый Варварин вопль (именно вопль, несмотря на то, что прозвучал он сдавленным шёпотом) в купе, да и во взоре сына пару раз ему показалась какая-то рассеянность, но постепенно не столько рассказы, сколько рассказывание увлекло его:

«По гречески “лето” значит “забвение”. На латыни это слово означает “чтение”, и с нашим словом, означающим самое лучшее время в году, ни то, ни другое не имеют ничего общего — всё это сухой язык словарей разъясняет совершенно определённо и однозначно, не допуская никаких иных толкований. Но даже такие авторитетные источники никак не влияют на собственный опыт, обрётённый в эпоху великих открытий, опыт, подсказывающий, что подлинное, настоящее лето соединяет в себе всё: и “забвение”, и “чтение”, и даже “ночь” и “мать”, ибо если, раскинув руки, самозабвенно бежишь по пустырю, простёршемуся за домом до самого леса, то разве не возникает ощущения, что позади, за спиной, навек остаётся и навсегда забывается всё самое ненавистное, что только может быть: и школа с её ранними подъёмами, и классные часы, и линейки, и пионерские собрания с их барабанной трескотнёй, и мелкие тираны? И не наступает ли блаженная пора чтения, чтения до одури, до зелёных пятен в глазах? И не сливаются ли в одно там, куда выходишь из дома развеяться и глотнуть свежего воздуха, стрекот кузнечиков и шевеление теней на половицах дома, и жёлтые головки ромашек, и дыхание короткой-короткой ночи, и прохлада земли? В то одно, что именуется счастьем? И вот, ты выходишь рано утром, и, вместо того, чтобы идти в школу, ты раскидываешь руки и — летишь. Летишь через весь день, через всю жизнь, пронизанную светом, летишь над травами, над домами, летишь, утратив тяжесть всей своей прежней жизни, летишь, обмирая от восторга. Летишь, поскольку не можешь не лететь, поскольку в слове “лететь” тоже заключено лето; летишь и видишь, как внизу головки клевера светятся сиреневым баллонным газом — многорожковые конфорки поджаривают лето во всей его бесконечной протяжённости с раннего утра и до наступления вечера, и даже ночью, круглые сутки, чтобы выше вздымался округлый шар небес. Летишь, и в изнеможении уже не можешь коснуться земли...»

Дивинации. Да, это был род дивинаций, блаженного и божественного состояния. Он предавался им. Теряя осторожность, он углублялся:

«К полудню запах смородины становился особенно пронзителен и настойчив. Самый воздух иззубривался им, цеплялся и язвил, подолгу не отпускал, увлекаемый, как репейник, одеждой, кожей, с огорода в дом, из дома на улицу, с улицы на пустырь, где шли, высоко подняв руки, словно сдаваясь, через заросли полыни к самолёту — он стоял там, почти что в самой середине пустыря, — и возвращался с тобой обратно домой, уже вечером, и словно лёгкое, тончайшее покрывало, ложился поверх и увлекался в сны: сны пахли смородиной...»

«Без хвоста, с обрезанными крыльями, с квадратными дырами иллюминаторов, с торчащими отовсюду пучками проводов, обмотанных окаменевшей лакотканью, самолёт напоминал тушу кита, залёгшего когда-то на дно моря и не заметившего, как море ушло вместе с его собственной жизнью. Даже на свету он не сверкал и не взблёскивал, покрытый серой плёнкой окислов — словно завесой отделённый от самой идеи лёгкой подвижности, ради которой был некогда рождён. Ровно и несильно дующий ветер заставлял внутри самолёта что-то вибрировать, дрожать; часто и мелко дребезжа, он посвистывал на острых срезах металла, ранив чувством лёгкой тревоги нежное нутро пришлецов. Казалось, ветер им что-то сообщал. Настойчиво, раз за разом повторял одну и ту же гамму, вычерчивал в воздухе один и тот же мелодический рисунок — словно силился сообщить что-то важное. Ответшала кулиса тайны трепетала перед глазами, то обнажая, то вновь скрывая то, чего на самом деле и не было, не было нигде и никогда, и всё же было, было всюду и нигде».

«Сашка, как обычно, хмурился и казался целиком сосредоточенным на себе самом — словно песочные часы, и даже Олежек на удивление молчал и не жаловался ни на крапиву, ни на то, что ушли далеко от дома. Terra incognita простиралась всюду, куда ни обрати взгляд. Воздух мрел и звенел от кузнечиков. Осыпаемые с ног до головы ярко-жёлтой прилипчивой пылью, они стояли посреди пространства, расколотого полынными молниями лихтенберга на мельчайшие, каждую секунду меняющие свои очертания фрагменты, и вполголоса перебрасывались короткими сухими фразами, — так, как и должно говорить исследователям, оказавшимся в ещё неизведанной части мира. И часто замирали, чтобы оглянуться и прислушаться к словам, остающимся за спиной приметам пройденного пути. Внимали, с трудом выхватывая из посвиста и шума знакомые созвучья слов друг друга».

«Оглушённые дребезгом лета, одурманенные солнцем и испарениями трав, они подходили к самолёту с хвоста — там, где на месте киля зияла дыра и можно было забраться внутрь, в жаркий сумрак, в хаос, обративший порядок и строй назад, к первозданной тайне предсотворения. По уцелевшим шпангоутам и лонжеронам, перешагивая с переборки на переборку, пробирались они друг за другом в пилотскую кабину, усаживались на металлические остовы кресел. От поролонa, от искусственной кожи уже давно почти ничего не осталось, и потому проёмы фонаря приходились им как раз на уровень макушки —

ну, может быть, Сашке чуть повыше, — и в них было видно лишь небо, но зато ноги как раз почти доставали до педалей. Главное — небо. Не оно ли нужно в самолёте?

Держась за безвольно вихляющийся штурвал, Заяц чувствовал себя путешественником, совершившим вынужденную посадку в неизвестных землях. Где-то там, под полом, скребли и ёрзали оборванные тросы.

— Сань! Представляешь, мы приземлились на необитаемом острове! Или нет — в горах, в Южной Америке, как в "Южном почтовом"! Или нет, как в "Ночном полёте": у нас авария, и вокруг никого! Ты бы хотел так, а?

Сашка затыкался припрятанным с прошлого раза бычком и молча усмехался. Пахло горелой изоляцией, пылью и кислым кусачим дымком "Примы". Разбитые стёкла приборов, чёрные дыры с закатившимися стрелками, исковерканные катастрофой рычаги и округлённые навек остановившейся страстью витилаторы. Мелкие насекомые исчезают и появляются в провалах. Что это, радиостанция? Цифры, числа, заедающий лимб... Что-то шуршит — то ли песчинки, то ли всполохи мирового эфира.

— А где эта Выюжная Америка? — спросил Олежек. — Там холодно, да?»

«Там, внизу, под ногами колыхнется трава. Беспокойная гладь её струится, клонится, выпрямляется, мятётся и стелется, пробираемая сильными, прохладными уж на концах пальцами ветра. Вот — заброшенные, оставленные места. Что чувствуют они без людей? А что чувствуют люди, которых уже нет? Ничего? Невозможно поверить... А если притвориться, попробовать стать чуть-чуть мёртвым? Уставиться туда, в даль... Может, что-то можно увидеть... такое? Лишь бы Олежек опять не заверещал. Нет, правда, как это, лежать — и... всё? И тебе сунут в зубы бычок и станут хохотать, а тебе будет всё равно, даже если ты голый перед всеми, как во сне, ты — как этот мир, будешь лежать и всё? Пустой людьми и жизнью.

Оставленный рай остаётся ли всё тем же раем?»

Зайца не смущает эгоцентричность рассказываемых историй и птолемеяевская структура рисуемого мира. «В конце концов, — рассуждает он, — любой образ познаваемого всегда начинается с одной-единственной возможной отправной точки, с себя самого. И вообще, как известно, о чём бы человек ни говорил, он говорит о себе, так не лучше ли начинать сразу с главного...» Но что-то всё же удерживает его в повествованиях на краю мироздания, не позволяя направиться к самому центру. И он снова и снова рассказывает о том, как металл оставляет на пальцах пылицу пыли и прикипевшего солнца, как пахнет в кабине пилотов катастрофой и невозвратностью, сожалением и отчаяньем, как кружится голова при взгляде на колышущиеся под ногами травы — он подобен человеку почувствовавшему в себе неизбежность перемен, услышавшему голос, повелевающий отправиться в путь, но всё ещё медлящему, всё ещё чего-то ждущему.

Проходит довольно много времени, прежде чем он решается оставить места, уже относительно известные обоим, хотя от этого и не менее притягательные:

«К середине августа подвижность тел, трав и тёплого прозрачного ветра замедлялась. Ускорялось течение времени и усиливалось тяготение земли. Оно увеличивалось едва-едва, на крохотную долю гравитационной постоянной, совершенно незаметную для взрослых с их могучими телами, но столь чувствительную для детей и для малых сих. Оно заставляло в садах срывать со своих веток яблоки, в полях — просыпаться в прорехи стручков и коробочек семена, а пилотов “Дугласа” всё чаще совершать посадки для дозаправки и сокращать дальность перелётов¹.

Наступали дни медиевальной осени. Рельеф земли становился особенно отчётлив — словно ощущаемый самим телом, и видно становилось так далеко, что невольно хотелось отвести от дали взгляд, как от карты, сулящей беду. Низкие волны тумана в сумерках представляли не пределом зрения, но зримым выражением предела всего физического бытия, пределом, за которым больше ничего нет, а в доме, в сениях, на газете, постеленной на стол, почти уже не сохли ни календула, ни ромашка.

Всё чаще мужики и бабы, одетые почти одинаково, в вышедшее из употребления тряпье, в одинаковых, на босу ногу галошах, окутанные сизым дымом папирос, хозяйски поглядывали ввысь — на макушки своих плодовых деревьев, и вширь — на границы своих огородов. Гремели в сараях вёдрами, отбивали и точили тяпки, ширкали разводкой по заржавевшим без дела ножовкам. Пляж у реки пустел — отдыхающих приходило всё меньше, да и те, что приходили, собирались ближе к обеду, а часа через два уже расходились последние, почти не оставляя после себя сора. Вода, покрывшаяся ряской от берега до берега, замерла и отяжелела, как зелёные бархатные шторы. Скорые школьники томились подобно игрокам, промотавшим невероятный куш, и вслед за взрослыми заговаривали об урожае, о скором его сборе. Возросшее тяготение проникало в сны, придавая им волнующую завершённость вызревших плодов.

Что-то происходило с Сашкой. Внешне он оставался прежним, но вокруг него словно нарушалась структура пространства, он обособливался в нём, он взрослел. И в воздухе, в самом воздухе с каждым разом всё отчётливее ощущалась та волна, по вечерам накатывающая из полей, что заставляет замереть со словом, обратившимся на губах в ничто, заставляет против воли посмотреть туда, вдаль. Что-то вроде обнадеживающей тревоги охватывало тогда, что-то вроде отчаянья надежды...»

Хм... «Обнадеживающая тревога» и «отчаянье надежды»... Кажется, это именно так. То, что нужно. Некоторое время Заяц молчит, пробуя оксюморон на вкус, и, удостоверившись в верности подобранных слов, продолжает:

¹ И уже почти до полудня корпус самолёта хранил холод ночи, и всё труднее к покрытому каплями росы металлу прилипал солнечный жар, и всё легче облетал он с него вечером — стоило лишь прокатиться пришедшей из полей первой волне вечернего холода, стоило только закружиться жёлтым и коричневым, зелёным и винноцветным пластинкам, ещё недавно бывшим листьями, чешуйкам и плёнкам, корочкам и заплаткам, которым уже не нужно было удерживать ничего, кроме дистанций и воздуха в этажах небесных замков: подвижных, таких подвижных, ставших невозможно подвижными...

«Когда сентябрь подходит к своей середине и робкое солнце показывается, наконец, ненадолго из-за низких дождевых облаков — всего на два-три дня! — в поле, что лежит между домом и лесом, собирают картошку. Истовая служба начинается едва ли не затемно, со сборов тихих и сосредоточенных: надеваются приготовленные с вечера куртки и сапоги, скапливаются по всему двору прохуdivшиеся вёдра (они нужны лишь раз в году, в эти именно дни), вынимаются из ящиков под навесом железные пятерни, чтобы вырывать, выцарапывать ими из земли клубни, позвякивает крышка бидона — это набирают воду, чтобы пить, не отвлекаясь на беготню домой, и звучат тихие голоса: это участники распределяют роли, намечают, кому дёргать ботву, кому копать, откуда начинать, что ссыпать и кому молиться. Постукивают в сенах тяжёлые каблуки, шуршат ветровки. Наконец, возня и ропот стихают, и, переглянувшись, все выходят на двор, оглядывают свой дом — он высится, как корабль, причаливший к неизвестному острову, — и гуськом, ведомые бабкой через калитку на заднем дворе, отправляются в поле».

Уже углубившись довольно далеко, Заяц старается всё же не приближаться к самому главному. Он видит, как день за днём меняется поведение сына, как меняется сам он, весь, словно всюду, в хаосе и смятении, пронизающем ток жизни, обнаруживается и становится всё более зримой некая подвижная и гибкая система несущих нитей, словно во всём начинает проступать какой-то прежде не читаемый смысл — и перемены смущают его: в самом-то деле, не бегству ли учит он сына, подводя к тому, с чего началось когда-то его собственное странствие? Не введёт ли сына в соблазн то, что откроется его глазам?

«Зачем всё это? И где, с чем оказался я сам?»

«Не нужно его соблазнять, право же, — убеждает он себя. — Не стоит дразнить миражами. Всё, что бы я ни говорил ему, либо недостоверно, либо субъективно. В конце концов, даже те ракушки, что я привожу ему, — не искушение ли они?» Но, словно это уже сама разрядившаяся атмосфера дома вытягивает из него дни его жизни, помесечно и погодно, он продолжает сообщать сыну всё новые и новые подробности, чудесные и трепетные:

«Работа на поле длится до обеда, и с обеда до вечера, два дня. На третий собранную и уже подсушенную здесь же, на ветру, картошку переносят вёдрами ближе к погребу, в сад, чтобы досыхала она там перед тем, как убрать её окончательно в погреб, и, опасливо поглядывая на небо — не пошёл бы дождь, Господи, смилуйся! — убирают все следы работ, затапывают лунки, уносят обратно под навес орудия и одежды и сжигают едва высохшую под слабым солнцем ботву, собирая её в кучи, как погребальный костёр.

О, сколько гибнет их, рождённых землёю и исторгаемых из чревных пустот! Нелепые мокрицы и двухвостки, сенокосцы и нимфалиды, чернотелки, златки, медведки, кивсяки и ручейники! Выбегают, вываливаются, выползают, поспешая прочь от опасности, и сгорают в прозрачном, разгорающемся пламени.

Жёлтый дым, курчавясь руном, тяжело стекает по стеблям к изножью пылающей башни и там, разбавляясь и светлея, подхваченный благою вестью ветра, уносится прочь, прочь, скорее!

Прочь, это значит — вдаль и вверх! От земли — к небу, от тленного — к вечному, от тяжкого — к невесомому. О миг переходов!

От лета — к осени, от жизни — к смерти, от материи — к духу! О утрата и прощание, о скорбь и радость!

Скорбная радость, обретение утраты, восторг утраты!..

И сладок слёзный восторг: прощай, лето!

Снуют те, кто может ещё сновать, и поспешают те, кто способен и считает нужным поспешать; прячутся в отверстия земли, избегая зрения врага и гибели от рук его. Прочие же — смиренны. Что там виднеется, между комьев, что, белое, как кость или известь, возвышается над грядой? Может, рог, прободающий небесную твердь, которою кажется изнутри твердь земная? Может, пелены ушедшего в землю?

Осеннее вдохновение, род священного безумия...»

«Восторг утраты». Да-да, именно — «восторг утраты»! Это парадоксально, да, но это верно...

Чувствуя, как зыбнет и размягчается реальность вокруг него, над ним, под ним, осторожно пробуя почву перед собою, словно путник, неуверенный в свойстве местности, он продолжает идти — запретное манит. Вот оно, всё ближе, ближе:

«Умиротворение властно в такие дни над всем. Оно царит наверху и внизу, что бы ни оказалось верхом или низом. Разорванные венки: облака. Цветы неба. Растрёпанные, неряшливые, как пионы. Вороха воспоминаний, теряющие свою плоть. Всё проходит, всё осыпается, и веет ветер, и блекнут изображения, тают силуэты: всё заливают закатное солнце, крадёт детали, забирает, засвечивает память, даруя взамен вечное золото на холодном, как мрамор, своде.

Согбенная над отверстием, заглядывающая во тьму, дышащую прелью и тленом, чтобы подать ведро, наполненное доверху розовыми и коричневыми картофелинами, бабка вдруг замирает, бросив вопрошать прорву: “Давать?! Ну, давать, что ли, чёрт старый?!” и распрямляется, и, не остановившись, как должно, разгибается дальше, в обратную сторону, и, приложив руку ко лбу, следит журавлей в небе.

И наступает вечер, и, напивавшиеся дымом, возвращаются все в дом, и кладут у входа шершавые ветровки, и из сапог вынимают ноги с чёрными от земли суставами и подошвами, и ставят скорее в белый таз с тёплой водой, и руки рядом с ними, поставленные рёбрами выпрямленных ладоней на дно, кажутся маленькими, беспомощными, как сажки или аристы, и сам омываемый похож на случайно уцелевшее насекомое, которому не хочется выбираться из мыльной воды, не хочется эволюционировать, не хочется распрямляться... Или просто нет сил. Но впереди ещё долгий ужин на кухне с обращёнными вовнутрь цветными картинками жизни на леденеющих стёклах, с бесконечными

неторопливыми разговорами и планами, с гаданиями о будущем, о том, сколько картошка пролежит, когда её надо будет перебрать — хорошо бы в декабре, а если бы был в доме мужик, то можно и... — до одури, до сна, и — последний, ритуальный уже выход на крыльцо чистыми розовыми ногами, на самый крайний рубеж почти деревенского их бытия, на приступок ночи с её огромными звёздами, за которые душа, зацепившись, невольно останавливает свой бег.

Дед досматривает новости, бабка с матерью домывают посуду, затем все укладываются спать. Гаснет свет, и экран телевизора ещё какое-то время продолжает в темноте сиять собственным, мертвецким, радиоактивным светом. Позванивают, остывая, лампы и потрескивает изоляция проводов, волны нагретого воздуха овевают лица лежащих, и отчётливо виден массивный иллюминатор, к которому с той стороны прижат пористый серо-зелёный препарат лунной поверхности; ещё голоса и мелодии, утопая в предсмертных хрипах и свисте, пытаются пробиться сквозь охватывающий их хаос небытия, а мальчик уже сухой берёзовой веткой ворошит в растревоженной земле, зоря и выворачивая, убежища многих, и василиски и змеи, ящерицы и муравьи, сколопендры и уроборусы, кивсяки, мокрицы, двухвостки, солдатики, пробуждённые сотрясениями почвы, суется, занятые собственным спасением, словно не было уже для них окончания дней и не переходила их погибель. Конский щавель, кровохлёбка, мышиный горошек, паслён — будто на мелованных листах ботанического атласа, видит он побеги и корни, иссохшие стручки, выжелтевшие от солнца и посеревшие от близости к земле листья. Набухшие округлости, охваченные хрупкими перетяжками, заскорузлые, жёсткие коробочки, подклети и каморы сухостоя, пики стеблей, задремавших на ветру, — он всё листает, листает отдалённые мороком сна страницы. Взгляд Ивана-царевича упирается в колеблемую сквозняком завесу.

Во славу твою, Вертумн! Во славу твою, Помона!»

Всё ближе...

Ему нравилось ссыпать в старые материны чулки лук, перебирать морковь, лущить горох и сушить укроп — он чувствовал себя служителем культа, помощником Помоны, но и, кроме этого, это тихое сосредоточенное творение добра, неприметная любовь давали душе покой и ощущение сосредоточенности, переходило в осознание места этого средоточения в себе и себя в нём: сарай, посреди сарая куча луковых головок, он над нею... Ровный неколеблемый огонёк в груди. И ещё, конечно, атмосфера осени, поддерживающая это ровное горение, ощущение завершённости, конечности всего и оттого, — физическое, животное осязание меры.

В этом тихом бдении, в мерном перебирании руками не было ничего сверхъестественного, не виделось какой-то особенной глубины, — обычная осенняя работа, как у всех, — но тогда ему казалось, что именно в этом и заключается весь смысл его существования, переполняющий, переплёскивающий через края живой и переходящий на предметы уже не-живой природы и тем

самым соединяющий его со всем, что есть в мире, в единое целое, незатейливое, но законченное настолько, что ни прибавить и ни отнять. И было удивительно то, как этот смысл, не тратясь, а весь как есть, переходит с одного на другое, на всё, чем бы он ни занялся: сейчас смысл в перебирании, потом — в носке, потом — в уборке. Во всём, таком разном, один-единственный, исчерпывающий всё смысл.

Воздушным дымом обогреты, кормленьем заняты огня. Деревней, обмершей под слабым солнцем, пробегаешь с добычей: «А-а-а-а! Ой-ей-ёй! О-го-гооо!» Отламываются и падают за шиворот; чертя знаки, царапают кожу — но ничего! Во славу твою, Вертумн! Во славу твою, Помона! Ветви, ветви! На алтарь, — лижите, горячие языки! О, не дым высекает слёзы — восторг! Расстегнуть, закатать, подставляя руки скользящим последним лучам! Жаркий и сладкий, невозможный, сырой, истовый запах последних цветов земли. Служение садовому мамоне. Всё — в огонь! Прощайте, прощайте! Огнепоклонник танцует вокруг костра, и точение слёз его всё обильней.

Из-под кор и покровов, из-под ковров опали, укывистых парадных пелён, тронутых увяданием, выползают, вылетают, высыпаются тихие и тайные жители почв, обитатели тёмных, волокнистых воздушных. Бегство им, и увы! Рушится за спиною лето Господне, осыпается храм, и становится плоть перстью земной.

О листа угнивань! Листа лилейного, узкого! Чешуйницы, ухováртки, лежни и червецы, идите, идите ищите себе новый дом и новый храм! Травы, вскормленные землёй, смерть распрямит жарким рыжим током!

Воскрылённый, Заяц снуёт, трепеща, и прозревает всеобщность и обратимость всего. В облаках дыма, словно пифия, он возвещает: «Летучее насекомое, ни ветрами, ничем не секомое! Летучее насекомое! Ни ветрами, ничем не секомое! Летучее! Насекомое!..»

О кружение головы! О земли вращенье! О священное опьянение! Прочь, крылатые пепельщики, питающиеся слезами! Кажется, это уже не в уме, кажется, это уже не шёпотом, кажется, он уже кричит: «А-а-а-а!!! Летучее! Насекомое!..»

И на земле лежавшее, прямо у самых ног, маленькое безымянное семечко, узкое и вытянутое, как ладья, закопал тут же: Ладья Солнца! А вот — Пирамиды! Палец прочертил в мягкой земле борозду: похороны. Оставайся здесь, в жирной, как жизнь, толще. Будет остывать земля, — и ты вместе с нею будешь стыть и ждать лета.

О, как стынет сейчас душа...

Прочь, прочь! Подальше от этих мест!

2. Второе приближение

Ближе к концу января Женечкин класс собирался в ТЮЗ.

— Пойдёшь? — спросил Заяц у сына.

Женечка мотнул головой:

— Неинтересно.

— Почему же неинтересно? — спросил Заяц. — Это по Гофману, «Записки кота Мура». Книжка есть такая, сказочная.

Лицо сына осталось безучастным.

— Ну и, к тому же, — Заяц решил зайти с козырей, — там ведь наверняка будет твоя подружка...

— А что толку? — ресницы Женечки дрогнули. — Смысл встречаться с нею, если всё равно не удастся поговорить: она там будет болтать со своими подружками, а потом смотреть спектакль. Ей спектакли нравятся.

— Ну а просто увидеть человека, которого любишь, побыть с ним рядом разве не приятно?

Сын иронично, как показалось Зайцу, хмыкнул. Зайцу стало обидно. «Господи, что я ему объясняю, — вспыхнул он, — чему пытаюсь научить сейчас, на скорую руку? Тому, с чем рождаются? Что начинается с предощущения?»

— И всё же, я бы сходил, — возразил. — Вдруг повезёт, и ты проводишь её до дома? Она где живёт, здесь недалеко?

— За садиком.

— Значит, возле озера... — Заметив недоуменный взгляд, Заяц улыбнулся: — Раньше там было озеро, круглое такое, большое. Помнишь, я рассказывал?

И опять продолжается этот танец: шаг вперёд и два назад, приближение и отдаление, поворот, ещё поворот, но — ближе, ближе. Он говорит, не замечая даже, что всё вспоминаемое им, — не только события, но и само время, самый воздух и свет относятся уже к одному-единственному, *тому самому* году, и если даже не соотносятся с ним в действительности, то тянутся к нему, как центру притяжения. Ему ещё представляется, что он рассказывает о том, что длилось годами, но на самом деле он давно кружит на одном месте, и кружение это невозможно назвать блужданием, это скорее целеустремлённое движение огнёвки, и уже не обязанность чему-либо научить или поведать нечто душеспасительное, но некая малопонятная самому и притом совершенно естественная потребность воспроизводства истории, возможно, соприродная всеобщей потребности всего живого.

Он рассказывает Женечке о девочке, появлявшейся у них в доме, об аметистовой глубине её ногтей, о крохотной голубой жилке на суставе и о голубых руслах рек, таинственно поднимавшихся по рукам к самому сердцу. И о перловице.

«Остановить начавшийся процесс кристаллизации оказалось уже невозможно — страсть гнала прочь из дома, в котором память о ней хранил

каждый угол, — память оказалась слишком тяжела, и близость тайны, могущей вот-вот открыться, представлялась невыносимой — полная отъединённость дома напротив — точнее, той половины его, где жила лошадь, оказалась как нельзя кстати подходящей не только для бесконечного инкубирования всевозможных вариантов встреч и признаний, но так же и для того, чтобы медленно приходить в себя, следя за происходящими в мире переменами. На какое-то время в там, в светло-соломенном тёплом сумраке, даже проявились, действием мысли, Олежек и Стёпка — так взгляд обращается на фигуры путти, будучи отверженным по какой-либо причине от центральной фигуры полотна, и мысль даже принялась обозревать приёмы карнаций, но неожиданно интерес к натурщикам пропал, вернее, область внимания окончательно сместилась с малых фигур на центральное соединение света и тени...»

Он всё-таки переступает границу и, запоздало сообразив, что уже находится там, в запретных местах, пахнущих запустением и животным одиноким существованием, в испуге торопливо бросается назад, к пределам заранее дозволенного, не подозревая, не догадываясь даже, что увязает ещё больше, что уже по кратчайшей дистанции движется к тому, чего так избегал:

«Задний двор виллы вечно засыпан по колено высохшей рыбьей чешуёй. Скопившаяся здесь за все годы¹ пребывания сотрудников, она, в силу какой-то аэродинамической особенности закута, не разносится ветром, а остаётся на месте, сворачиваясь от жара в короткие серые трубочки. Привлекаемые запахом, сюда принялись наведываться коты — каждый вечер они входят сквозь вечно отпертые ворота неслышной походкой и принимаются кружить, как будто растерянно и удивлённо, тыкаясь мордами в сухой шелестящий сор — один, другой, третий... А затем, словно заключая стены в магический круг чисел Фибоначчи, широкими дугами разбредаются по всему двору, молчаливые и важные, чтобы ближе к ночи, откинув приличия, затевать друг с другом свары такие отчаянные, что приходится с ковшом ледяной воды по несколько раз выбегать на улицу, разливая их»².

В местах, оказавшихся значительно обширнее, чем предполагалось, его мотает то туда, то сюда, темы, внешне никак не связанные друг с другом, следуют одна за одной, и, кружа вдоль границ дозволенного, Заяц не замечает, как умолчаниями своими невольно очерчивает контуры той terra incognita, которую так тщательно старается скрыть, и уже не разрозненные дни детства и не отдельные места Северной Африки и Ближнего Востока возникают из умолчаний и темнот, но одна общая, на все времена и пространства, область

¹ Рыбу, купленную в Далме, для экономии времени чистили не в магазине, а здесь, самостоятельно: выходили с разделочной доской и полуметровым карангом или локал шери на крыльцо и ловко скребли ножом, стряхивая налипающие пластинки прямо себе под ноги.

² Коты, оказавшиеся смыслёнее, чем казалось, наловчились прятаться под стоящей у самого окна машиной, и пока, тяжело нагибаясь, Заяц выглядывает их там, в темноте, почти весь ковш его был опорожнён.

бытия, тот диковинный континент, чей образ явился его глазам в первую же ночь в Абу-Даби посредством просочившегося сквозь перекрытия ливня.

Так проходят дни. Едва Заяц успевает закончить один рассказ, как чувствует, что уже созрел и просится наружу, буквально лезет из него, скорчившегося вечером на постели аллегорическим изображением рога изобилия, следующий. Он подобен Шахерезаде, но Шахерезаде особенной: его рассказы не продляют единственную и наличную жизнь, но порождают некую жизнь иную — его речь подобна лезвию, рассекающему волос надвое.

«После того случая с Улитой стало ясно, что жизнь в школе отныне станет просто невыносимой: тиран и мучитель Тудыкин своего не упустит, а уж её свита постарается ему доложить обо всём в красках».

И так оно и было.

Стараясь свести к минимуму возможность встреч с недругами вне урока, он стал приходить в школу как можно раньше, совсем рано, когда двери её ещё были закрыты и ночной сторож, ругаясь, не сразу отпирал их на громкий и настойчивый стук.

Коридоры и рекреации, погружённые в себя, казались совершенно чужими, незнакомыми. В тишине, не раздражаемой гудением люминесцентных ламп, видно было, как тьма, уравновешенная относительно обеих сторон холодного стекла, медленно делает крен в сторону большего пространства, как там, далеко, в открывающейся глубине, проступает силуэт самолёта, занесённого снегом. В расширенном этом белизною пространстве можно было, не сходя с места, утонуть по пояс, а может, и с головой. Сгинуть навсегда.

«Это было сущее наказание, непонятно, как удалось пережить ту зиму, но, всё же...» Он опять лукавит — он перескочил, нужно вернуться назад. И Заяц старательно возвращается и пытается начать сначала, снова и снова он приступает к изложению упущенного и не может, поскольку всё, что он пытается рассказать, лишь обстоятельства и дополнения, лишь следствие и итог. Однажды, набравшись решимости, он пробует начать с главного, не петляя и не кружа, но едва произнеся слова «однажды осенью», умолкает, не в силах говорить дальше: страх парализует его. Тогда он пробует зайти с другой стороны и говорит: «Осенью, когда...» — и снова останавливается. Сделав ещё одну попытку («Когда земля окутывается дымами...»), он не без тайного удовлетворения отступает.

Женечка же, слушая Зайца, тоже становился подобен соблазняемому рассказами о дальних странах и небывалых чудесах обывателю, готовому поддаться на уговоры и уже всерьёз размышляющему: а не покинуть ли и в самом деле однажды рано утром, пока все спят, привычный дом и... и даже задавал кое-какие наводящие вопросы, вникал, расспрашивал, строил

предположения и домысливал кое-что, тем самым уподобляясь уже не слушателю, но едва ли не соучастнику рассказчика, и всё же медлил, будто пытаясь уяснить для себя что-то главное или услышать это главное от рассказчика; медлил, словно сомневался в самой необходимости начать движение.

Когда истории заканчивались, Женечка уходил в свою комнату, а Заяц принимался ходить кругами уже вполне доподлинными: от зала к кухне, от кухни к прихожей. От двери Женечкиной комнаты снова к залу, и от зала к ванной. Пытался читать, но не мог, откладывал книгу и снова начинал неслышно ходить по дому, часто останавливаясь и надолго замирая у закрытой двери в комнату сына. Угрызаясь совестью и борясь с желанием уйти, он вслушивался в потустороннюю тишину, пытаясь понять, что зреет там?

Ещё после той истории с ТюЗом Заяц долго был раздражён и злился на инертность Женечки, на себя — словно напрасно ворочал тяжёлый неподатливый камень — и задавался вопросом: а что если и вправду её порода? Тогда живо представлялось ему недалёкое будущее: пепелище и мстительное молчание.

«Что если и вправду её порода?» — требовательно задавал он снова и снова свой вопрос тишине. «Что если...» И, пользуясь давно известным приёмом, принимался отделять, раскладывать по сторонам черты и жесты: направо-налево, его-её, бабушки-дедушки. Пасьянс. Сойдётся, или не сойдётся? Торопясь, вглядывался, изучал. Ладно, книги, а... если и другое? Если младосольные огурцы, семечки, космические лучи, насыщенные любовью? А если вообще ничего? Ни-че-го. Становилось жутко. И тогда он взрывался: «Нет, почему бы ему просто не унаследовать это от меня?! Почему бы ему просто не унаследовать, не перенять, как перенимают форму ушей, рук или, скажем, носа? Как птицы перенимают от родителей умение летать, рыбы — способность плавать, как звери перенимают свой бег: от родителей, просто по праву рождения обладают им с первых дней?! Ведь и у людей это происходит сплошь и рядом: у музыкантов рождаются музыкально одарённые дети, у спортсменов отпрыски едва ли не в коляске делают жим лёжа и стойку на руках, — ведь давно доказано же, что не только Вейсман с Морганом были правы, но и Ламарк, отчасти, как это ни смешно, — так в чём же дело, почему... И только один вопрос, обращённый к самому себе, прекращал эти сетования, ставил его на место: «Наследовать что? Что именно в этой мешанине событий является причиной, а что следствием?»

Заяц садился боком на диван, как дама на единорога, и погружался в ощущение сквозняков, относящих далеко паче страха и радости. Уже не руки матери обособливали его в беспредельности мира, но огораживала тишина. «Настанет время, — думал он, — и мы поменяемся местами: я буду беспомощен, как ребёнок, и зависим от всемогущего божества, которым станет мой сын. И тогда самым важным в моей, а скорее всего, и в нашей жизни станет умение сострадать. А уж это-то — жена свидетель — это у него точно есть».

3. Извлечение корней

Без футболки, в коротких — до колен — шортах Заяц, босой, топчется в душе в окружении цветочных горшков. Размывая землю, грязная вода устремляется ручейком к сливу и с шумом втекает в узкое жерло канализации. Брызги от бьющей из крана струи летят во все стороны, стекают каплями по стенам, расплываются на крашеной бязи тёмными пятнами и метят матовую дверцу. Извлечённые из горшков корни фиалок сиротливо мокнут в углу, сложенные аккуратной кучкой. Заяц осторожно переступает, отодвигая ногой чистые горшки в сторону. «Я стараюсь, как могу. Я предельно осторожен, я даже исключительно, чрезмерно осторожен, и голубь тот, на улице, растерзанный голубь, вмурованный в снежную пирамиду, — верное тому подтверждение. Но разве скроешь? Проступают... Может быть, не заметит? Если, конечно, уже не заметила. Нет, если бы заметила, то обязательно бы спросила. Говорят, они это друг за дружкой замечают сразу, получают информацию невербальным способом по взгляду, по жестам, интонации... Или просто не хочет спрашивать, влезать? Нет, наверное, всё-таки не заметила. Они вообще мало общаются, дежурное здравствуйте-досвиданья, с праздником там поздравить, помочь по хозяйству, в магазин сходить. Тесного общения, такого, как в книгах, фильмах, анекдотах нет, и слава богу. Что их вообще в жизни связывает, ну, кроме известных обстоятельств? Пожалуй, кроме суеверия, — ничего. А странно всё-таки: из всего великолепия, из всего богатства жизни — только эта самая мелкая, негодная фракция. Мусор. Прямо по нисходящей идёт: от любви между мной и матерью, от какой-никакой, но верой между ею и Анной Михайловной, к крашеным яйцам, к соли и воде — между ними. Детские секретки, птичьи перья в коробке из открыток. Дребедень бродячего фокусника. Может быть, потому что это самое прочное, самое устойчивое? Тонкие, цепкие корешки тянутся втайне друг к другу, сплетаются, сохраняют жизнь. Говорят, у грибов могут тянуться на десятки километров. Неуничтожимо в принципе, как сама природа. Женская натура. Персефона, плодовые тела. Самое прочное, это недосказанность, мрак и вера в сверхъестественное... У них всё так: только базовые принципы, только основные инстинкты, какое бы смешное выражение те не принимали. Зато если в их жизни что-то появляется действительно “не то”, пусть и выглядящее вполне пристойно, они тотчас ополчаются на это, они не успокаиваются, пока не изгонят “это” прочь из жизни. Конкуренцию, что ли, чувствуют?» И вдруг одно воспоминание едва не заставляет его сесть прямо в растёкшуюся под ногами лужу: вот, поджав под себя ноги, жена его с невозмутимым лицом читает о том, как, подобно старинному рудознатцу, некий путешественник медленно и осторожно спускается в плетёной корзине в самую глубь времён, туда, где происходят странные события, где, словно некая болезнь, принимаются одолевать его, туда, где всюду звучит музыка и стоит вечное лето; читает о том, как, снимая слой за слоем все окислы и коросты, которыми покрывается за многие годы душа, добирается путешественник до той, самой первой, исходной точки своего бытия... Читает, не задавая вопросов,

не комментируя и, прочитав, возвращает ему блокнот и долго молчит. Ужас охватывает его. Проницающий, рассеивающий в дым ужас: ведь сам, сам, своими руками!

«Наверное, беспощаднее всего наказываются именно такие, будто бы беспредметные вещи, не имеющие в основе своей прямо запрещённых и осуждаемых деяний вроде убийства, кражи, прелюбодеяния, но посягающие на самые глубинные, самые основные слои человеческого существования, на устои, которые и назвать-то затруднительно, и потому за совершение их в действие приводятся такие же неопределимые, но самые суровые, самые тяжёлые механизмы наказания. И бесполезно просить прощения, умолять — невозможно вмешаться и пытаться исправить, ибо не во что вмешиваться и нечего исправлять: всё проходит мимо рук человеческих».

«Но ничего, ничего, — утешает он себя, оправившись, — выход всё же есть! Простой надёжный выход. В конце-то концов, всё можно поправить, со всем, кроме смерти, можно справиться. Жить как все. Другие ведь живут. Ко всему можно привыкнуть. Ко всему. Он перестанет — да уже, с сегодняшнего дня, с этого момента перестал! — вести эти записки, он поедет в командировку, пройдёт время, и всё обязательно загладится, поправится — он не напишет больше ни строчки! Да и Женька... Свою-то голову всё равно не приставишь — разберётся, научится, если надо будет. Я-то ведь худо-бедно сам научился...»

— Пап... Па! Папа!

Задумавшись, за шумом воды Заяц не сразу замечает, что Женечка давно стоит в дверях.

— Па!!!

От неожиданности Заяц вздрагивает и оборачивается.

— Что? Ты здесь... Извини, я задумался, да и вода шумит. Ты что-то сказал?

— Я говорю, ты что с ними, — сын кивает в сторону уже вымытых горшков, — делать будешь, снова посадишь цветы?

— Ннне знаю...

Часы всё крутились и тикали, стрекотали и посверкивали, живя своей шепетильной мелкой жизнью, — контрабас в зале и деревянная дощечка на кухне, и ящичек — будто со святыми дарами — в детской. Время шло. Срок командировки, срок искупления приближался.

«— А ты знаешь, — сказал однажды Бабочонок Толстому Бабаку, — что сигналы бедствия, которые передавал “Титаник” после столкновения с айсбергом, до сих пор можно услышать в этот же самый день, в апреле, по радио на определённой волне?

Бабак очень заинтересовался и стал расспрашивать Бабочонка:

— А в какой день? А во сколько? А на какой частоте? — И даже слегка засомневался: ну разве может такое быть? Ведь рассеяние энергии, не говоря о направленности сигнала...

Но Бабачонок ответил, что, учитывая пространственно-временные флуктуации и параллакс окружающих нас планет, такое вполне допустимо. И Бабак воскликнул:

— Об этом обязательно нужно написать, Бабачонок! Только для начала неплохо бы самим услышать эти сигналы...

На дворе как раз стоял апрель, и Бабак с Бабачонком решили слушать эфир.

Вечером Бабак притащил с чердака старый ламповый приёмник, включил его, и пока тот гудел, прогреваясь, Бабачонок налил полный чайник воды, поставил его на печку, а на стол водрузил тазик с ватрушками. Расставил кружки, блюда, достал из буфета сахарницу. Бабак с Бабачонком положили листок бумаги и карандаш — приготовились записывать подробности исследования.

Чайник вскипел.

Стемнело.

На небе зажглись звёзды, а Бабак с Бабачонком всё пили чай, рассуждали о путешествиях материальных и нематериальных объектов в межзвёздном пространстве, и внутри приёмника что-то гудело, в динамиках тихонько свистело и выло, ватрушки в тазике убывали.

Наступила ночь, но сигналов Бабак с Бабачонком так и не дождались.

Бабак сказал, что, между прочим, динамик в приёмнике может работать как микрофон, и поэтому не исключено, что они сейчас сами являются для кого-нибудь источниками радиосигналов, и их разговор слушают где-нибудь на Сатурне или Юпитере. Бабачонок всплеснул лапами от восхищения:

— Подумать только! На Юпитере!

Когда стало уже совсем поздно, Бабачонок зевнул и сказал, что он хочет спать и на сегодня прощупывание эфира можно закончить.

— Можно, — согласился Бабак.

Тогда Бабачонок поднёс последнюю ватрушку к радиоприёмнику и дикторским голосом произнёс:

— На этом, дорогие юпитерианские радиослушатели, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. У микрофона с вами были Бабак и Бабачонок. До свидания, спокойной ночи и до новых встреч.

И лёг спать.

А Бабак укрыл Бабачонка одеялом поплотнее, сел за стол, взял карандаш, листок бумаги, покряхтел и стал писать: "Осенью, когда, окутываясь дымами горящих костров, Земля замедляет своё вращение, Бабак по имени Метеорос, что означает "Парящий в воздухе", глядя на скользящие в эфире паутинки, задумался о воздухоплавании..."».

4. Иона

Через неделю вернулась Варвара. Услышав, как заёрзал ключ в замочной скважине, Заяц схватил свою записную книжку и, заметавшись по залу, сунул её в первое попавшееся укромное местечко: в узкую щель подрасстёгнутого чемодана. Книжка провалилась, глухо стукнув внутри. Раскрасневшийся Заяц

едва ли не выпорхнул навстречу супруге — Варя!.. — и подумал: «Блокнот потом достану и перепрячу».

И чуть не подавился непривычным словом: прежде он так свою супругу не называл.

«Вот, маникюр сделала! Шеллак!» — похвасталась она, протягивая руку. Выпуклые пластиковые нашлёпки выглядели дешёвой имитацией стоматологического фарфора.

— Красиво, — похвалил Заяц, возвращая руку.

— Две тысячи отдала, — сказала Варвара с такой гордостью, словно она их не отдала, а получила с незадачливой маникюрщицы.

И снова в доме пахло печёными яблоками и кофе с корицей, и полотенца снова были мягки, сухи и благоуханны, и вообще много чего было опять такого, отчего размягчённый уютом Заяц говорил себе: «Нет, всё-таки есть в мещанстве своя прелесть, есть. Мюнье, блин...» Одно лишь, казалось бы, незначительное происшествие сильно укололо Зайца: пока Женечка рассказывал матери о том, как замечательно они жили и как вдвоём готовили, та, мазнув пальцем по плите, ехидно поинтересовалась у Зайца, не приходило ли ему хоть раз в голову помыть за собой плиту, и тот, приготовившийся было расплыться в улыбке, сник и вышел из кухни. Формально всё было вроде бы правильно: поел — убери, приготовил — помой; на собственном примере приучай ребёнка к чистоте, но... за словами о порядке и дисциплине Зайцу хорошо угадывалось другое: желание унижить его в глазах сына. «Откуда это, зачем?» Он не стал ни выяснять, ни устраивать скандала.

Речь не оживилась, но жизнь семейства от этого хуже не стала: она текла умиротворённо и плавно, почти как прежде, и даже изъясняться Заяц с Варварой научились, будто по разговорнику: при помощи общеупотребительных нейтральных фраз. Главным было не касаться определённых тем — многих тем, ставших запретными, — но Заяц мужественно терпел это ограничение, как пациент в ожидании обещанного облегчения боли терпит последние, особенно изуверские манипуляции врача. «Брошу, брошу! Поеду в командировку — даже блокнота не возьму!» — твердил он себе.

Варвара ходила на работу, пропадала на репетициях, порой едва ли не приползая домой, иногда очень даже поздно, но, впрочем, весьма довольная — что-то у неё там начинало получаться.

И ещё сникал Заяц под её неодобрительными взглядами и холодными усмешками, ещё осторожничал и боялся натолкнуться на грубость, но общая мягкость климата — а зима в этом году выдалась тёплая и снежная — бесспорно, способствовала общему смягчению нравов. Впрочем, делиться с Варварой своими соображениями о проблемах семейной жизни и о том, как он придумал их исправить, Заяц пока не торопился: Варвара, кажется, вообще наличие каких бы то ни было проблем не признавала.

После окончания каникул пошёл в школу сын, и Заяц по установившейся традиции встречал его после занятий. Дорога к новой школе вела краем парка и, проходя по оттаявшей аллее, слушая карканье ворон — суматошное, страстное, совсем как будто даже осеннее, — Заяц снова и снова говорил себе: «Это просто удивительно, насколько простым и понятным может быть всё происходящее! Всеми находят естественные причины, и объяснения не кажутся надуманными, словно наглядность и простота текущей жизни передают свои свойства всему, что в неё помещено, уравнивают с собою в свойствах, тогда как *там*, словно во сне, всякому самому простому событию придаются невероятные, фантастические толкования, и основная часть сил уходит не на то, чтобы понять, как поступать с этим, но на то, чтобы прорваться сквозь сплетения домислов и фантазий к самой сути происходящего. Право же, чувствуешь себя дураком. Или и был дурак?» — и само повторение этих слов по несколько раз ежедневно, пять раз в неделю, дарило ему успокоение и размеренность жизни подвижника, подчинившего себя действию простых правил. Озарение, посетившее его во время мытья цветочных горшков, он приравнял к эпифании.

По выходным он просыпался так же, как и в будни: рано утром, когда жена и сын ещё спали. Стараясь не будить их, он прокрадывался на кухню. Пил чай, смотрел в окно. Туда, где под новыми предметами пейзажа скрывались старые приметы мест, известных только ему. И читал. Парадоксальное ощущение лихорадочной деятельности, заключающейся в бездействии, и, несомненно, сообщённое ему его ошеломительным открытием причины всех его бед и способа их решения, захватив, уже не отпускало, понуждая к подвигам и к переменам мелким, видимым и совершаемым, словно бы под микроскопом, и, может, оттого же ещё он, чем ближе подходил срок отъезда, тем чаще и отчётливее слышал крики играющих на улице детей, журчанье воды в трубах канализации, шаги и голоса в пустынных и гулких помещениях виллы, щебет птиц и певучие протяжные призывы к молитве, пускаемые по ветру пять раз в день. Окружённый этими звуками, он жил наперекор им, говорил, стараясь голосом преодолеть их настёрный гвалт, но виды дремлющих под раскалённым солнцем кварталов Мусафы и Шабы, проступая всюду, отвлекали мелькающие за окном автомобиля пески и редкие неухоженные пальмы не давали сосредоточиться, а полупустые залы Кэпитала и Мазияда с лиловыми кассирами, переговаривающимися между собой поверх длинных лент кассовых стоек, прилавки мелких лавочек, покинутых в обед своими продавцами, и словно в сказке предлагающих свои товары всем желающим совершенно бесплатно, сводили с ума реалистичностью видений. Нет, он больше не стремился туда сбежать, не желал укрыться там от боли или назло тому вырвавшемуся у жены воплю: «Да скорее бы ты уж!..» — он знал, что ему необходимо туда поехать. Необходимо, чтобы закончить всё и с честью выйти победителем из схватки с... с кем? Этого он точно не мог сказать. С расстоянием, допустим. И он готовился к схватке. Этот мир, созданный, существующий и готовый к ответным действиям, был одновременно ненавистен и притягателен.

Всё чаще вставала перед его глазами его комната. Он входил в неё в девятом часу вечера — как обычно, когда прилетал в аэропорт Абу-Даби, — включал

свет¹, ставил в углу, сразу за дверью, чемодан и шёл в кладовку за щёткой на длинной палке: выметать дохлых тараканов, сползшихся чуть ли не на самую середину комнаты (чёрт знает, что их заставляло собираться именно здесь и в таких количествах). Слышал, как урчит, отъезжая от дома, автомобиль, привёзший его сюда. Потом, после чая, не раздеваясь падал на кровать и следил как поздние сумерки превращаются в ночь.

Дожидаюсь нужного сообщения, Заяц то повторял про себя открытую едва ли не случайно трёхчастную формулу счастья, то выверял в который раз спонтанно найденное решение проблемы, то снова и снова вызывал в воображении, пока ещё не наполненную никакими действиями и приметами, условную благодать наследующих подвигу дней.

С грустью оглядывая свой дом, Заяц задумывается о том, что за время его отсутствия в нём всё изменится, всё станет другим: она не остановится, она всё уже распланировала. Перестелят пол и натянут новый потолок, преобразят стены, переставят двери, заменят мебель, утварь, выбросят ненужный хлам. Он вернётся в другой дом! Книги... Нужно будет снова переносить, переставлять книги. Руки и плечи, кажется, уже ноют от предстоящей тяжести. Сколько же их! Пудовые, словно отлиты из чугуна... Но пусть, пусть! Новый дом пусть будет новым во всём. И новая-старая жизнь...

Заяц так смотрит на блёклые розы, покрывающие стены зала, словно они уже стали чем-то иным. Скоро, скоро исчезнут ориентиры воздвигнутого храма, реперные точки равнодушные руки наёмных рабочих свалят кое-как в коробки, и дай бог если уцелеет из них хотя бы половина — здание, присутствие которого в пространстве он долгие годы обозначал вехами, снова перейдёт в разряд невидимых. Это тоже нестрашно — достаточно двух-трёх, достаточно даже одной мысли. И всё же... всё же что за прелесть, что за радость держать в руках книгу! Книгу — это собрание листов, обладающее тяжестью, цветом, структурой и запахом, эту овеществлённую ценность! У книги больше шансов уцелеть и пробраться тесными ходами времени в будущее хоть обёрточной бумагой, хоть

¹ Во всякое время года в девять вечера здесь уже темно, хотя светлеет всегда раньше, чем дома, и даже зимой, в семь утра собираясь на работу при включённом в комнате свете, через полчаса он поёживается у машины, в ожидании Алекса, во вполне себе приличных рассветных сумерках, тогда как дома в это время во всяких окнах, подвижных и неподвижных, ещё царит тьма.

Солнце здесь восходит так быстро, что пробудившийся не успевает излечиться от стиснувшей его мучительной ночной тоски: редющий сумрак не успевает растворить в себе все кошмары, все видения, и они остаются там, под кожей, невидимые, переходя в какую-то новую, ещё более тягостную для души и для тела фракцию. Неуловимую, неосознаваемую, но отчётливо ощущаемую весь день.

И приходит новая ночь, и новое утро. Тоска множится, как письма, которые боишься прочесть. Стопроцентная неизбежная тоска, просочившаяся через все камни, что выстилают дно души, очистившаяся от малейших примет жизни до состояния дистиллята. Уже не тоска даже, но идея тоски. Когда сил выносить всё это почти не остаётся, приходит спасительный срок возвращения домой. И так случается всегда, словно где-то там, в том же незримом, где капля за каплей сочится вся грязь и муть, расчислена и неуклонно соблюдается мера сил человеческих, не позволяющая душе ни стинуть, ни пропасть.

подставкой под колченогий диван, на которую до поры никто не обращает внимания. Кто-то там, в будущем, найдёт и перескажет. Найдёт и хотя бы скажет, что *нашёл*. Посеет в душе слушателя семена чудесного: вот, не исчезает... Книги — это те же окаменелости, ракушки и кости цивилизации. Образцы материи, из которой исключён хаос. Вот почему ими хочется обладать: одна плоть поддерживает другую, вечное поддерживает преходящее.

Уже перед самым отъездом Варвара спросила у Зайца:

— Ну, что ты решил? Ты разговаривал с ним?

— Насчёт чего, с кем? — удивился Заяц. Но тут же сообразил: — Ах, ты про Женьку... Нет, не разговаривал. Тут... — он замялся, — тут не в боксе дело... — Он хотел сказать ей ещё что-то, но умолк на полуслове, будто увяз в согласных.

Варвара выжидающе помолчала, потом, не дождавшись, спросила:

— А в чём? В чём тут дело?

— Ни в чём, — ответил Заяц.

VI. Лизис

I. Сокрушение человеков

1. Каир

Город высосан, обглодан и брошен, как мёртвая кость в серую пыль низких предгорий. Мёртвый коралловый риф, раскинувшийся насколько хватает глаз; сухое крошево каменоломен. Узкие виадуки подняты столь высоко и столь тесно прилегают к домам, что кажется, протянув руку из окна автомобиля, можно сорвать с верёвок бельё, висящее на балконах. Чужая жизнь, притиснутая к окнам жилищ, бесстыдна, безынтересна, и всё же взгляд невольно цепляется за неё. Так оборачиваются на крик в толпе, на сумасшедших.

День и ночь город завывает на ветру, как духовая труба, усыпанная шляпками пистонов, — это спутниковые тарелки, просунутые в окна под углом к эклиптике, собирают ежесекундное телеподавание: отчаявшиеся в хлебе жадны до зрелищ. Новостройки, не знающие никакого цвета, кроме свинцово-серого, с первых дней примеряют на себя бремя вечности и, притворяясь руинами, щекочат низкое небо рыжей щетиной арматуры — лукавые насельники никогда не достраивают своих жилищ. Вид незавершённости дома призван засвидетельствовать перед властями и Всевышним отсутствие оснований для налога на недвижимость, разрозненность и малый размер светящихся в ночи окон — вселенское одиночество и общее равнодушие к жизни, и только повсеместные голубятни размером с бытовку, парящие под облаками и выкрашенные во все самые яркие, самые радостные, что есть в подлунном мире, цвета, беззаботно раскачиваясь на пиках и остриях металлических прутьев, словно маковые коробочки, выбрасывая из себя крылатые семена, засеивая

небеса стайками голубей, выдают истинное состояние душ наивных обманщиков. Пёстрые ковры брошены прямо на голые бетонные плиты.

Оттого, что все здания составлены с немислимой плотностью, взгляду здесь доступен единственный вид перспективы: обратный. Линия горизонта — недоступная роскошь, и горожане, привыкшие к лишениям с детства, семянят по узким улицам на дне рукотворных ущелий, привычно опустив головы. Коптские церкви, похожие на столбы с объёмными крестами — перекладины на все четыре стороны, — словно репродукторы гражданской обороны, безмолвно, днём и ночью, напоминают об опасности *мира сего*. Но, не обращая на предупреждения никакого внимания, следуя собственным взглядам, проходят жители города мимо. Террористы захватывают, взрывают, требуют — люди торопятся, спускаются в переходы, в метро, кишачее карманниками, в подвалы лавчонок, забитые крысами, пробираются по дну ущелий, образуемых глухими стенами многоэтажек. Водоносы, как во времена турков-сельджуков, в сапогах и шапочках, с серебряными трубами за спиной, похожие на ходячий орган, продают воду, таксисты ругаются из-за двадцати пиастров, менеджеры и продавцы магазинов прячутся в подсобках от жары и назойливых посетителей, и только бродячие собаки, особая достопримечательность Каира, эти невозмутимые философы с печальными глазами никуда не идут, не спешат и ничего не желают. Весь день лежат они в тени или же, встав на задние лапы, внимательно глядят поверх низких глиняных заборов куда-то туда, где угадывается ими даль.

Нищенки в белых перчатках, осаждаемые полчищами мух, посреди самых оживлённых трасс просят милостыню жестами глухонемых — по очевидной причине они не открывают ртов. Деревни незаметно переходят в кладбища, а кладбища — снова в деревни. И тут и там на обочинах валяются трупы падших коров, ослов, овец. Нарядные тележки с деревянными резными колёсами в человеческий рост предлагают манго и апельсины баснословной дешивизны. По ночам, когда городской шум стихает и ненадолго ослабевает движение автомобилей, со всех набережных и мостов становится слышно, как шуршат рукава Нила, большой и малый: это трутся друг о друга, колеблемые вязкими вонючими волнами, жестяные и пластиковые бутылки, пакеты, канистры, палки, коробки — мусор, собравшийся в огромные, ничем не разбиваемые острова.

Всё здесь, чего ни коснись, или свалка, или похоже на свалку. Восточное кладбище в Гизе, Пирамиды со стороны фаюмской дороги, левая часть Цитадели, Город мусорщиков — образцы особой формы жизни, несколько десятков, сотен и тысяч лет назад отбившейся от рук и с тех пор не поддающейся никакой организации. Дома возводятся из той же глины, что и мазары покойников, и теснят царство мёртвых так настойчиво, что уже слились с ними, без границы, без перехода — живые устали ждать своей очереди и переселились к покойникам ещё при жизни. Авантюристы и неудачники, сначала занимавшие наиболее богатые и просторные склепы, умножившись, добрались и до старых построек, разворовывая их на кирпичи и складывая добычу в форме собственных домов. Им не требовался даже цемент: пыль и песок, наносимые ветром, забивали щели

и превращали кладку в монолит. Ветру всё равно, кто обладает правом собственности на жильё.

Дома, обретшие вторую жизнь, выстроились в улицы, улицы пролегали вдоль силовых линий жизни: от реки к полям, от полей — к рынкам, к дорогам, к ближайшим деревням. Глядя на то, как устроились в жизни люди, едва ли занимающие в ней хоть сколько-нибудь достойное место, постепенно из близлежащих селений потянулись к окраинам и осторожные феллахи, доведённые нищетой до отчаяния. Они не трогали могил и, не нарушая покоя своих и чужих предков, делали кирпичи, вгрызаясь в подножие горы, стоящей слева от Цитадели Саладина. Поселение пришельцев росло. Дома и могилы, живые и мёртвые мешались друг с другом, всё заносило песком, всё сокрушало время, но живые с такой же настойчивостью, с какой они подтачивали гору, совместными усилиями вновь и вновь откапывали свои постройки, не делая различия в том, кому они принадлежат, — разбирательство отняло бы слишком много сил. Они поправляли обрушившиеся стены, постепенно соединяли их и заполняли пробелы между прошлым и настоящим, и уже скоро стало совершенно невозможно различить, где чьё пристанище: один и тот же песок укрывал и тех, кто уже упокоился, и тех, кто пока ещё беспокоен. Когда свободное место закончилось, деревни двинулись в сторону города, грозя слиться с ним, поглотить его дворцы и особняки, виллы, и офисы, и памятники — всё-всё-всё. Не город побеждал деревню, но деревня — город: цивилизация отступала перед первозданной и мощной жадой бытия. Подползая к богатым кварталам, новая стихия исподволь обращала некогда тихий прекрасный пригород в своё подобие: в обжитые руины, мусорные кучи, цветные тряпки, развешанные от стены к стене через всю улицу так, что, кажется, обитатели их постоянно готовы к встрече какого-то очень важного, почётного гостя. Те, кто был достаточно богат, видя, что остановить натиск деревни нет никакой возможности, день за днём наблюдая, как нищета, перепархивая через высокие красивые заборы, вчерашними газетами ломится к ним уже прямо в двери, бросали всё и уходили дальше в пустыню, чтобы там, на новом пустом месте, заново проращивать свою стерильную счастливую жизнь, но и там, спустя время, их настигала деревня, и всё повторялось снова. Казалось, что город беспрерывно отступает от самого себя, бежит вглубь пустыни.

Заяц вглядывается в пустоши, посыпанные каменной крошкой домов, в низкие горы на горизонте, в холмы, изрытые дорогами, в уступы и кручи самого города: то ли это — что рассказывала ему когда-то Анна Михайловна, то ли — что некогда видел ясно он сам?

Не воспоминания очевидца, но пересказ прочитанного, причём прочитанного и проделавшего затем весьма долгий и извилистый путь в душе рассказчицы, во время этого пути впитавший в себя наиболее существенные подробности собственной жизни, включая сны и страхи, надежды и опыт забвения, удивительным образом совпадает с тем, что открывается ему, и факт сей подымлет ему волосы, как переживаемое внезапно чувство переселения душ, или чувство утраты истинных границ реальности. В поисках той точки

во времени или пространстве, с которой город начинался бы в самом деле, он мечется и взглядом, и памятью то туда, то сюда, всюду, куда только может проникнуть, но, кажется, что облик города открыт ему сразу весь, всюду и всегда, и он и в самом деле видел его ещё до того, как услышал об Индрике, до того, как прошёл всеми его подземными тоннелями, до катастрофы, тогда, когда достаточно было забраться с ногами на кровать и, обхватив колени руками, прислониться спиной к коврику с оленем, склонившимся над озером, ещё до того, как вытканная золотом шторка, отделяющая салон бизнес-класса от салона класса эконом, задёрнулась и заколыхалась перед самым его носом.

В необычной тишине, царящей в салоне, черед странных темнолицых людей. (Откуда их столько? В обыденной жизни в таком количестве в одном месте он их, кажется, ни разу не встречал.)

Степенно продвигаются гуськом всё дальше, к самому хвосту, полушёпотом на ходу переговариваясь, оглядываясь, передавая какие-то тайные вести по эстафете, от начала к концу и обратно. Словно колония неких зооидов, связанных первой сигнальной системой. В нелепых коротких курточках они похожи не то на присмиривших цыган, не то на ставших вдруг выходными тружеников вечного южного рынка. Колонна движется, удивительным образом не редая. Европейцев всего два-три, кажется, не считая их с Алексом (в аэропорту Заяц его, по понятным причинам, не искал) — рейс не курортный, направляется в столицу, а не к морю.

Не воспоминания очевидца, но пересказ прочитанного, причём прочитанного и проделавшего затем весьма долгий и извилистый путь в душе рассказчицы, во время этого пути впитавший в себя наиболее существенные подробности собственной жизни, включая сны и страхи, надежды и опыт забвения, удивительным образом совпадает с тем, что открывается ему, и факт сей подымлет ему волосы, как переживаемое внезапно чувство переселения душ, или чувство утраты истинных границ реальности. В поисках той точки во времени или пространстве, с которой город начинался бы в самом деле, он мечется и взглядом, и памятью то туда, то сюда, всюду, куда только может проникнуть, но, кажется, что облик города открыт ему сразу весь, всюду и всегда, и он и в самом деле видел его ещё до того, как услышал об Индрике, до того, как прошёл всеми его подземными тоннелями, до катастрофы, тогда, когда достаточно было забраться с ногами на кровать и, обхватив колени руками, прислониться спиной к коврику с оленем, склонившимся над озером, ещё до того, как вытканная золотом шторка, отделяющая салон бизнес-класса от салона класса эконом, задёрнулась и заколыхалась перед самым его носом.

Самолёт вылетал рано утром, поэтому встать пришлось ещё раньше, почти ночью, и теперь он и спал, и не спал, в полубреду-полусне мучительно пытаюсь сообразить зачем-то направление вращения Земли — по или против часовой стрелки, как в каждом новом доме, перед тем как уснуть, — то соотношение времени восхода и заката в дни солнцестояний (это тоже отчего-то казалось важным), то вспоминалось как настырно, долго лаяла собака в соседнем дворе вечером накануне.

Плотные, цвета тёмного золота шторы колыхались перед самым носом, и какое-то время, достаточное для того, чтобы оцепенение, подобное заморозкам, пронизывающим почву под палым листом, охватило его, он разглядывал вышитый битую узор, пытаясь соотнести непроницаемость мелких линий с непроницаемостью дальнейшего своего будущего, охватившего его как будто всего целиком.

Начали снижаться, и уже близка стала земля. Небесная, кристальная ясность и чистота лазурного неба ушли, в салоне заметно стемнело. Изменилось прямолинейное плавное движение, плотные слои воздушных масс закружились под брюхом, над головой, справа и слева снова зашумело, застонало и стало казаться, вопреки логике, что с ещё более несусветной, с ещё более страшной скоростью помчался самолёт.

А потом облака прорвались, и посреди песков показались пирамиды: крошечные, похожие на заветренные куски хлебцев. И Сфинкс — как детская формочка для песка.

Он оглох и, как всегда при посадке, как это делают дети, когда слёзы их перестают литься наружу и начинают стекать внутрь, Заяц часто сглатывал, и тогда слух ненадолго возвращался к нему — словно открывалась внутри него маленькая дверца, и дверцей этой проникал в замершую жизнь гул турбин, беспорядочные звонки СПУ и болтовня раздухарившихся вдруг пассажиров. Настоящее время ненадолго возвращалось к нему, но скоро опять одолевали глухота, непроницаемость пространства, и он, словно трагический актёр немого фильма, возводил очи к рубиновым буквам *Fasting belts* и вглядывался в них долго, пристально, словно от них зависел успех его будущего.

Ориентируясь на невидимые токи магнитных полей, сносимый сильным боковым ветром, самолёт пытался нащупать связи, соединяющие его с землёй, и коснуться её так, чтобы соединение было безболезненным для обоих.

И движение прекратилось.

Он вглядывался в приблизившийся до предела разборчивости пейзаж, словно искал там, среди такой одинаковой во всех странах суеты наземных служб, людей, машин, меж одинаковых построек, одинаковых заборов, что-то особенное, зримое эхо виденных пирамид, Сфинкса, что ли... — Но нет, ничего такого. Обыкновенные пальмы, обыкновенные акации. Какие-то неразличимые отсюда кусты — алоэ, что ли, — ангары, почтово-багажные караванчики, влекомые игрушечными машинками, посаженные низко над землёю огни.

Загомонили, зашумели странные люди в коротких курточках — теперь уже без курточек. Поднялись с мест, потянулись за своими чемоданами и баулами. Пошли. Уже не так осторожно, а как обычный люд, вернувшийся домой.

Старательно прикивая носом к пластику, Заяц делает вид, что всё ещё разглядывает что-то там вовне, что не замечает, как проскальзывает мимо Алекс — ему хочется хоть на секунду, хоть на миг отдалить момент позорной встречи. И когда боковое зрение перестало улавливать движение тел,

когда окончательно стихло шарканье и шуршанье и умолкли окрепшие голоса пассажиров, только тогда Заяц встал и медленно прошествовал сквозь опустелое чрево, чувствуя, как отдаются его шаги в металлическом полу лёгким гулом и вибрацией; разглядывая брошенные на пол, словно в панике бегства, пледы, подушки, наушники, бумажные стаканчики, кульки — привычный человеческий сор — и, не останавливаясь, вышел вон, лишь на мгновение замерев на первой ступеньке трапа, чтобы прислушаться: казалось, самолёт ещё постанывает после сумасшедшего своего бега.

Мысль о том, что совсем недавно, едва ли не только что, его окружала небесная стынь, здесь, в струящемся от жары мареве, казалась невероятной. Словно и вправду ища следы этого пребывания, Заяц окинул глазами самолёт, — ничего. Остатки стыни могли бы таиться теперь лишь где-то в укромных, недоступных ни взгляду, ни рукам дилетанта закоулках, в извилинах и лючках, в расщелинах и полостях, если бы это и в самом деле было правдой, серебристый цвет полированного алюминия мог бы ещё навести на мысль о ней, да ещё резкий, как запах керосина на морозе, свист замедляющих своё вращение турбин, но ведь ничего не было, да?

Или было?

Обычная жара, обычный запах песка с примесью сладкой копоти в воздухе...

Автобус подъехал к гейту, толпа высыпала и, рассеиваясь на ходу, направилась вглубь здания. Большинство, как ни странно, шли, озираясь в поисках указателей, — они, как и Заяц, были здесь впервые. Плохо освещённые залы казались особенно тесными, ободранный пластик, деревянные панели напоминали Ленинградский переговорный пункт.

От внезапного хлопка по плечу Заяц чуть не присел.

— Стоямба! — заорал Алекс и, довольный произведённым эффектом, зареготал. С рюкзаком на одном плече, он был подтянут и бодр, как альпинист, готовый к восхождению, или как собравшийся на дело спекулянт. — Ну, как отдохнул за праздники?

Заяц смутился: в вопросе ему почудилась насмешка, и он замялся, соображая, как бы ответить понейтральнее, но не успел ничего сказать, Алекс глазами показал на уверенной походкой прошествовавшую мимо фемину средних лет: «Красавица! Соседка моя. Рядом сидела». Красавица была столь худа, что в чёрном своём платье с открытыми плечами казалась замкнутой в винную бутылку. Алекс преувеличенно повёл носом в её сторону:

— Уффф! А запах! Жасмин! Натюрэль! Хотя я больше люблю фуражные...

— Какие?! Чего?

— Эээ... ну, эти, фужерные. Ароматы.

— Что-то платье у неё, кажется, какое-то... вечернее. — Заяц уцепился за возникшую тему, почувствовав радость оттого, что не нужно отчитываться о проведённых праздниках.

— На работу прилетела, — тоном знатока ответил Алекс.

— На работу? — Заяц окончательно смутился. — Интересно... Переводчицей, что ли? Тогда почему одна?

Алекс снова заржал.

— Ага, переводчицей! Ух, походочка! Ты погляди, прямо как на подиуме! Кстати, я по телеку смотрел одного профессора, так вот он объяснял, что ходьба — это, по сути, с инженерной точки зрения, цепь непрерывных падений вовремя пресекаемых подстановкой ног, представляешь? Ну, пойдём, нам туда. — Алекс поправил рюкзак и решительно направился к будкам, перегораживающим большой зал на две неравные половины. — Сейчас купим визы... где тут... мне как раз деньги дали на них...

Весь перекосившись, Алекс внедрился в глубину собственного тела в поисках денег.

На дальней, большей половине, у движущихся транспортёрных лент уже начинал скапливаться прошедший таможенную народ.

Едва Заяц с Алексом прошли контроль, как ленты вдруг встали. Стало тихо как на поминках. Люди заволновались, заглядывались с тревогой и любопытством друг на друга. Впрочем, местные как будто не удивились.

В гулкой тишине накрытого, будто горстью, вокзала стало слышно, как вверху перепархивают птицы, как когти их жёстко скребут о металл. Заяц поднял голову, присмотрелся. «Обыкновенные голуби. Ну, как обыкновенные... Горлинки. А звук такой, как будто демоны кружат».

Порханье, трепет крыл, движение воздуха. Заяц осторожно потянул носом — нет, специями здесь не пахнет...

На неподвижной ленте отыскивали свои чемоданы — к счастью, их уже успели выгрузить. Пассажиры, которым не повезло, остались терпеливо ждать.

Представитель заказчика нашёл их сам и споро повёл долгим извилистым путём сквозь здание, сплошь заполненное людьми. По лестницам, кружившим, казалось, на месте и выходящим на самих же себя, по коридорам, уводящим как будто всё выше и выше от земли, к которой они стремились, и как бы даже куда-то совсем в другую сторону, прочь от видимых за окнами автомобилей... Чемодан подпрыгивал и застревал, приходилось, всем корпусом оборотясь к нему, вытягивать его из стыков плит, объезжать малоподвижных путешественников и чуть ли не между ног протягивать у некоторых совсем уже неподвижных особ. Заяц взмок. Наконец, по широкому пандусу спустились вниз и окунулись в такую толпу, что пришлось, усердно работая локтями и корпусом — какие там правила восточных приличий! — уже буквально силой прорываться к дверям.

Пока продирались, Алекс всё возмущался:

— Вот гады, пятьдесят баксов содрали! Это ж сколько «Немировых» в Виндмиле можно было купить! Восемь? Нет, семь... Ну Азиз, ну гад...

При чём тут Азиз и почему он гад, Заяцу спрашивать не хотелось. (Вообще-то, заниматься визами должен был он, и деньги на покупку виз тоже должны были выдать ему, как начальнику, но Алекс ещё из дома договорился

с бухгалтерией, что сам заедет в офис — он, дескать, как раз рядом, и чего уж тут огород городить, и вообще, какая разница... — власть исподволь, по крупицам уходила из рук, да и бог с ней, с этой властью. Без неё как-то свободнее.) А Заяц на ходу всё оглядывался и прислушивался, даже снова принимался, даже, касаясь одежд мужчин и женщин, как бы весь напрягался, пытаясь почувствовать ткань, и в мягкости, складчатости, рыхлости, задевающей его, в очертаниях и запахах, веющих над головами, счесть приметы земли, умопостигаемой когда-то давно, едва ли не до степени отчётливого видения и осязания, и удостовериться, как знакомящийся по переписке, что не допустил досадной оплошности, не кинулся с улыбкой, предназначенной другому, на грудь к лицу отдалённому, что есть, есть здесь нечто, что он п р е д у г а д ы в а л.

За окнами мрели непривычно высокие пальмы — в Эмиратах таких почти нет, там в основном низенькие, плодовые. А эти — будылья-пустоцветы... Макушки пальм были почти неподвижны, а ярко-зелёная трава в стройных изножьях совсем не походила на те лопухи и папоротники, что видел он когда-то на картинках в Книге Анны Михайловны. Обычная газонная растительность, трава как трава. «А ведь Земля Обетованная, и Рай, и Вавилон, и всё-всё такое — это же, теоретически, где-то здесь, неподалёку. Вон Моисей с народом вообще пешком дошли...» — думает на бегу Заяц.

Наконец, все трое вырвались к воздуху и свету и на миг ослепли от обилия того и другого. Тут же подъехала машина, и проводник с водителем, с нелепыми артистическими ужимками, призванными символизировать внимание и дружелюбие, усадили гостей.

Проводник тут же скрылся в толпе.

Машина некоторое время двигалась медленно и почти безмолвно среди прочих, забивших бескрайнюю стоянку, плыла, словно баржа, но, выбравшись на полупустую трассу, набрала скорость, и вот уже через какое-то время она стремительно мчалась мимо тех мест, на которые Заяц смотрел, — невероятно, но всё же смотрел, вот только что! — сверху. Те самые хлеба, забытые на столе цивилизации тысячи лет назад, медленно проплывали мимо его носа.

Собственное, крохотное, внутреннее время Зайца ещё не успело войти в меандр времени здешнего, и теперь то тёрлось о его края, в центробежном своём ускорении выделяя жар, поднимавшийся к самой поверхности щёк, то отнималось в ускорении центростремительном, образуя пустоту, от которой кружилась голова и немели кончики пальцев. И так оно то отставало, то забегало вперёд, и двигалось рывками, и всё чаще накладывалось одно на другое, пока совсем не налегло и не уравнились и сорок прошедших веков, и сорок промелькнувших лет, и эти сорок минут, в течение которых автомобиль всё бросало то вправо, то влево среди то восстающих навстречу, то опадающих за спиной кварталов цвета пепла и ржавчины.

Непривычно притихший Алекс вдруг оторвался от окна со своей стороны: «Эй, мистер, хау? Ну, сколько ту хоум?» — Всем телом своим он попытался изобразить суть вопроса, обращаемого к водителю, и ладонями, сложенными

лодочкой, как баядерка, потыкал куда-то за окно, в направлении общего движения. Водитель, догадавшись, о чём речь, с улыбкой отвечал ему: «Эбаут уан ауа!»

— Чо-чо? — Алекс дёрнул Зайца.

— Ещё около часа.

— Блин, как долго, а! Если каждый день так добираться, то нафиг надо!

— Ты тогда не будешь ездить на работу? — как можно дружелюбнее спросил Заяц.

— Да нет, буду, конечно, но... нафиг надо... Как в Москве, считай... — снижает Алекс.

Ему не до шуток — в Абу-Даби путь на работу занимал двенадцать минут, а один раз — это был его личный рекорд, поставленный в пятницу, — даже девять. Алекс умолкает, но через несколько минут становится видно, что какая-то мысль опять не даёт ему покоя. Поёрзав, он, наконец, делится с Зайцем сокровенным: «Слышь, я чё... Это... Чё, маханём в пятницу в цирк? Говорят, тут цирк классный».

Заяц ошеломлён. Алекса он знает уже довольно давно, но вот этой жестокой любви к детским развлечениям в нём он даже не подозревал. Заяц пожимает плечами и отвечает просто: «Я не люблю цирк». Алекс расстроено молчит: придётся ехать одному. Не отказываться же, в самом деле, от удовольствия.

Что есть странствие странника? Всегда ли странствие равняется сумме своих целей, причин, обстоятельств и мест, и что если это не так? Не содержится ли среди известных слагаемых странствия так же нечто вроде того, что современные астрономы называют тёмной материей — нечто, что в действительности существует, но пребывает недоступным ни для разума, ни для органов чувств, ни даже для того органа, которым Заяц вечно пытается на новом месте, где застигает его бесчувствие сна, определить своё положение относительно стен жилища?

Говоря о причинах, толкающих человека в путь, принято делить их на внутренние и внешние, причём внутренние причины принято считать причинами благородными, тогда как внешние причины считаются уважительными только в том случае, если они насылаются самой Судьбой или богами. Но если исходить из того, что и боги, и люди равно есть порождения Вселенной, принципом существования которой является Вечное Движение, то не оно ли одно и толкает странника в путь, не оно ли и есть та загадочная «тёмная материя» жизни, и не восторг ли и смирение должны охватывать человека, однажды почувствовавшего в себе этот побудительный импульс? Человека, долгое время остававшегося бесчувственным к основному принципу жизни, и вот — пробудившегося и почувствовавшего себя единым с миром. Вечное Движение — оно одно причина и цель, вид и смысл всякого странствия. Принятие его есть единственный способ разумного бытия, и что бы ни гнало человека — предательство близких или собственное лукавство, отчаяние или любопытство, жажда славы или полная неизвестность, пресыщенность или голод, твёрдое обещание награды или страх наказания, — всё есть благо для него, ибо оно суть Вечное Движение.

Не благо — недоверие и мелочный пересчёт, взгляд, упёртый в ассарий, за который куплены место на корабле и долгожданный покой. Не благо — сон в укромном местечке под скрип мачт среди одуряющего запаха пеньки, такого знакомого, такого любимого запаха, напоминающего о сохнувшем стоге возле дома. Не благо сон.

(И вот, предположим, просыпается беглец оттого, что скрип и стон снастей усилился; оттого, что одичавший ветер, забираясь под лохмотья, добрался уже до самого сердца, а счастливая звезда, чьё присутствие в небе ощущалось даже во сне, уже и не видна под покровом набежавших туч. И, озираясь со страхом, вглядываясь в сгустившуюся тьму, понимаешь — то есть он, он, конечно, понимает вдруг, — что и берега Фарсиса за всё время, что тут прохладился, не стали ни дальше, ни ближе! Что Ниневия пребывает там же, где и была всегда, и что теперь эта Ниневия, если единственная реальность, что окружает сейчас, это бушующие уже всюду волны, оливковое масло в бочках — бесполезное оливковое масло! — и бездна с обитающим в глубине её исполинским китом! А команда подозрительно переглядывается, ища виновника столь странного и неожиданного бедствия. Вот тут-то и появляется возможность всё исправить, начать путь посреди пути, истинное движение посреди движения ложного...)

Но если есть Вечное Движение и тот, кто ему предназначен (все, все предназначены), то чем определяются особенности его пути, не свойствами ли самого странника? И каковы эти определяющие свойства? Не иначе как лёгкость и чуткость, подвижность и беспокойность? (Свойства не нажитые, не обрётённые, но как бы добавленные в состав преднамеренно от рождения так же, как, скажем, в стекло добавляется свинец для прозрачности, в глину — зола для тонкости, а в лён — солнце для белизны, ибо лёгкость позволяет сниматься с привычного места с первым же приливом вод времени, любопытство заставляет не дремать ни днём ни ночью, а тонкость вынуждает отзываться на всё замечаемое и переносить сущее из области невидимого в область видимого, не делая между ними особых различий. А ещё, конечно, чуткость боится от опасности лишиться в дороге всего своего скарба — благо, лихих людей и благородных разбойников хватает во все времена и на любых дорогах.) И опять же, если свойствами странника обусловлены свойства его пути, то чем обусловлено появление самого странника? Не существованием ли той страны, которую предназначено ему познать и описать, извечным существованием того, что должно ему нанести на карту, нанести и подробно описать и берега, и поймы, и затопляемые луга, и возвышенности, и глубины, и мели, и весь живой мир со всеми рыбами и ракушками, водорослями и кубышками, камышом и рогозом, водяным орехом и даже ручейниками и нимфами, ими питающимися? А чем обусловлено появление страны? Существованием странника? И не являются ли, в таком случае, всё, и странник, и страна, и Вечное Движение, частями одного общего целого? Частями, предназначенными друг для друга изначально?

В мире свершившемся, исполнившемся до конца, всё было всегда, и всегда всё будет на своих неизменных местах. И этот снегопад, и трамвай, ползущий сквозь него, и тот сумасшедший с раззявленным слюнявым ртом, — всё, всё.

Они были, он был, оно было, и каждый шёл своим путём, пока однажды, на миг, не пересеклись, не встретились. Встретились, разошлись и пошли дальше, каждый своей дорогой, но уже не такие, как прежде.

(А самолёт опять ускоряет свой бег до предела, до того, что душа внутри вострепетавшего существа сжимается и цепенеет, словно желая тем самым компенсировать возросшую скорость движения, желая замедлить понёсшую её против воли, может быть, силу, а два китайца между тем как ни в чём не бывало дремлют на своих местах, покрывшись газетами, и иероглифы, словно жуки, ползут по их лицам, — это снова Заяц оказывается во власти эха незавершённого ещё, бог знает когда завершающегося события, это ещё окликают его из атмосферных нагромождений, оттуда, где он пребывал недавно, вот только что, окликают часто, нетерпеливо, и эхо окликов достигает слуха почти изничтоженными собственным множеством.)

Пешеходы невозмутимо бредут прямо по проезжей части, не обращая внимания на проносящиеся почти вплотную к ним автомобили, никак не реагируя на возмущённые гудки. Двигаться по тротуарам невозможно: они завалены горами мусора кое-где высотой в человеческий рост, чаще — по пояс. Когда мусора скапливается слишком много, жители избавляются от него древним и радикальным способом: с помощью огня. Подожжённый сразу со всех концов, город пылает несколько суток, и чёрная гарь стелется над землёй, мешаясь с порхающими хлопьями пепла, застилает солнце, а смрад пожарища поднимается всё выше и выше, к самому небу, вместе с молитвами его обитателей об избавлении от этой напасти, но, кажется, он единственный, кто находит туда дорогу. Птицы, обычно летающие всюду во множестве, на это время куда-то исчезают, смолкают все звуки, и город стоит оглохший, обожжённый, всматриваясь в рдеющий у ног его прах, а по ночам багровые отсветы мечутся в небе, отражаются в низко нависших облаках и возвратным светом освещают окна домов, озаряют сны горожан. И трутся, гремят, шуршат рукава бессонного Нила: всё, что способно держаться на воде и что собирается у берегов и отмелей его в огромные зыбкие острова, звучит тревожно и безнадёжно.

2. Голландская вилла

Пепел и гарь мусорных костров не достигали тех мест, где поселили Зайца и Алекса. Город Шейхов считается элитным поселением и радует глаз богатыми виллами, утопающими среди магнолий и сейб, безбрежными идеально подстриженными газонами и искусственными прудами.

Урча двигателем и кондиционером, автомобиль тихо причалил у обочины брусчатой аллеи. Водитель посидел, выжидательно глядя в сторону калитки — взгляд его не произвёл на калитку никакого действия, — осторожно посигналил... тоже безрезультатно. Тогда он заглушил двигатель, вынул из бардачка и приложил к уху мобильник, внимательно выслушал его, повернулся

к труженикам геологоразведки и, словно впервые увидел их, внимательно оглядел. В машине сразу стало жарко и запахло чем-то химическим. Освежителем, что ли. Водитель обстоятельно почесался. Запустил пятерню под рубашку. Снова внимательно взглянул на своих пассажиров и на ломаном английском сообщил: House now closed. You need wait manager. She quickly. И — go, go — сделал благословляющее движение рукой в сторону калитки — please. В глубине рта его блеснул золотой зуб.

В общем и целом можно было бы сказать, что дом, к которому их подвезли, был трёхэтажным. Но, выложенный из тёмно-красного кирпича, со ступенчатым фронтоном под черепичной крышей над парадным входом, и с протяжённым, опоясывающим всё здание по периметру деревянным сквозным балконом, выкрашенным белой краской, с башенками и переходами, отдельными полуфлигелями и полуслужбами, как бы перебитый на несколько частей, он производил впечатление не столько жилья, сколько какого-то сложного устройства. И всё же казался очень обаятельным. Балясины чувственных очертаний наводили на легкомысленные мечты о пухлых девичьих икрах.

Основательные гранитные ступени крыльца, числом пять, громоздились перед исполинской аркой. Перила крыльца, широкие, некогда побелённые, но теперь заметно облезшие, и справа и слева сплошь были уставлены цветочными горшками. Заяц присмотрелся — портулак, анемоны, маргаритки, герань, ещё что-то незнакомое и пахучее, и гвоздики, кажется. И он невольно поразился: опять! Опять это волнующее волшебство: из зимы в лето за каких-то четыре часа! Ни февраля, ни марта, ни апреля, — а всего каких-то четыре часа! Словно в одной и той же книге перелистнули несколько страниц. Дверь с коваными, как и украшение на воротах, накладными петлями и кольцом была набрана из широких досок цвета тёмного марокканского янтаря. Время и солнце тоже потрудились над ними: выгнули, разрознили — кое-где зазмеились неширокие трещины. «Дубовые», — почему-то сразу решил Заяц и коснулся досок рукой — они были горячими и сухими.

Оставили чемодан и рюкзак перед дверью, спустились. Не сговариваясь разошлись в разные стороны — осмотреть новое жилище.

Несколько кустов бугенвиллей засохло, но большинство вполне себе здравствовали. Магнолии, похоже, даже собирались зацвести. Значит, за ними присматривают. Нет, здесь, конечно, не эмиратское пекло, и за день, предоставленное самому себе, ничего не сгорит, но... регулярный присмотр ощущался. Вон у левого торца дома мраморная лестница, ведущая в полуподвал с широкой стеклянной дверью, подметена — жёлтые листья аккуратной полосой лежат вдоль обочины. У правого торца, в шаге от стены, миниатюрная поленица наводит образцовой аккуратностью на мысль о рождественских открытках из Германии, Австрии, Голландии... Забытый у крана, ещё чёрный, а не белёсый, не выгоревший на солнце резиновый шланг. Нет, здесь не сиротство, не раздраз города брошенных детей, но присмотр и лоск, респектабельность, собранность. И всё же, всё же... Заяц вздохнул.

Гигантские чёрные муравьи сновали по заветревшим срезам, по пересохшей и выцветшей коре поленьев. Деловито и сосредоточенно. На заднем дворе, куда выходили огромные, от самого пола и до второго этажа окна, пылился довольно просторный газон, сплошь по периметру заросший акацией. В дальнем углу двора высилась огромная, васнецовских масштабов корявая сикомора. Покоем и печалью, ровными, непроходимыми веяло от неё, и Зайцу на миг плоскость листы почудилась ситцевой завесой, подвижно отделяющей настойчивое помавание сырых атмосфер в сенях от нагретого телами и дыханиями нутра дома, дома, в котором что-то тонко и долго и так знакомо пищит — не то позванивает счётчик, не то плита остывает, сладко пахнет пудрой, и воском, и газом, и двери в зал притворены, и в кухне — окно, а под окном — лавка, а за окном, совсем-совсем рядом...

Занавес едва колышется на сквозняке, шёпот за дверью.

Заволгшая газета усыпана цветками календулы — ах, ничто не сохнет, напрасный труд.

Волк с разинутой пастью падает сверху вниз, и руки сомнамбулы обречённо сложены на коленях.

Словно рыбацкая сеть, трепещет листва, волнуется жизнь, нити и узлы, связанные воедино, находятся в непрерывном движении...

За бледно-зелёным трепещущим шатром сикоморы угадывалось ещё какое-то пространство, но ни Заяц, ни Алекс сейчас не заинтересовались им — всё их внимание привлекал дом. Движимые любопытством, они обошли его, каждый своим полукругом снова к ступеням крыльца и, разминувшись, — опять туда, где хуже подстриженная трава была усыпана жёлтым и оранжевым. (Заяц поднял, осмотрел — листья. Пыльные, и пыль перешла на пальцы. Ими же, привитыми пылью¹, он коснулся ручки двери, уже не ощущая собственной её шероховатости. Подёргал — «Закрето».)

Пальцы соскользнули с витого металла вниз, и указательный упёрся в скважину, словно Заяц хотел просунуть его туда, как ключ. «Значит, будем подождать», — сказал он беспечно и легко, и у него на душе и вправду сейчас беспечно и легко — дом ему нравится, а это, что ни говори, очень важно, и ещё здесь красиво, зелень, а не пески и соль, и, кстати, надо бы послать Варваре эсмэску о том, что долетел, что всё нормально, но... потом, потом. Впереди ждут великие дела, направление жизни и излечение хворей, а пока блаженное желание

¹ Глядя на испачканные пальцы Заяца, Алекс, не сдерживая отвращения, шумно выдыхает «фффу!», но Заяц этого отвращения ничуть не разделяет: он давно уже догадался, что чрезмерная Алексова любовь к чистоте свидетельствует лишь о его тотальном непризнании всего сущего себе равным. Его ритуальная чистоплотность гротескна и алогична: откушавши скромного и завернувши в чистую тряпицу свои столовые приборы, он машинально тушит окурки в стакане с чаем отошедшего на время собеседника, а аккуратно собранную за время езды в машине шелуху налузганных семечек с облегчением вытрясает из слюнявой раскрасневшейся жмени в окно у первого же светофора.

бездеятельности охватывает его под этим нежарким, хотя и ярким солнцем, в виду странноватого, но симпатичного дома, в тишине... Эх, земля египетская...

На едва осязаемом ветру трепещет листа, в подклетьях кустарника, прямо за спиной, слышится возня и торопливая побегка птиц, их возня и перепархивание. (Заяц присмотрелся — парочка завирушек.) Ещё какое-то, не принадлежащее никому и ничему тайное движение угадывается поодаль, справа и слева от калитки. За забором, у соседнего дома рыжий спаниель, напряжённый, как параллелограмм, чутко прислушивается не то к гостям, не то к неведомому. Из трещины разошедшегося дверного косяка быстро и аккуратно высовываются всё те же муравьи. Высовываются, на миг замирают, и, один за одним, скатываются тяжкой дробью на землю, шустро разбегаются в стороны. Посновав, возвращаются обратно, выстраиваясь от земли до трещины обвисающим пунктиром, чертежом чудесного оборения гравитаций. Крупные, — словно кто-то невидимый, но несомненный разбирает и снова собирает лоснящиеся чёрные литеры перед тем, как сделать окончательный и самый верный оттиск дня.

— Ого! Ты, бля, глянь, чо там! Стулья! Аф-фигеть! Камин! Нет, ты видал — камин! А кресла какие!

Восклицание Алекса заставляет Зайца обернуться: прикинув к пыльному окну, Алекс вглядывается в сумрак зала.

— Вот это видно, что люди для себя жили! А не распылялись, — Алекс, оторвавшись от созерцания, насмешливо взглядывает на Зайца — на других, как некоторые.

Заяц жалко улыбается.

— Картины всякие... Стол — человек на двадцать! И двеееерииии...

«Бу-бу-бу», — гудит вокруг соглядастая пространство. Неловкой речью своей он тшится выбрать из нагромождения сокровищ немногое, чему знает цену. Ему хочется позырить и помацать всё как следует, немедленно, но приходится ждать этого чёртова менеджера.

Со тшанием прапорщика Алекс медленно движется вдоль окон, переступает приставными шагами по дорожке, оглашает свой инвентарный список.

Заяц, прижатый к стеклу любопытством, дрожит от возбуждения: красное дерево, слоновая кость, бронза и медь. Неужели возможно такое? Чтобы вот среди такого изобилия, меж изящных линий и прихотливых узоров, вблизи закруглённых углов и выпуклых от собственной важности мебели жить, передвигаться, касаться на ходу небрежно шёлка и мрамора? Это не Варин новодел и пластиковый лоск, это совсем-совсем другое... И где!

В стоячем сумраке благородной жизни открывается взгляду беззвучное беснование сплетающихся линий, наглядное спряжение сил и олицетворение изобилия. На ореховых бордюрах теснятся набухшие виноградные гроздья, буфет и стол бесконечной длины опоясывают себя корневищами и листвой чувственных акантов, взрываются перезрелыми плодами граната картуши на стульях, разбрасывая вокруг мелкие трещинки и светлые глазки сучков,

лоснятся палисандровые панели стен. На потолке, выпраставшись из самих себя безумной пышностью побегов, прорастают ими же обратно вовнутрь, словно стремясь что-то достать из своих сердец, райские кущи. Пенные кружева и постельный шёлк под обильными вегетациями невольно наводят на мысли о пеньюарах и слизистых межножьях. Тусклые отсветы рождают ощущение альковной теплоты утреннего стоячего воздуха, розовые тельца не в меру разыгравшихся младенцев корчатся на розовых майоликах.

Заяц обводит глазами стены, не удивляясь ни «Ночному дозору», ни «Союзу Земли и Воды», украшающих их, ни хрестоматийной паре рафаэлевских лепидоптер, присевших над самым камином — странным было бы скорее их отсутствие. Копии, разумеется, но как хороши!

Дальняя сторона комнаты, утопая во мраке, не просматривается, но это не огорчает.

Громко хлопнула калитка, и Заяц с Алексом, отпрянув, переглянулись и заспешили к фасаду — ключи приехали!

Они не ошиблись: изобильная телом, высокая, со стогом непроницаемых чёрных волос на крупной голове, приехала мадам. Поздоровалась величественно, сказала, что она менеджер по недвижимости и её зовут Бенну.

Бенну казалась сошедшей с картин Арчимбольдо — не человеком, но аллегорией человека, составленной из неодушевлённых, несвойственных человеческой природе вещей, неловко вставленных в модные, с дырами и нитками штаны. (Вовсе уж какого-то несусветного размера, они начинались далеко внизу под голым животом.) Из кисета, терявшегося меж двух исполинских грудей, Бенну вынула ключик и отперла дубовые двери. Сходу сказала, что пользование виллой бесплатно — всё уже оплачено (кто бы сомневался!) за исключением баллонов с питьевой водой для кулера — один баллон стоит сто фунтов. И для наглядности, достав прямо со дна сумочки мятую банкноту, Бенну потрясла ею в воздухе. Господа могут прямо сейчас внести предоплату, скажем, за... пять баллонов, чтобы после ни о чём не беспокоиться. Или за десять — вам же тут долго жить, не так ли? На робкое замечание Заяца мадам возразила, что вода — это продукт, а продукты все покупают себе сами¹.

Заяц пообещал всё выяснить и, если будет нужно, они, разумеется, заплатят. Кажется, менеджера такая нерасторопность огорчила.

Парадная дверь приоткрылась, и тут же застряла в каменном полу. Сквозь образовавшуюся щель на улицу из дома хлынул горячий застоявшийся воздух, обдав гостей приглушёнными запахами рассохшегося дерева, истайивающего, словно медленный лёд мебельного лака, пыльной материи и сухого, давно оторвавшегося от живой своей основы, тления. Волна воздуха окатила всех с головы до ног, заставив Алекса приостановиться на пороге, Бенну невольно поморщиться, а Заяца... Редкие волосы на голове у Заяца дрогнули. Эта волна

¹ Как выяснилось, врала, конечно. Вообще, как скоро заметил Заяц, врал и воровали здесь все, на каждом шагу, прямо как в родном посёлке.

пробежалась тысяченогим сквозняком по его спине, очертила короткую щекочущую дугу на животе, под рёбрами, коснулась сразу всех двадцати пальцев, сделав их кончики холодными, как сосульки, огладила икры, соскользнул на тропинку, обогнула по тропинке дом, домчалась до акаций и смоковницы, растущих у забора, и, мгновенно вернувшись обратно, снова коснулась лба и скатилась солоноватыми каплями пота по дряблым щекам.

Косые срезы солнечных лучей, ослабленные до восковой бледности и прилепленные как попало к полу, на стены и на убранство комнаты ложными дорожками, предлагали направление движения: в никуда, по пути выхватывая из полумрака углы и детали, обманывающие своей значительностью. Они запутывали и морочили. В неподвижной блистающей сутолоке, в соломенном хаосе, перекрывая друг друга, свет боролся со светом за первенство, не зная ни закона, ни жалости, и, добившись своего, неожиданно сникал. Блики в экстазе мгновенных прозрений взмывали на стены, но, не поднявшись выше истёртых спинами шениллов, никли, опрокидывались навзничь и бесследно угасали среди облезлой позолоты, в перипетиях нечётких орнаментов. Пригоршни теней, бросаемых сквозь пыльные окна близкими ветвями, с насекомым проворством разбегались по углам, оживляя открывшуюся, наконец, вполне картину роскоши и запустения. Всюду — в углах, в неприметных нишах, в неожиданно явившихся эркерах, на полочках и комодах — мрели разноцветные стеклянные сосуды, в чьих сердцах разлагались некие растительные остатки — жёлто-коричневые концентрические следы на внутренней стороне сосудов, ординарами отмечая вехи бесславно убывающей жизни, теряя чёткость, спускались к самому дну, туда, где ещё пузырилась, крупно вскипая, зловонная ядовитая жижа, и голоса будущих постояльцев звучали в доме приглушённо, неотчётливо, словно их тоже уже коснулось разобщение веществ.

Деловая женщина небрежно сбросила на спинку кресла джинсовую куртку, ещё раз извинилась: *Terrible traffic! I'm sorry*. Платком, неизвестно как появившимся в её огромной руке, отёрла лицо, оглянулась и обвела то, что увидела, закрепляя образы.

— Всё это великолепие, — пояснила она, — принадлежит чете Розенкугельшнобель. Он — голландец, она... — Бенну завистливо вздохнула, — египтянка. Кстати, ключи! Второй экземпляр, а также ключи от полуподвального помещения и задней двери, ей сказали, находятся эээ... Да, вот он, буфет. В буфете. Сейчас мы посмотрим... Ящики пусты. Лишь один наполнен рыбками разнообразных форм и размеров. Медные, никелевые, чугунные, бронзовые — целая связка. Среди них, да. Это абсолютно точно! Смотрите, — она приложила свой от парадной двери к одному, выбранному среди многих, — это, несомненно, он!

Проверили — и вправду он.

— Теперь нужно определить остальные необходимые... Да, кстати, — перебила себя Бенну, взясь с ключами уже на противоположной стороне зала, осеняемая юркими тенями, — сейчас хозяева находятся в Голландии, обстоятельства вынудили мистера вернуться в исходную точку странствий и,

вероятно, уже навсегда: четвёртый год дом пребывает в запустении. За ним следят, как видите, но, скорее всего, виллу будут продавать. Не желает ли мистер купить? На сколько вы здесь, на три месяца? На четыре-пять? Можно всё решить через адвокатскую контору, у меня как раз есть знакомые, там, в Гелиополисе. Если, конечно, мистер, — менеджер почему-то выразительно глянула на Зайца, — готов действовать решительно и быстро.

Заяц оторопел, усмехнулся и помотал головой:

— Ноу, сэр. То есть миссис. Сэнкью, ноу¹.

Бенну разочарованно вздохнула и отвернулась от Зайца с такой решительностью, словно убедилась, что перед нею абсолютный импотент. Перевела взгляд на Алекса, но тот сделал отсутствующее лицо и для убедительности встал и направился на задний двор.

— В таком случае, если не нужна, я оставляю вас. Ещё очень много дел. Если мусорщики, которые по утрам приезжают убирать мусор, будут требовать с вас деньги, не давайте. Деньги давайте мне: сто фунтов, — мадам снова потрясла в воздухе наглядным пособием, — каждую неделю. На первый раз можете отдать их прямо сейчас.

Заяц, уже смекнувший, в чём дело, вежливо отказался, пояснив, что наличные они пока ещё не снимали.

— О'кей. До свиданья. Я буду появляться здесь по пятницам с утра, вот мой телефон для экстренной связи.

После того, как Бенну ушла, Алекс предложил:

— Пошли, что ли, комнаты себе выбирать? Пока мы здесь одни, — он игриво подмигнул Зайцу, — возьмём те, что с душем. Я с бухгалтерией списывался, мне сказали, что душ есть не везде. Экономят, бляха-муха. Не, не наши, — эти. Сами на себе.

— Я... — Заяц замялся, — я сейчас. Я гляну, что там, в подвале.

— Ну как хочешь.

Алекс лихо взбежал по лестнице наверх и уже оттуда, ослабленный углами и перегородками голос его возвестил:

— Ты прикинь, здесь такое зеркало! Это самое... тюрьмо!

(И тут Алекс не ошибся: заключённый в трёх изводах одиночества, всякий был там одинок, как в тюрьме.) Заяц, ответив на радостный вопль что-то невнятное, вроде «ага», или «угу», протиснулся сквозь щель на улицу и зашёл за угол дома. «Ключи!» — вспомнил он, уже стоя в устье спуска, вернулся и снова протиснулся в дом. «Чёрт, надо будет что-то сделать с этой дверью. Приподнять, её, что ли...»

¹ Но с тех пор, словно играя в детскую игру, осторожно, украдкой от самого себя, он время от времени представлял себя хозяином всего этого великолепия. Спускаясь по крошащимся мраморным ступеням в подвал, поднимаясь на балконы; бродя дорожками меж колючих стволов сейб и глядя на виллу со стороны, сквозь розовую дымку цветущих акаций, он, словно в обмен на часть своей настоящей, но довольно однообразной здешней жизни, получал призрачное, безвесное, как колышущиеся у него под ногами световые пятна, но чудесное существование, концентрировавшееся уже не здесь, но внутри, где-то на уровне груди и глаз.

Взяв связку, он бодро зашагал обратно. Ключи на большом проволочном кольце покачивались и весело позвякивали.

Лестница была неширокой — сразу видно, что ведёт в непарадные помещения. Заяц спустился. Внизу обыкновенная пластиковая дверь, вставленная в пластиковую же, от пола до потолка перегородку с окнами, образовывала как бы веранду, не выходящую никуда. Прежде чем открыть дверь, Заяц машинально глянул сквозь стекло, надеясь рассмотреть, что там внутри, но стекло отсвечивало, и взгляд проник неглубоко, как в толщу мутного водоёма, — на метр, может быть, на два.

Нужный ключ подобрался быстро. Вверху дверной проём был затянут паутиной и, чтобы пройти в него, Заяц пришлось пригнуться¹.

Внутри он огляделся. Помещение уходило в землю метра на два, весьма просторное. Скорее, это был даже холл, на дальней стороне которого виднелись двери, а справа кухня. Выдержанный уже целиком в современном стиле — керамика, пластик и хром, — он был одновременно и залом. Столики в углу и посередине, пара кресел. Воздух, кажется, общий для всего дома, просачиваясь сквозь бетон и доски пола, проходя — если брать шире — сквозь условный уровень поверхности земли, как будто отфильтровывался и терял неяркую, но отчётливо ощущаемую нотку тления, полностью сохраняя градус банного жара. Увидев двери, Заяц возликовал: несомненно, это были двери, ведущие в комнаты, и одну из них займёт он, а в другой, даже если кто-нибудь и поселится, то только один, господи, только один, а не целая шобла!

Заяц подошёл к двери, открыл её, заглянул — так и есть, комната. Кровать, тумбочка... Напоминает гостиницу. Заяц нахмурился: ни душа, ни туалета нет, только кровать и тумбочка. Чёрт! Если и вторая такая же, делать тут нечего: умываться на кухне дело хоть и не бог весть какое приятное, но возможное, а вот бегать по нужде через улицу в аристократические покои — это уже анекдот. Хоть бы один несчастный унитаз...

И вторая комната превзошла все его ожидания! В ней были и туалет, и душ со стиральной машиной, и вообще ванная комната была таких размеров, что в ней вполне можно было ставить раскладушку и жить. «Простор, это... простор», — блаженно подумал Заяц, не привыкший к таким излишествам. «Вода... — Заяц покрутил вентили, кран напрягся и ударил коричневой струёй о кафельную плитку — есть!» Поглядев, как струя на глазах светлеет, превращаясь во вполне благопристойный источник комфорта и неги, Заяц закрутил кран.

Встревоженный движением воздуха, взвился и запищал где-то комар.

Заяц вернулся в комнату и с недоумением посмотрел на гигантскую квадратную кровать, приподнятую над полом, словно ложе в старинном анатомическом театре, на добрый метр. Под тканым покрывалом угадывались

¹ Это движение к концу первой недели он выучил до автоматизма: снятая полностью паутина за ночь появлялась снова на прежнем месте и в прежних размерах — видимо, паук, обитающий где-то здесь, ни места своего обитания, ни места охоты менять не желал. Словно был он непременным атрибутом этого места, словно само место восстанавливало себя в том виде, в котором застал его Заяц изначально.

две гигантские подушки, две маленькие думки лежали в изголовье поверх покрывала. Два узких окна под самым потолком казались забранными чем-то зелёным и подвижным. «Дерево, — догадался он. — То самое, что в углу», — и прислушался к топанию над головой. «А это Алекс, — сообразил он. — Всё исследует, выбирает». Повернувшись, чтобы выйти за чемоданом, оставшимся у крыльца, он обмер: с портрета на стене на него смотрела Улита.

Чуть возвышаясь над зрительным центром притяжения, она... нет, не понять — всем телом подаётся в сторону собственного взгляда? Обращена к окликающему её? Или же сама зовёт, и сама вовлекает в глубину собственного пространства? И... что происходит, когда никто не смотрит на неё, когда её никто не видит? Хм... Дурацкий вопрос, но ведь ясно же, что без зрителя её взгляд — лишь визуализация числового луча, направленного в бесконечность, тут очень важен ещё и зритель — только парой они образуют замкнутую систему, только в паре эта картина приобретает законченность. Сколько же времени она была одна тут...

И вот, истекающий потом, взъерошенный, покрасневшийся, с нечистыми руками, прочертившими на жирных щеках уже пару полос, он здесь, зритель её. Всех черт, что вождедел когда-то видеть, чаял познать свидетель. Всех — и даже больше — таинств её и тайн.

Он и она были поставлены сейчас друг против друга, как порой бывают поставлены друг против друга два зеркала в доме, когда вдруг ломается привычный порядок вещей, и собран скарб, и пора последний раз оглядеть, оглядеться, прощаясь, в таких привычных и уже до неузнаваемости изменившихся, опустевших комнатах перед тем, как покинуть их навсегда. Или же, наоборот, когда только присматриваешься к необжитому ещё пространству, к той бесконечности, что открывается между ними. К бесконечности, в которой помещается всякая человеческая жизнь. Глаза в глаза.

Может быть, в результате аберрации восприятия жемчужная серёжка Улиты — нет, не Улиты, конечно, а девушки, так поразительно на неё похожей, — казалась центром всего её напряжённого существа, и весь безграничный космос полотна, вся бездна его, как будто вращались вокруг этого светло-серого пятна, как движется видимая часть небосвода вокруг Полярной Звезды, и сияющий след её образовывал малый круг, столь ценимый в старину путешественниками, тогда как живой взгляд преизбыточно наполненных слёзной жидкостью светло-серых глаз поднимался над всё ещё косной материей воплощением невысказанного слова.

И этот забавный тюрбан на голове: пронзительно синий, цвета афганского лазурита...

Он постоял ещё, всматриваясь в знакомые черты, и вышел. Комариное пение, то натягивая, то ослабляя нитяные нервы пространства, продолжалось за спиной, не угасая, а шаги над головою утихли, и слышно стало, как трепещет там, на улице, бесщётная листва деревьев.

Ужинали в тот вечер тем, что каждый взял с собой из дома¹, — в магазин решили ехать завтра. Завтра же на работе должны были дать им машину, местные симки, а ещё каждому — «модем-свисток»: интернет на вилле предполагался только такой.

Алекс, обладающий изрядным количеством командировочного опыта, достал бутылку армянского, но Заяц от посиделок отказался.

Разбирая чемодан, занятый мыслями о предстоящей еде (где-то на глаза попадался чайник, — вспомнить бы где; за ложкой придётся идти наверх, и тряпку надо бы какую-нибудь сообразить...) и, заодно, сортируя стопками бельё, он наткнулся на свой блокнот и долго вертел его в руках, соображая, как он сюда попал: ведь решено же, что всё, что больше ни строчки, ни слова? Словно подгоняя решение под готовый ответ из задачника, Заяц с трудом свёл концы с концами: оказалось, что это ещё там, дома, когда Варвара вернулась со своих плясок, он спешно сунул его сюда. Спрятал, как улику преступления отвергнутого и отвержением тем уничтоженного. Спрятал, а потом забыл, и вещи, когда собирался сюда, стопками, не глядя, уложил поверх. Похоронил. Переглянувшись зачем-то с портретом на стене, Заяц, стараясь не зацепиться взглядом ни за единую строчку, сунул блокнот обратно в опустевшее нутро чемодана. Вспомнил, что так и не отправил сообщение домой, взял с кровати телефон и написал: «Долетел хорошо, уже на месте. Вечером созвонимся». Ответ пришёл незамедлительно, и был он лаконичен: «Хорошо».

Самое трудное — это первые дни приезда. Невозможно не поражаться людям, которые на новом месте ведут себя так, словно они никуда и не выезжали из дома. Так, словно дом их всюду. (Или, может быть, словно они всю жизнь находятся вне его?) Эта странная слепота и глухота, эта инертность, эта обескураживающая нечувствительность... Свойства, странным образом близкие нечистой способности мгновенно заводить на новых местах новые знакомства.

В пионерском лагере Заяц ужасался жизнерадостным мальчикам и девочкам, гоготавшим и носившимся в первый же, во второй уже, в третий — он мог бы перечислить их все, сколько ни есть, они все были кошмарны — дни приезда как ни в чём не бывало, и всё же, в первую ночь на голландской вилле он спал крепко, без сновидений. Так спят уставшие до предела, наплакавшиеся до икоты дети и вымотавшиеся до оцепенения в тяжёлой работе взрослые. Так спит камень, так спит беззвёздная, обратившаяся в себя ночь. (Созвониться с Варварой не удалось — её телефон не отвечал, словно коротким ответом в смс исчерпал весь лимит общения.)

¹ По давнему уже опыту не надеясь ни на какие обещанные магазины «вот прямо там, рядом», ни на какую-либо бесплатную кормёжку «прямо на работе» или «сразу же в отеле». Заяц просто клал в чемодан запас хлеба, колбасы, пару «Дошираков» и чай — то, на чём можно спокойно продержаться сутки, и утешал себя, что хотя бы в первый день чистоту разлуки и отчаянья можно не разбавлять низменной суетой. В жизнь в отдалении он всё ещё погружался постепенно, избегая резких движений и для, сколь можно долго, ощущение безопасного дна под ногами.

Тяжёлый труд расставания, начавшийся задолго до отъезда и в самолёте достигший апогея, не имея возможности ослабнуть, перешёл тонкую грань осознания и стал, словно способность видеть и слышать отдалённое и иное, ещё одним, неизвестно пока для чего предназначенным, свойством души.

Алекс с поразительной быстротой нашёл поблизости какой-то ночной клуб и повадился ездить туда ежевечерне, возвращаясь далеко за полночь.

3. Альбедо и нигредо

Перегонный куб

Подобно септарии, внутреннее строение дома образовывалось тесно слепленными полостями, выдавленными в податливой материи воздуха. Разделённые стенами уединённые безымянные пустоты и огромные, в несколько комнат, покои соединялись друг с другом то единожды, через коридоры, то многожды, посредством ваннных комнат¹, крохотных переходов и переходцев и совсем уже безымянных каморок, и в то же время сохраняя традиции европейской дворцовой архитектуры, всем своим устройством и видом, всеми своими коленами и спусками, подъёмами и витыми лестницами, гулками полостями и глухими тупичками напоминал дом перегонный куб, какие в средние века алхимики использовали для разделения подвижной сырой и жирной, либо инертной, сухой и скудной материи на более тонкие составляющие её фракции. (Либо кои в наши времена, уже не-алхимики, используют для куда более прозаических, но не менее восхитительных целей.)

Особое сходство с преобразовательным снарядом дому придавал тот самый жар, что ощутили на себе поселенцы, ещё даже не переступив его порога.

Заяц любит побродить по дому — столько старинных вещей, столько соответствий декадентскому его настроению находится тут! Шаг — и покой, копившийся в углах, осыпается коротким эхом. Шаг — и всхрапывает одичавшее без людей пространство. Ссохшиеся от жара внутренности покрыты, словно бродильной пеной, коростой заскорузлых обоев. Неопрятные комки серого паучьего шёлка и струпья бурого жмыха, бывшие некогда живой плотью, тлеют на дне венецианских колб.

Шаг...

¹ Он открыл эту особенность жилой морфологии случайно, однажды утром расхаживая по коридорам и войдя в одну из комнат: на противоположной её стороне виднелась ещё одна дверь, из-за которой, показалось ему, доносился плеск воды. Заинтригованный, Заяц неслышными шагами, прокрался к двери, приоткрыл её лёгкой рукой и увидел ванную комнату, но комнату пустую. Заинтригованный ещё больше, он открыл другую дверь, притаившуюся за вешалкой, и увидел стоявшего к нему спиной, в собственной комнате, Алекса. Алекс, посреди зала, в медном, предназначавшемся для варки варенья тазу поливал себя из леечки. Заяц осторожно попятился, притворил за собой дверь и кратчайшим путём вернулся обратно к выходу, а оттуда узким тоннелем лестницы вышел во двор, наполненный светом и пением невидимых птиц.

Осторожно ступая, Заяц обходит этажи. Как, однако, душно здесь! Он поднимается на самый верх, выбирается на широкую плоскую крышу, предназначенную для устланных коврами вечерних неторопливых чаепитий среди широких блюд с виноградом и финиками, под звёздным небом, и, задохнувшись светом и слегка прохладным, влажным ветром, возвращается обратно.

Нигредо...

И снова погружается в банный жар комнат, и снова, уже с противоположной стороны дома, разглядывает с галереи центральную аллею и дома соседей. Зябко поводит плечами — на улице ощутимо холодает.

Альбедо...

Хлопки дверей, скрип паркетин, прерывистая, трудная возня металлических колец на гардине, когда Заяц раздвигает тяжёлые, сросшиеся друг с другом портьеры. Дребезг стёкол в рассыхающихся рамах. Воздух словно настоян на корице и цедре, вперемешку с ароматами сандала, запахом гниющих тряпок, тлеющей от времени бумаги и разлагающихся растений.

Сколько Заяц ни старается проветривать комнаты, результаты его усилий остаются ничтожными, словно дом не в силах расстаться с собственным дыханием, производимым внутренними складками облезлых стен, выцветающими обоями, ржавыми трубами водопровода, задохнувшимися холодильниками и мебелью, чья пыльная поверхность в любое время суток выглядит как карта звёздного неба. Откиннутые фрамуги, презрев законы гравитации, поднимаются обратно, форточки — стоит лишь на миг отвернуться, — самовольно захлопываются. Со стуком затворяются распахнутые двери. И всё же Заяц с удивлением ощущает, как, словно бы уравнившиеся, впервые за долгое время, пустота окружающей среды и пустота внутри его существа позволяют ему дышать всей грудью, свободно и безболно.

Посвятив час или полтора своим штудиям, Заяц выходит на улицу — здесь, в отличие от Эмиратов, днём можно гулять. Протиснувшись в приоткрывающуюся меньше чем на четверть роскошную парадную дверь (её так никто и не приподнял над плитами пола), богато украшенную изнутри всё теми же вырезными символами изобилия — кручёными рогами, источающими всевозможные плоды земных садов и перемежающимися то миртовыми венками, похожими на спасательные круги, то лилиями, острыми, как трезубцы, он спускается с каменных ступеней крыльца и едва не падает, споткнувшись о ведро, стоящее в конце лестницы. Странно, вчера его здесь не было. И лопаты этой... Кто-то действительно следит за садом, кто-то невидимый. Интересно, кто? Мог бы, кстати, быть и поаккуратней. Ну да ладно, ерунда. Через внутренний двор, неприметной калиткой, Заяц выходит за территорию виллы. Тропинкой, то прямой, то вьющейся, долго бродит он по выстриженным почти догола волнистым лужайкам.

Ещё, спустя некоторое время, его внимание привлёк пересохший бассейн в дальнем углу двора, почти невидимый за смоковницей, — они с Алексом даже подумали было очистить и наполнить его, но погода отчего-то стала портиться...

Он стал приходить к бассейну.

Спалось на новом месте тоже не так чтобы очень — во-первых, мешала жара, во-вторых, сами сны были какими-то странными, тревожными, и днём то, что виделось ночью, подолгу не отпускало, словно случилось и в самом деле накануне.

Однажды, расpiraемый желанием поделиться впечатлениями о том, что его окружает, Заяц взялся рассказывать Женечке, как у Бабаков в будке, в резных золочёных рамах, висят рецепты приготовления холодца, солянки, растягая. Как под стеклянными колпаками, словно в Кунсткамере, расставлены на полках дуршлага и шумовки, иглы для зашивания индеек и чумички с инкрустированными янтарём рукоятями, а в ореховых кабинетах хранятся бутылки со старинными барбосскими винами. Стены украшают работы старых голландских мастеров: куропатки, опушённые пером словно снегом; розовые, напоённые глубоким светом пласты свинины и развратно изгибающиеся на блюдах синими лемнискатами сельди; портреты сыров, вырезанных словно из середины самого летнего солнца, лучащиеся таинственным сиянием жизни и точащие хрустальную слезу; нежные, как мизинчик младенца, ступившего невидимой ножкой на стол, виноградины, что отражаются в бокалах с вином отчётливее, чем на сетчатке утомлённого изобилием глаза... Но отчего-то умолк, неловко имитируя отвлечённость посторонним.

Звонков от жены так и не было, его собственные звонки улетали в пустоту, и общение, редкое и лишь по необходимости, свелось к немногословной переписке. Первое время, не веря своим ушам, он то и дело поглядывал на экран — вдруг не услышал и теперь там отображается пропущенный вызов? Но слух не обманывал, и на экране ничего тревожного не отображалось. Твёрдо решивший довести задуманное до конца, Заяц велел себе не поддаваться унынию, самовнушая, что это ничего, это нормально, просто не может же наладиться всё сразу, и вообще, она сможет убедиться в положительных переменах, происходящих в нём, лишь когда он вернётся. Вот и нечего тут... раньше времени...

Доводы выглядели убедительно, Заяц соглашался сам с собою, и всё же подспудная мысль о тщетности задуманного пришла на ум его довольно скоро. Впрочем, прежде мысли появилось чувство усталости и даже растерянности, чему немало способствовала обычная неразбериха на работе: прибывшая две недели спустя остальная группа, вопреки первоначальным планам, была поселена не на вилле, а в отеле Pyramids Planet, из-за чего им с Алексом приходилось совершать изрядный круг каждое утро, чтобы забрать часть сотрудников в офис и вечером — завезти их обратно. Алекс матерился, сотрудники радовались: экономия на обедах и ужинах получалась изрядная. Сам же рабочий процесс напоминал хаотичные метания мыши, застигнутой на кухне: ни системы,

ни планов на будущее никто не знал и не провидел, в лучшем случае за день до выезда приходила смс от начальства с указанием координат места, в которое нужно было выехать, и времени, с точностью, почему-то, до минуты, в которое нужно там оказаться. Вспомогательная группа — индусы с воздушным шаром — дожидалась уже на месте. Причем как выяснил Заяц, всегда дожидалась по нескольку дней, изнывая от безделья и тоже теряясь в догадках: кому и зачем это нужно? Как обычно, с делами укладывались в один-два дня, собранные данные увозили в офис, где в течение недели обрабатывали и делали отчёт. Причем в заранее подготовленной форме отчёта, отправляемого исключительно по электронной почте и никогда не докладываемого лично, не было места ни для экспертного заключения, ни для предположений и рекомендаций специалистов — только цифры и символы, так что даже случайно не то что слова, но и буквы вставить в подготовленные поля было невозможно — курсор попросту не отображал их, невозмутимо мигая и требуя только нужных знаков в нужном месте. К тому же погода портилась всё основательней, всё чаще небо застилали низкие дождевые облака, и всё чаще из поездок все возвращались промокшими, грязными и раздражёнными.

Мысль о тщетности, уже всеобщей, всё больше лишала сил, стесняла движения.

«Свисток» работает тоже так себе — Заяцу приходится подолгу ждать, когда подключится «Скайп», связь часто обрывается, и нужно снова и снова перезванивать. Заяц сперва думал, всё дело в том, что жилище его находится ниже уровня земли, но, судя по нытью Алекса, у него, наверху, с интернетом были те же проблемы.

Дождавшись, наконец, соединения, Заяц принимается рассказывать Женечке о том, что видел он за день сам, и о том, что читал (когда-то, недавно, давно, полностью, не до конца, частями), о чём думал и куда хотел бы попасть — слова и темы идут внавалку, внахлёт, не соблюдая ни очерёдности, ни степени воплощённости и достоверности (Гарун Аль Рашид из «Тысячи и одной ночи» — это подлинный человек, представляешь! И есть даже его золотые монеты! А пирамиды, прежде чем они были открыты европейцами, местные феллахи грабили на протяжении тысяч лет, растаскивая облицовочные плиты известняка, отчего пирамида Хеопса, например, стала похожа на эскимо с глазурью на самой макушке!), жалуется на мушиное одоление (настоящая казнь египетская! И вдали от города можно есть только под вентилятором — в рот лезут толпами!), и снова возвращается к временам фараонов (Ладья Солнца, представляешь, её выкопали, а на месте раскопок оставили, для наглядности, яму. Она такая глубокая, просто огромная! Если бы здесь шли дожди так же, как у нас, то она бы давно превратилась в озеро! Представляешь каламбур: ладью, предназначенную для загробного плаванья, закопали в сухом песке, а когда её оттуда выкопали, яма — след ладьи — в самом деле заполнилась водой, но водою уже пустой как бесплодная женщина!). Но, рассказывая, он всё чаще с удивлением замечает, что всё, чего касаются его слова, мертво: песок, известняк, камни, деревья...

Всё, рождаемое им, слабосильно и скудно, будто слова, которым он запретил разрастаться и множиться на бумаге, умирают в нём и, разлагаясь, отравляют изнутри его самого.

И всё чаще, сказав несколько фраз, Заяц в растерянности умолкает: ему кажется, что такие слова отнимают жизнь. Разговоры стали короткими и состоят уже в основном из событий, случившихся за день с Женечкой.

Что-то странное происходит здесь. Может, он уже отвык от речи? На работе особо не разговоришься... Собственный голос — он слышит это — шелестит, словно сухой лист, кожа, несмотря на обилие оливкового масла, на глазах превращается в пергамент и темнеет. Отчего это? Отчуждение и пустота окружают его — может, всё дело в отчуждении и пустоте? Женечку тоже плохо слышно — может, дело ещё и в расстоянии? Или в географическом положении — близость к экватору, кривизна земли, естественные преграды, озоновый слой... Как тут сигнал передаётся, по кабелю, по эфиру? И, словно компенсируя собственную афонию, он становится особенно внимателен к словам, произносимым сыном.

Женечка рассказывает, что у них целые две недели стояли холода, а теперь потеплело и снега навалило: «Прямо целые сугробы везде, представляешь!» Что гулял с подружкой, что катались на санках. Слова сына звучат глухо, словно доносятся из-под этих самых сугробов.

Он вслушивается, вслушивается... И вот уже интонация сказанного значит больше, чем смысл, умолчания становятся больше слов — но и они день ото дня выглядят всё более незнакомыми, всё более чужими, словно их тоже искажают расстояние и помехи реликтового излучения.

Осознавая, что он уже почти полностью перестаёт понимать говоримое, Заяц стискивает зубы и выкручивает громкость на максимум, пока однажды, устав от напряжения, в приступе отчаянья не вскакивает, не бежит к Алексу и, промямлив что-то невразумительное, буквально не отбирает у него наушники в надежде, что эти маленькие ракушки смогут донести смысл говоримого прямо в мозг — хотя бы потому, что, всунутые в слуховые проходы, они на пару сантиметров окажутся к нему ближе. (Алекс, ошарашенный его явлением, не сказал ничего ни тогда, ни после.)

Господи, отчего здесь всё звучит так неотчётливо?!

И этот дурацкий, непонятного происхождения жар, хотя на улице уже вовсю льют дожди...

А ещё ночь с её снами...

И снова, как *там*, только уже гораздо интенсивнее, начались его сетования, обращённые к Нему, и к ней. Слова упрёков и жалоб возникают в уме как бы сами собой, непрерывно, словно пар, образующийся в результате нагрева, и так же, как пар, их необходимо периодически выпускать, чтобы поднимающееся давление не произвело никаких разрушительных действий внутри — губы его, всё время плотно сжатые, то и дело будто приоткрываются и подрагивают, подёргиваются и кривятся.

««Не кисни!», «да не переживай ты так!» — говорила ты мне. Говорила, а я слушал, и никак не мог понять: как вы можете так говорить? И ты, и все... подобные тебе! Так, словно предлагаете снять с себя один неудобный наряд и переодеться в другой, более удобный! Ты точь-в-точь как Алекс, который на мои сетования о противоестественности и невозможности жизни врозь объясняет преимущества одинокой жизни чем-то донельзя избитым и приторным, примитивным, какой-то сладостью «свободной жизни», что ли, — да, именно, свободной жизни, не ленись упоминать опостылевшие эти халву и пряники, а я даже не могу себе представить «свободную жизнь», эту возможность с лёгкостью возвращаться в прежнее, до-любовное состояние! К до-любовному, да, словно у вас есть лишь два состояния: любовное и до-любовное, в которые вы в течение всей жизни переходите, туда и обратно, с лёгкостью, словно ничто не мешает вам, не жмёт, не теснит, словно и перемены-то, по сути, никакой не происходит! Словно весь накапливаемый вами в течение жизни опыт, подобно громоздкой, но, в сущности, несложной дробе, путём самой незначительной толики слёз и душевных спазмов, с лёгкостью упрощается до примитивного 1/2! А для меня это эволюция! Эволюция, у которой просто не существует обратного хода!»

«— Я люблю тебя до неба!

— А я — до звёзд!

— А я...

— А я...

Мы громоздили свою любовь, словно измерительный инструмент, всё выше и выше, чтобы подняться и сравнить: так же ли всё в мире велико, как наша страсть друг к другу, мы надмевались и строили Башню, но было ли это любовью?»

«Понимала ли ты, к чему подталкиваешь меня и весь наш дом? Когда я понял это сам — с запозданием, натешив собственное тщеславие, — то покрылся потом. И не от того ли понял, что однажды уже склонялся над белым атласным краем? И есть ли твоя вина в том, что тебе склоняться было ещё не над чем?»

«И если виноват я перед тобой, то не тем ли более должна ты меня простить, что я слаб своим грехом, а ты — сильна своей правдой?»

«Ток времени и одиночество терзают меня, миг за мигом, день за днём отрывают частичку за частичкой от тела моего, крошку за крошкой, размывают меня, словно я песчаная отмель. С каждым днём всё больше, всё безнадежнее теряется смысл моего пребывания здесь, вдали от дома. Даже там, где странствует душа моя, давно уже миновали края, в которых ждёт что-то новое: одни и те же виды встают изо дня в день, ничего не добавляя к уже открывшемуся, ничего не изменяя, ничего не суля...»

Дни проходят в упорных поисках подземных вод, но воды ускользают, прогнозы не сбываются и обманывают приметы. Истребитель дней, старый, некрасивый толстый человек с глазами, обращёнными вовнутрь, выключает телефон и взбирается на свою нелепую кровать, чтобы чёрные воды ночи несли его куда бог пошлёт, и чтобы скрипела над головой мачта, и светились вдали огоньками берега. Светились, но не приближались.

Сокрушение человека

По пятницам и субботам, если дождя нет, Заяц отправляется на такси в город: побродить, развлекаться да и просто увидеть что-нибудь интересное. В городе, которому исполнилось полторы тысячи лет, всегда есть такая возможность.

Он идёт наобум, не выбирая заранее пути, разглядывая здания времён французской и английской колонии, двигаясь от окраины к центру, и тем самым невольно всё более углубляясь и во времени: к постройкам эпохи турецкого владычества, от них — к наследию арабской цивилизации, оттуда — к иудейской, к древнеримской и, наконец, к греческой.

Времена обнажаются, словно слои осадочных пород, отпечатавшиеся на камне. Сам он испытывает то внезапные приливы крови и жар,жигающий плечи, то — онемение до колотья, и снова волна тепла разливается по телу. Вероятно, солнце сегодня... того. По сравнению с предыдущей хмарью, особенно. Он без труда находит тень и останавливается, отирая ушные раковины и нос — самые необходимые элементы лица для комфортного ношения очков — полосатым платком величиной с парус. Силы и воли устроителей парков на европейский манер хватает только на то, чтобы придать им завершённые формы в центре, но буквально несколько шагов в любую из сторон приводят к утопающим в запустении глухим непролазным тупикам. Здесь можно спокойно передохнуть. Трава лезет из каждой щели, камень крошится и превращается в песок — на глазах настоящее превращается в прошлое, прошлое — в никогда не существовавшее. Один-два пролёта акведуков, доступные обозрению и осязанию любопытных рук в обе стороны, поглощаются зелёной колеблющейся мглой, подобно созданным сновидением деталям интерьера, чьё продолженное существование совершенно неважно для являемого действия. Да и что ему эти акведуки и львы, притаившиеся на стенах, если он снова говорит с ней:

«Я уже почти весь перешёл в этот воздух. Эта земля поглотила меня, просунулась в меня сухими своими языками песка, что переметают дороги, как позёмка; оглушила меня протяжными и тревожащими душу мотивами молитв, заполонила сны. Я сам уже почти что стал пустыней!»

Передохнув, он продолжает свой путь по улицам и переулкам, всё менее похожим на обыкновенные улицы и переулки, и всё более — на уводящие в глубины воспоминаний коридоры, на тоннели и лазы, в сплетении которых он

скоро начинает теряться так безнадежно, как будто тот же самый лабиринт, в котором блуждал он временами там, в местах прежнего своего пребывания на Аравийском полуострове, обступает его и теперь, и эта неизбывность, эта простота, с какою лабиринт открывается в любой точке пространства, подобно бездне небес, открывающейся во всякой луже, однажды наводит его на мысль, что лабиринт этот является продолжением воздвигаемого им всюду храма, его антиподом, обратной стороной, корневой системой.

Отстранённый от жизни душевно и телесно, призрак перемещается в безлюдном лабиринте забвения как бы над поверхностью брусчаток и мозаик, парит, едва касаясь земли, и текучая тень его не перекрещивается с тенями, лежащими здесь основательно и давно, и тело его не застит скупого солнца. Но отстранённость эта обманчива — в ином времени, давно наступившем и оставшемся навсегда с ним, он с каждым шагом, с каждым днём всё более и более сливается с этим городом, всё сильнее подвергается воздействию его атмосфер.

И он снова слышит её голос. Голос не спрашивает, не отвечает, не сообщает, но упрямо твердит своё:

«Две хорошенькие свинки...»

«Чаёчек или кофеёчек?»

Голос возник внезапно, через неделю или две после его прилёта сюда, и с тех пор он всё звучит и звучит в его голове. Голос становится всё громче, произносимые слова — всё отчётливей. Отвечать ему бесполезно, спрашивать — глупо, разговаривать — бессмысленно. Он словно радио, говорит сам по себе, и выключить нельзя. Хорошо хоть, что длится это не постоянно: скажет слово, произнесёт фразу и умолкнет. А может быть, это некий ответ на все его упрёки и сетования? Ничего не понять. Заяц жмурится, обращает лицо к солнцу и мысленно кричит: «Варечка! Варя, ссс...» И это его «sss» что-то напоминает: не то свист закипающего на плите чайника, не то давний, и не его, зов человека, потерявшего что-то в далёких и безотзывных небесах.

«Каир» — значит, «сокрушающий человеков», — вспомнилась, и не выходит из головы его строка из энциклопедии.

Ещё, в первые же дни заметив возвышающуюся над городом огромную крепость, он велит однажды таксисту ехать к ней и, выйдя на расстоянии достаточном, чтобы во время его преодоления полностью проникнуться ощущением необычности места, долго идёт по пологому подъёму к воротам, издалека присматриваясь к макетам орудий, предназначенных для уничтожения и преодоления крепостных стен, к скоплению машин слева, к стихийному базару там же и, прямо по курсу, к окошкам касс с нелепыми, на фоне древних камней, никелированными турникетами и рамками.

Цитадель Саладина, огромная, как город, одной своей стороной смиренно начинается прямо от земли, а другой возвышается над Старым Каиром неприступной скалой, землю отрицая. («Наверное, этажей двадцать», — думал

Заяц, глядя вниз с самого её края, там, где стояла одинокая пушка колониальных времён на рассохшихся, огромных, как у арбы, деревянных колёсах.)

Больше всего его привлекает левая часть крепости, «женская». Та, что принадлежала царице. Если двигаться от входа не по главной дороге, направо, куда идут все, а пойти прямо, пробраться сквозь обрушившийся проём в стене — когда никто не видит, — перелезть через кучи мусора и песка, осыпавшуюся кладку, заросли бурьяна и сгнившие балки, то попадаешь в заброшенное, полутёмное помещение, похожее на измятую, истерзанную коробку от конфет. Точёные рамы окон, частые, как решётка, почернели от времени и местами рассыпались; покосившиеся двери кое-где приотворены, и можно протиснуться внутрь, в заросшие колючим кустарником залы — там можно постоять, оглядеться. Когда глаза привыкнут к сумраку, едва разгоняемому лучами солнца сквозь прорехи в потолке, становится виден ряд дверей на противоположной стене: низеньких, деревянных, закрытых наглухо и до половины ушедших в землю, — они ведут куда-то ещё дальше, ещё ниже, в лабиринты коридоров и переходов. Недоступная, с обрушившимися постройками и запертыми на замок и тоже вросшими в землю воротами, эта часть видится особенно манящей, но не оттого, что руки исследователей ещё не коснулись её, а оттого, что, кажется, натолкнувшись на что-то «такое», те бросили свою работу и в страхе бежали. «Может, раскопали ту самую женскую суть?» — иронизирует про себя Заяц.

Поднявшись по узкой каменной лестнице из «конфетной комнаты» на высоту полутора-двух этажей, оказываешься на широкой, как футбольное поле, площадке с остовом куполообразной беседки — точь-в-точь как юбка Сары Энн. (Поодаль высится ещё одна такая же.) Мысль о юбке приходит в голову неизбежно, поскольку, сделав два десятка шагов по площадке вперёд, оказываешься как раз у того самого обрыва на краю скалы.

Говорят, до настоящего времени Цитадель исследована лишь на четверть. Три четверти всё ещё скрыто под землёй, и при мысли об этом захватывает дух: там, внизу, под ногами, простирается целый подземный город. Что в нём? Комнаты, клетки, переходы? Камеры, хранилища, набитые сокровищами и старинным оружием? В непроглядной тьме истлевают ковры и фолианты, ржавеют драгоценные сосуды, рассыхается редкостной резьбы мебель... Поддаваясь волнующему чувству тайны, ходишь по выщербленным плитам осторожно, словно обходя просвечивающие сквозь камень пустоты. Словно твердь под ногами от неосторожного движения может разверзнуться, и полетишь туда, в бездны, и на краткий миг тайное станет явным.

Правая же сторона крепости, «мужская», полностью открыта и доступна всем желающим: минарет и округлый купол мечети, музей шестидневной войны, с пушками и самолётами, едадьни, тюремные камеры с муляжами заключённых, забранных в колодки, и туалеты.

Если направиться от Цитадели в сторону, противоположную центру города, то скоро попадаешь на огромный горшечный рынок: сотни метров песчаной земли справа и слева от дороги уставлены красными и жёлтыми глиняными

сосудами всевозможных калибров и форм: не то ритуальная пустошь, не то общежитие джиннов. Почти сразу за горшечным рынком тускло блещет большое круглое озеро.

Однажды, проезжая мимо него, он увидел на краю озера ватагу мальчишек. Им было, примерно, от семи до десяти лет, и их ничуть не смущало, что одеты они не более, чем кони, ими купаемые. Берега озера поросли мелкой и уже почти вытоптанной травой, но не эти берега даже, а карагач, приземистый и весь исходящий на тонкие гибкие прутья, напомнил ему другой берег и другое лето.

Возвращаясь домой, Заяц смывает с себя в ванной песок и влажную испарину, оставленную на теле туманным воздухом, затем пьёт чай и ложится спать. Раздеваясь, он вспоминает, как в последнее время стеснялся раздеваться перед женой и, стараясь избежать чувства неловкости, ложился последним, когда был уже погашен свет.

Сухой бассейн

Порою же, и всё реже, проснувшись рано утром и слушая, как шумит за окном молодой листвою смоковница, по беспокойным световым бликам, наполняющим комнату¹, Заяц угадывает на дворе ясный солнечный день и синее небо и смотрит туда, где в рамке размером с альбомный лист отражается зелёное и голубое: то, что выступает на передний план и становится заметным, когда уходят главные действующие лица. То, на что почти не обращал внимания прежде: опустевший берег и почти уже не колеблемая гладь реки; рыбаки, вглядывающиеся в собственные отражения, осмелевшие чайки да редкие купальщики из местных, в основном не старше шестнадцати, без всплесков входящие в воду. Рисунок на мраморах плит, их линии и прожилки напоминают тени деревьев. (Если, прищурившись, долго смотреть на них, то кажется, что они медленно движутся.)

Заяц садится на кровать и так, в виду портрета, долго сидит не двигаясь, почти не дыша и даже почти не живя, словно какие-либо перемещения вовне установившейся оптической системы сейчас излишни и сулят лишь повторение пройденного.

«Ещё прежде, чем поймёшь, что вместо мрака ночи глаза твои видят уже розовый свет, поднимающийся изнутри собственного тела, слух твой наполняется оглушительным щебетом птиц. Древний край, в котором промыслением Творца осуществилась давняя мечта алхимиков: хризопея. Земля, обращённая солнцем и тишиною в золото. Пылинки медленно кружатся в невидимых потоках

¹ Свет, заблудившийся в себе. Горсти, охапки света, перебрасываемые рукотворными и природными зеркалами из плоскости в плоскость, купола и сосуды, мгновенно наполняющиеся эссенцией света и взрывающиеся миллиардами искр, всполохов, молний. Лучи, попавшие в западню, стремят свой бег от окна к окну, от стекла к камню, испытывая на своём пути любой материал, что попадается ему: поиграем?

воздуха, вспыхивают в лучах солнца и уходят в тень. Исчезают и материализуются вновь, словно сама ткань пространства на глазах перетекает из небытия в бытие и обратно: едва проявившись в зримом мире, всё возвращается туда, где нет ничего, кроме изначального замысла. Часть, в любой своей точке равная целому. На раздвигаемых запустением стенах проступают прямоугольники, круги и овалы — негативами всех этих репродукций, этих пейзажей, портретов, всех этих гобеленов, и блёклых гербариев, и рядов, и парадов, и видов в тяжёлых рамах с резными, как у настоящих листьев, краями, в плену которых закаменевшие лица и стриженные головы, чарующие взгляды, туманные дали, парусники у горизонта, тёмные чащи, золотые, и всадники, и всадница, и серые волки, и ангелы, и дети возникают вновь, на прежних своих местах, когда глаз прикидывает к замочной скважине с той стороны закрытой — навек уже! — двери, и взгляд обегает, словно луч света, тёмные стены камеры обскуры. Пыль, свалившаяся в войлок, приросла к полу там, где никогда никто не бывал ни с тряпкой, ни с веником, не досягал ничем укромных этих, интимных мест, а между рам осталась пожелтевшая соль в старых фарфоровых солонках, и в опустевших ящиках, брошенных посреди зала, — только газеты, газеты, газеты... Много старых газет и какие-то крошки, но не от них пахнет чем-то... чем-то таким, знакомым с детства, острым и пряным. А там, в углу, кажется, что-то тускло поблёскивает неровным серебряным краем...»

Слова возникают и умирают в нём.
Он остаётся дома.

Он медленно и долго, словно проталкиваясь сквозь собственную природу, ставшую после того, как высшие фракции его существа принялись отделяться от тела, особенно инертной и вязкой, думает о том, что то, что в детских мечтах вело его сюда сквозь день и сквозь ночь, и пешком, и на Дугласе, называется одиночеством. Оно подобно магнитному полю земли, ориентирующему стрелку компаса в направлении с севера на юг; чему-то вроде пустоты в конце незавершённого высказывания, одновременно и заставляющей, и понуждающей предложение длиться, пока не придёт пора ставить точку; подобно выдоху, за которым неизбежно следует необходимость вдоха. Вечное Движение вело его, ещё ничего не знавшего о Вечном Движении, сюда, и теперь он отсюда возвращается обратно, сразу по всем дорогам.

Встав с постели, он, не одеваясь, долго бродит по комнате, как бы ища что-то. Что-то, что детским зрением, провидящего рождественскую ночь, до самого рассвета ясно различал во тьме. Он вспоминает, что сегодня, как и пять ночей подряд, ему чудилась близость нагого тела женщины, давно ставшей ему чужой, — под пахнущим сухим листом покрывалом. Пять ночей подряд приходила она, и всю ночь была с ним, под утро оставляя во рту кислый вкус медной монеты.

Он продолжает искать, и находит многое, и не знает, что из найденного множества — нужное. Жилище Зайца напоминает ту кладовую, в которой досужий барин из тургеневских «Трёх встреч» искал помстившегося ему

призрака. (Только пианино с *кислым звуком* отсутствует, но его вполне заменяют птичий хор да тяжело скрипящие по ночам над самой головой доски потолка. Версия с Алексом, кстати, оказалась несостоятельной: Заяц проверил — наверху, над его кроватью, размещается бойлерная, так что ходить там никто не может.)

И портрет смотрит со стены со всё понимающей улыбкой.

Что-то происходит с ним здесь.

Однажды под утро слух Зайца потревожили слова, прозвучавшие отчётливо и громко: «И в полуденном сне они столь тесно сплетались друг с другом, что даже пробудившись, не разнимаясь, долго пытались угадать в онемевших членах собственную плоть, проникая в неё не кровотоком, но чувством...» Проснувшись окончательно, он ещё какое-то время повторял про себя услышанное, увлекающее обратно в сон, словно подлёдное течение.

Взгляд обегает затканые провисшей паутиной углы расписных потолков, бархатные просторы портьер, отягощённые кистями, облезлую позолоту и заколоченные гвоздями, прямо по вощёному дереву, двери, закрывающие входы неизвестно куда; остановившиеся навсегда огромные напольные часы в зале второго этажа, по циферблату которых, так же, как и по парадной двери внизу, так же, как и всюду здесь, снуют огромные чёрные муравьи¹.

Черты того, чьи следы он искал когда-то в сумерках комнат дома иного, в мутных житиях послевоенных фотографий, всё более обнаруживаются им всюду, словно зрение его приобрело особенную проницательность. Отчего так? Может быть, благодаря переменам, затронувшим его? Но, кажется, дело не только в новом зрении, кажется, что черты эти он не столько открывает, сколько отмечает ими сам любое место, на которое падает его взгляд. И всё более черты эти сливаются с чертами того, чьё присутствие смутно ощущалось им тогда же, внутри дома и вовне, того, кто понимает всякую речь без слов. Заяц думает, что нужно бы отметить это на карте странствий как один из самых важных моментов, но, памятуя о данном себе слове, удерживается от намеренья.

Что-то определённо происходит.

Размышляя о причинах происходящих с ним превращений, Заяц заподозрил было во всём репродукцию (причиной было то, что она не только напоминала Заяцу черты давно знакомого лица, но и представлялась ему так же то зеркалом, в котором отражался он сам в разные времена своей жизни, то люцидой, собравшей воедино разбег всех теней и светов, когда-либо бывших в его жизни, а то и вовсе чем-то вроде телескопа, обращённого к бесконечности пространств,

¹ Присаживаясь на пыльную обивку диванов и кресел, он, уже по привычке, ждёт, что из-под её увядших цветов посыпятся шустрые тела муравьёв, беря кружку налить себе чаю, он оглядывает её, чтобы ненароком не заварить себе и муравьиного настоя, муравьиный трепет теней на шторах, едва колеблющихся от невидимого движения воздуха, придаёт всему дополнительную, какую-то уже выходящую за рамки самого движения глубину, распространяющуюся (и распространяющую) в иное, внутреннее, человеческое измерение.

что, несомненно, воздействовало на душевную оптику весьма разрушительным образом), но пытливый ум его придумал и поставил серию экспериментов: портрет был повёрнут лицом к стене; снят с гвоздя и поставлен на пол; перевешен на кухню; унесён на половину Алекса — всё оставалось по-прежнему. Непричастность портрета, таким образом, была доказана, хотя всё же в наличии связи между портретом и происходящими переменами Заяц остался убеждён.

А ещё, опять же, этот странный сухой жар в доме: непреходящий, несмотря на всё учащающиеся дожди, в отсутствие видимого и сколько-нибудь правдоподобного источника (разве что термогенез, возникающий вследствие не сочетающихся с текущим временем вещей), — откуда он берётся? Словно и вправду дом этот, помимо обычного своего назначения, обладает ещё и неявным свойством алхимического куба.

Жизнь разрывается на две неравновесные половины, меньшая часть из которых тяготеет к тому, что осталось позади и тянет за собою остающуюся: большую и сопротивляющуюся небытию.

Он закрывает глаза — всё меркнет. Нигредо.

Открывает — розовато-золотистый свет врывается в глубину телесного омута. Альбедо.

Нигредо.

Альбедо.

Нигредо.

Альбедо...

Голос Варвары, читающей маленькому Женечке книжки: «Я — Бебека, я — Мемека, я медведя забодал...», «Сорок четыре весёлых чижа...»¹ Просто не умолкает. «Посиди со мной...» «Кофе или чай?» «О чём задумался, Заяц-Мазаяц?» «Забери Женечку...»

Что-то происходит, что-то происходит...

Голос звучит, чудятся родные тени, и ему становится жаль и себя, и погубленного времени, но больше всего саму Варвару, словно она — маленькая девочка, по незнанию, по недоразумению совершившая какую-то страшную глупость. Заяц вздыхает и шепчет ей: «Прости».

«Я — Бебека, я — Мемека...»

«Чаёчек или кофечуёчек?»

«Пятьдесят поросят на подножке висят...»

¹ По чрезмерной артикуляции детских стишков слышно, как непривычно Варваре такое чтение. «Старается, как крепостная на домашнем театре», — думает Заяц о ней с улыбкой, как о подлинном человеке. (Это тоже их любимое выражение из прежней жизни, из прежней речи, чья суть — чудесная игра: “— Представляешь, я писала эти отчёты весь день, старалась, как крепостная на домашнем театре!” “— Ух, вымотался я... С самого утра, как крепостной на домашнем театре, надрывался...”»

Каждую секунду, каждый миг он не отрываясь вглядывается в течение времени, на глазах ускоряющее свой бег, или бывшее таким всегда, но только теперь таковым осознанное. Это ощущение бега изнуряет. Ему вспоминается аттракцион, устраиваемый там же, на поселковом пляже, из лета в лето: какой-то мелкий, прохиндеистого вида мужичонка в майке и синем трико сдавал всем желающим велик с обратным рулём (ты поворачиваешь руль вправо — велик едет влево, ты руль влево, велик — вправо) за двадцать копеек, с условием проехать на нём тридцать метров. Выигравшему полагался приз: пять бутылок «Жигулёвского» взрослым, шарик на резинке — детям. Казалось бы, что тут такого, прими зеркальную соразмерность своих взаимодействий с машиной и вперёд, к победе, но не тут-то было: проехав первый десяток метров под жесточайшим контролем разума, седок либо стремительно уставал и соскакивал с седла, либо, объезжая какой-нибудь камешек или ямку, уступал своей привычке, совершал неверное движение и валился под дружный смех наблюдающих. Даже Заяц, рассекавший по посёлку на своём «Уральце» как бог, без рук, с закрытыми глазами, под рамой и на багажнике, не смог проехать на том зеркальнике и трёх метров: от напряжения свело не только руки, но и всё тело, нужно было контролировать каждое мгновение, и каждый миг такое знакомое пространство норовило вывернуться, убежать — оно просто не поддавалось ему, каждый сантиметр его был враждебен, и он, особенно остро вдруг ощутивший свою ничтожность в нём, был враждебен этому пространству, но нужно было держать его и себя, вцепившись в руль мёртвой хваткой.

И он упал. (Перед мысленным взором его встаёт чёрная земля, почти невидимая под многими слоями растений, начиная от мелких, с крохотными листочками, по форме напоминающими игрушечные чайные ложки, с волосяными полупрозрачными стебельками, стелющимися почти без зазора с поверхностью, едва выступающими над нею, как набивной рисунок на ткани, до высоких, в рост, репейников и полыни. Земля видоизменяется, обживаемая каждую секунду, как на ускоренно проматываемой киноплёнке: снуют в плотных утемьях какие-то мелкие животные, вылезают и опадают грибы, распускаются цветы и семена просыпаются дождём, птицы, садясь, заставляют вздрагивать и подаваться во все стороны стебли — словно волны моря от не поднявшихся из глубин, но сошедших с высот рыб и там, на земле, меж растительных и животных царств, он чувствует в ничтожности своей сходящий на него, примиряющий со всем покой.)

Ткань бытия беспрерывно расщепляется на тончайшие свои основы, из которых важнейшие суть несоединимость, неподражание, непрерываемость и неизбывность.

И всё чаще Заяц проводит время у бассейна. Пересохший в незапамятные времена, несуразно глубокий, с растрескавшимися на дне мраморными плитами, тронутыми лёгкой желтизной и пронизанными витиеватыми, как восточные речи, прожилками тёмных намёков, умолчаний, то рассыпающихся обилием свернувшегося яда, то утаиваемых и уходящих вглубь, едва виднеющимися в матовой глубине письменами, формой своей напоминающий альпрудский

ниломер, но вытянутый в длину, бассейн кажется ему олицетворением его всё более разрушающихся надежд.

Среди плит устилающих дно, там и здесь возвышаются большие и малые холмики — это раковины морских моллюсков, выложенные, очевидно, некогда для красоты и большего сходства бассейна с морем, занесённые теперь опавшей листвою, иссохшими сморщенными фигами, ветками и песком — словно руки невидимого садовника еще не добрались до этого места .

Во главе бассейна, в конхе, похожей на большой эмалированный таз, грустит маленький женоподобный ангелочек, взирая не то на свой иссякший источник жизни, не то на открывающийся прямо под пухленькими пяточками чёрный провал канализационной трубы. Открытое лоно с лёгкостью приемлет всё, что приносят с собой взыскующие пальцы ветра: сор, травинки, семена растений. Вон уже что-то вроде пастушьей сумки всходит в телесного цвета складках живота и в паху.

В газонной траве, мало-помалу завоёвывающей кирпичную дорожку, что ведёт от бассейна к побуревшей тростниковой беседке, ползают замёрзшие за ночь и отогревшиеся днём насекомые.

«Словно кто гонит меня всё дальше и дальше, не давая отдыха ни на минуту, гонит везде и всюду, внутри и вне, днём и ночью, наяву и во сне. Гонит, как нерадивого раба, пренебрёгшего поручением господина. Но кто же знал, что скрыто в этих письменах, выющихся, как строка дороги? Кто же знал заранее? Я и не предполагал, начиная их, что пишу уже с середины пути, словно странник, проспавший всё на свете: и сборы, и кормление скота, и навьючивание, и выход. Но не спал я, а отмечал место, занимаемое мною в мире — так делают дети, накрывая свою макушку ладонью и отстраняясь, чтобы увидеть со стороны место, равное им по высоте! Так делают те, кто готовится покинуть однажды свой дом навсегда».

Истории, которые он отважился рассказывать сыну перед отъездом дома, но по причине всё ухудшающейся связи¹, а так же из-за некоторых возобновившихся опасений здесь не рассказывает, удивительным образом не прекратились за неимением адресата, но продолжились, теперь уже обращённые к самому себе — словно он не в силах управлять рассказыванием истории, или кто-то другой теперь решает, как, когда и в какой последовательности им смущать ум слушающего. Ум, который одновременно является умом и рассказчика, и равно с ним подвергается искушению странствием.

Где-то там, далеко-далеко, в другой, разряжённой, как высокогорный воздух, жизни, осыпаются на размокшую землю дожди и напрасная вода затекает под упавшую листву. Упавшая листва, соединяясь с дождями, набухает

¹ Связь ухудшается не только в обыденном, физическом смысле — порча, коснувшаяся её в этом перегонном кубе, затронула уже какие-то иные, высшие сферы бытия: Заяц уверен, что не будь её, что-то самое важное всё равно бы передавалось, не вербально, так хотя бы в виде индукции, снов, прозрений, но — ничего. Ничего подобного не происходит, он замкнут в своих снах и отречён во днях своих ото всего почти совершенно.

и разлагается на чистый янтарный цвет, с трудом поглощаемый сумерками. Небеса сотворяются обратным движением водяных паров и смотрят бессмысленно, не осознавая себя, вниз — на великие земли своего исхода. И завеса в беспамятстве колеблется сквозняками и пахнет отсыревшей бумагой и типографской краской: скромн и прост инвентарь пространств, порождающих таинство.

В начале марта он видел аистов, возвращающихся домой. Он снова подумал о том, что хорошо бы и об этом упомянуть в своих заметках, но по-прежнему держался принятого решения и не прикасался к бумаге.

«И не ропщу я — мотивы отчаяния и тоски по утерянной любви появлялись на страницах моих не сразу, но постепенно. Словно на слух, с неизбежными ошибками и повторениями, я подбирал единственно верную мелодию своей жизни. Мелодию, неизбежно возвышающуюся до тишины».

Ближе к полудню на краю бассейна появлялся богомол. Примерно в одно и то же время, почти в одном и том же месте. Некрупный, чуть больше спичечного коробка, он словно бы материализовывался из ничего.

Травного цвета, богомол был медлителен, и движения его были долги. На суету муравьёв он смотрел свысока.

Когда солнце скрывалось, движение мелкой живности прекращалось, словно кончался в них завод. Прятались муравьи, исчезал богомол. Маленькие улитки, присохшие к стеблям травы, к ножкам кресел, стенам дома — ко всему, что возвышалось над землёй, — крохотными ординарами отмечали первый прилив ночи. Хотелось тоже, как они, оцепенеть, утратив последние признаки жизни.

Ближе к полуночи возвращался из своих походов Алекс — было слышно, как он хлопает дверцей машины, как, сделав несколько шагов по направлению к забору, надрывно, словно исповедуясь, со стонами и подвываниями блюёт.

«Надо тебе бабу какую-нибудь», — говорит Алекс Зайцу утром, размякший и особенно подобревший с похмелья. «Вооот с такими сиськами!» И, сложив руки на груди кренделем, показывает, с какими именно. Заяц, всё ещё опасавшийся расспросов, чтобы не дать развиваться теме, торопливо соглашается: «Да, пожалуй, надо бы...» И думает о том, что у него, пожалуй, и в самом деле уже есть основания пуститься во все тяжкие, почувствовать себя свободным, и другой бы на его месте, наверное, давно бы так и сделал... И ничего не делает — здесь, вдали от жены, он чувствует максимальную, абсолютную степень несвободы, высшее состояние связанности с нею.

(Окончание следует)

Феликс Чечик

Пунктир берёз

* * *

Колонна за
колонной в бой.
Бежит слеза
сама собой.

И бой затих.
И ни души,
кто мог бы их
отпеть в тиши.

* * *

Сногшибательная кома, —
даром что живой:
из окна чужого дома
я смотрю на свой.

Я смотрю уже лет сорок
или сорок пять:
очаровывает морок
мальчика опять.

А в окне напротив мама
и в окне отец:
мандельштамовская яма,
метроном сердец.

Я смотрю, не отрывая
взгляда от окна,
словно рана ножевая
пролегла вина.

Против лома нет приёма?
В омут с головой:
из окна чужого дома
я смотрю на свой.

Облетели все деревья, —
улетят вот-вот.
А в окне чужое время
жизнь мою живёт.

Мазилово

1

Берёзы,
золотом звеня,
сквозь слёзы
смотрят на меня.

А я,
как мёртвый на живых,
из ноября
смотрю на них.

2

Было: черным-черно.
Стало: белым-бело.
Долго смотрю в окно
сквозь тишины стекло.

Нет и не будет сна, —
будет пунктир берёз.
Вдребезги тишина
под перестук колёс.

3

Надо тратиться, тратиться, тратиться,
навсегда приходя,
где берёз чёрно-белые платица
сохнут после дождя.

Траты новые, новые, новые,
уходя навсегда,
где вечерние платья еловые
украшает звезда.

* * *

Мне ужасно интересно,
чем закончится — а вам? —
эта чеховская пьеса
и бахтинский карнавал.

Растворился, испарился,
возвратился я назад,
где родился сын у Фирса
и расцвёл вишнёвый сад.

* * *

Если не продажа — так аренда.
Жизни безголосый минарет.
Припать? Пина? Нет, скорее Брента, —
рыжего заката пинский бред.

Если не любовь — тогда разлука.
Если не мечта — тогда конец.
Глухота заваренного люка
в пустоте нелюбящих сердец.

А рыбак, как шлюха на клиента
смотрит, улыбаясь и косясь.
И течёт, течёт по венам Лета.
И клюёт, клюёт незримый язь.

* * *

Возвратился домой,
словно в небытиё,
чтоб осенней зимой
накормить вороньё.

Перелётным вослед
не глядели они:
бесконечных трёх лет
одинокие дни.

У беды на краю
не кричат, не галдят.
На подачку мою
равнодушно глядят.

И голодными вновь
улетят во всю прыть,
чтоб закатную кровь,
как рассветную, пить.

Наталья Веселова

Милая Мила

Повесть

Ночь долгая. Под одеялом у Бабушки густое и душное тепло. Они с Милой всегда спят на одном широком диване — так уж повелось с самого начала, с того дня, что Бабушка взяла Милу жить к себе. Того дня? Она едва ли понимает, что такое — *тот* день... Ну, *просто* день — что-то почти знакомое: это когда за окном становится светло-светло, и Бабушка — грузная, как узел с бельём, в одной длинной-предлинной рубашке, с растрёпанной светлой косичкой через плечо — выбирается из уютной постели, пошире раздвигает тяжёлые шторы и задумчиво говорит: «Ну вот и ещё один день пришёл». Тогда Мила тоже выпрыгивает из постели, бросается к окну, тревожно смотрит в их скудный дворик, никого там не видит и начинает изо всех сил толкать Бабушку головой, вопросительно заглядывая ей в глаза:

— М-м? М-м? — громко стонет она.

Это Мила хочет спросить: «Кто? Кто пришёл?» — но говорить ей так и не удалось научиться, сколько она ни старалась. Со временем она, правда, поняла, что «День пришёл» — означает, что за окном стало светло и он, этот День, будет здесь до тех пор, пока не стемнеет, — и тогда придёт Ночь. И станет хлопать от сквозняка вечно открытая форточка, а в тревожных ночных отсветах наискось помчатся тучи больших белых бабочек. Миле их не достать, этих ледяных бабочек. Правда однажды, когда Бабушки не было в комнате, она ухитрилась взобраться на подоконник, оттуда кое-как дотянуться до форточки — и одна бабочка села ей прямо на нос! Села — и укусила её маленький носик мгновенным холодом! А потом пропала... Нет, это оказалась совсем не такая бабочка, которую однажды посчастливилось поймать, когда во дворе было тепло-тепло, как у бабушки в кровати, и Мила часами просиживала у открытого окна. Бабочка долго летала перед ней — жирная, белая — и дразнила, дразнила Милу своей наглой лёгкостью. А Мила не будь душой напряглась и — хват! Сильными

Наталья Веселова (Наталья Александровна Сафронова) живёт и работает в Санкт-Петербурге. Автор 17 книг (повести, романы), вышедших с 1991 по 2024 годы в издательствах России. Лауреат ряда литературных премий. Участник проектов АСПИР.

пальчиками сжала белую пленницу намертво и отправила в рот — даже не поняла, как это получилось: ведь хотела только рассмотреть... Она не успела оценить — вкусно ли ей, когда в комнате откуда-то появилась Бабушка, всплеснула руками и кинулась к Миле с криком:

— Что ты делаешь! Выплюнь! Плюнь сейчас же! Скажи: «Тьфу!»

Мила любила делать всё наоборот — не по своей воле, а просто так выходило, поэтому она, как могла крепко, сжала челюсти, — и тогда Бабушка принялась раскрывать ей рот насильно, запрокинув несчастной голову и зажимая нос.

— Какая гадость! — приговаривала она. — Какая гадость! Это же бабочка! Как ты только можешь! А если она какая-нибудь ядовитая?!

Зато так Мила узнала, что всё белое и лёгкое, что летает днём и ночью, в жару и в холод мимо их окна, называется «бабочка»...

Ночь скучная. Когда Бабушка спит, играть с ней нельзя, нельзя даже её трогать: если её разбудить, то она станет злая-злая и может даже больно и звонко шлёпнуть Милу по голой попе. А Миле почему-то именно ночью не хочется спать. Она выпрастывает голову из-под одеяла и с тоской смотрит на недоступных бабочек, мчащихся в квадратике открытой форточки. Бойко и ритмично щёлкает большая, злобная круглая штука под названием «будильник» — Мила его ненавидит и всё время норовит бросить на пол, но в Бабушкином присутствии этого делать нельзя: сразу получишь по попе. Зато когда Бабушки нет в комнате и Мила сталкивается взглядом с хищной мордой будильника, — она с наслаждением швыряет его на пол и топчет, топчет, — а он всё не замолкает. После этого главное — успеть отбежать подальше и, как ни в чём не бывало, усесться в кресло перед телевизором, чтобы Бабушка не знала, что это Мила скинула противную штуковину, а подумала бы, что она сама спрыгнула на пол... Но та всё равно откуда-то знает, что произошло, как будто стояла рядом и всё видела. Мила совершенно не понимает, как такое возможно!

— Ы-а! — кричит она. — Ы-э! — Ей хочется сказать, что это не она, не она, но, как всегда, стоит раскрыть рот — и оттуда вместо таких понятных ей человеческих слов вырываются странные гортанные звуки.

— Не ты, говоришь? — отлично понимает её Бабушка. — А кто ещё, интересно? Вот я тебе сейчас...

Мила стыдливо отворачивает голову, и Бабушка сразу смягчается:

— Ах ты, бедная моя девочка... И чем только тебе мой будильник не угодил?

Её тёплая ладонь ложится Миле на лоб.

— И какая же ты всегда горячая... Надо будет опять врачу показать тебя и спросить — нормально ли это? И ведь вроде здоровая... Бегаешь вон дай бог каждому...

Ночь тягостная. Звуки её одновременно приманчивы и враждебны. Тысячи шорохов, стуков, вздохов, колебаний воздуха — всё это слышит Мила, ведь она не умеет только говорить, зато всё остальное делает лучше многих! Ей тревожно, сладко, мучительно, словно откуда-то доносится соблазнительный дремучий зов — пойти бы ему навстречу, но куда, куда? Да и страшно, тесно где-то внутри... Мила боязливо заползает обратно под одеяло, приваливается к тёплому

Бабушкиному боку. Тут безопасно, родной запах обволакивает чуткие ноздри... Спит Мила. Сладко спит, пока опять не приходит этот... которого зовут День.

Они с Бабушкой не всегда бывают только вдвоём. Иногда приходят другие Бабушки, и тогда все сидят за столом, едят, пьют и разговаривают. Мила тоже сидит за столом со всеми, у неё есть свой личный стул, который никто не занимает, — она внимательно слушает, стараясь уловить смысл слов: не опасно ли что-нибудь для неё? А может быть, наоборот, — хорошо? Другие Бабушки тоже иногда к ней обращаются, в основном предлагая что-то съесть, и Мила иногда соглашается, а иногда — нет, по настроению. Но ни одна из Бабушек, кроме её собственной, её не любит — это очень понятно. Да они этого и скрывать не собираются! Вот одна — от неё нестерпимо несёт цветами, почти как от огромного красного веника, который однажды принёс Бабушке её Друг (он вообще-то хороший, но в тот раз Миле было не продышаться — даже все остальные запахи надолго пропали), — так вот, эта чужая Бабушка спрашивает Бабушку настоящую:

— Слушай, зачем она тебе? — И откровенно показывает на Милу. — Такой ужас...

— Действительно, — поддерживает её другая. — Ради чего ты её взяла?

— Очень жалко стало... — тихо говорит Милина Бабушка. — От неё племянница моя отказалась. Мужика себе нашла, а он ей — вот как ты сейчас: «Какой ужас!» Говорит, мол, либо она, либо я... В какой-то там приют её сдать хотели... А я как в глаза ей посмотрела... Ей два годика тогда было уже, и такая домашняя... Ну как её в приют! Совсем с ума посходили люди! Не позволила сдать — и ни разу не пожалела... Говорю ей: пойдёшь ко мне жить? Буду твоей бабушкой... Уход за ней минимальный... Ну, шарахаются некоторые с непривычки... А потом — ничего... Привыкаешь ведь. Мы большие друзья, да, Мила?

— Кстати, насчёт глаз — это правда, — неожиданно соглашается до того молчавшая самая маленькая Бабушка. — Просто васильки! И разрез такой красивый... Если б не всё остальное...

— Бр-р... Я лично никогда не привыкну, — упорствует та Бабушка, что вонючая. — Хотя она у тебя уже сколько? Лет семь, кажется? Ну, тогда недолго осталось — такие ведь, наверно, много не живут?

— Ещё как живут! При хорошем уходе! — испуганно восклицает настоящая Бабушка, прижимая Милу к себе. — Не слушай её, не слушай, хорошо? Ты проживёшь ещё долго-долго, ясно? Мы всегда будем с тобой вместе... — И к подруге: — Хоть бы при ней помолчала! Она же всё понимает! И теперь начнёт мучиться!..

— Иди ты! — принуждённо смеётся та. — Понимает... Какие у неё мозги... Она даже не понимает, что такое — жить... А уж умереть... — И машет огромной рукой с длинными коричневыми когтями.

Напрасно она так думает. Мила прекрасно знает, что такое жить. Это когда ты просто есть. И рядом — Бабушка. И приходит День. Творог со сметанкой на тарелочке... Смешные непоседливые пятнышки на спинке кресла — ты пытаешься их поймать, но они всегда убегают. И ещё ты обнимаешь Бабушку, когда

вы вместе смотрите телевизор — это такое окошко в коробке, где всё мелькает, мелькает... Интересно... Жить — это ещё когда пахнет курочкой, и тебе сейчас дадут попить тёплого бульону... А потом День куда-то уходит, и вместо него откуда-то появляется Ночь. И это тоже неплохо, только по-другому. Это тоже — жить. Волноваться. Хотеть чего-то непонятного. То проваливаться во тьму, то выныривать туда, где ровно дышит Бабушка и летят белые бабочки... Однажды вынырнуть — и увидеть, что День уже пришёл... Без тебя. А умереть — это, наверное, просто не вернуться из тьмы... Нет, Мила хочет всегда возвращаться... Она обязательно будет возвращаться... Тьма никогда не возьмёт её себе навсегда. Ни её, ни Бабушку...

Тот дворик, что только и виден из двух их с Бабушкой окон — кухонного и комнатного, — очень маленький, даже Мила это понимает. «Наш колодец», — называет его Бабушка, — а вот что такое колодец, не объясняет. Кругом высокие желтоватые стены, а посередине — будто бы диван, только жёсткий (Мила однажды сбежала из дома через окно и попробовала на ощупь). Это — скамья; хотя у неё и есть крепкие ноги, она никогда не бегает, всегда неподвижно стоит под огромным кривым деревом. А дерево это очень красивое. И умное. Гораздо умнее Милы. Та относится к нему с уважением, и когда окно в тёплое время совсем открыто, пытается крикнуть во весь голос: «Эй, дерево! Слышишь меня? Я — Мила!» «Э-о-о! — вылетает из её груди. — Э-э-а! А-ми-а!» Дерево не понимает Милу, но иногда машет ей своими мохнатыми руками. У него много рук, и всеми руками оно то ли приветствует Милу, то ли хочет схватить её и съесть, и тогда становится шумно и страшно...

На другой стороне двора в жёлтой стене — два маленьких окошка. Когда приходит День, — они тёмные; а если Ночь, — светлые.

— Видишь те окна? — указывает иногда Бабушка, стоя рядом с Милой и глядя вместе с ней во двор. — Там живёт наш с тобой Дима. Мой друг. Вон-вон его тень мелькает за занавеской!

Мила высвобождается. Она всегда так делает, когда совсем не верит в то, что говорит Бабушка. Когда ей абсолютно ясно, что такого не может быть. Например, те окна такие крошечные, а Друг — он же Дима — такой большой. Как он может поместиться в маленькое окошко? Вот она, Мила, сегодня хотела забраться в шкафчик на кухне — и не поместилась. А шкафчик-то ведь больше окошка!

— В том доме, за теми окнами, тоже есть небольшая квартирка, — втолковывает ей Бабушка. — Почти как наша с тобой, Мила. Только у нас одна комната, а там — две. Дима в них живёт со своим внуком. Вернее, не со своим, а своей покойной жены. И они так плохо живут, Мила, — ты не представляешь... Он такой нехороший юноша, этот его Юрка! Так обижает моего Диму, так обижает... Ах, Мила, Мила, ничего-то ты не понимаешь, ничего не ответишь мне, не посоветуешь... А надо ведь что-то делать... Что делать-то, Мила?

Мила видит, что Бабушка расстроена, от всей души хочет её развеселить, показать, что не нужен им никакой Друг, и дела нет ни до какого непонятного плохого «юноши», им вдвоём так тепло и сытно, а когда Друг приходит, —

он столько съедает, что вдруг потом им с Бабушкой не хватит еды? И не будет ни творога, ни сметанки, ни курочки, ни тушёной рыбки? Но как донести это до неё, до глупой? Зачем она всё время кормит ненасытного Диму, от которого пахнет... Ах, как странно пахнет от него! Когда Мила осторожно подойдёт и прижмётся к его плечу, то запах — нюхала бы и нюхала! Хочется головой тереться — если б только он позволял! Зато когда вытащит вдруг свою противную игрушку... Мила прекрасно знает это мерзкое слово: «Опять ты за сигарету! — кричит Другу Бабушка. — Только в её сторону дымить не вздумай: ты же просто убиваешь этим девочку!» Друг послушно выпускает вбок одну за другой тугие серые струи, но Миле всё равно становится тошно и муторно, она отсаживается как можно дальше от них обоих, но совсем уходить не хочет — слушает... Она откуда-то знает, что Бабушке очень нужен этот Друг. Может быть, даже больше, чем она, Мила... И если он ей однажды скажет: «Или она, или я...» Но он не скажет, чувствует Мила.

— А она у тебя, кстати, не такая уж и глупая... — однажды замечает Дима. — Взгляд, между прочим, почти осмысленный... Ну, страшненькая... Но ведь не совсем же до безобразия... Вон какие глаза красивые — надо только разглядеть... И что лысая — тоже можно привыкнуть... Мы ведь подружимся с тобой, Мила, да?

«Если ты не будешь есть столько курочки», — хочет ответить Мила, но молчит, потому что уже знает, что у неё это не получится. Ну ладно, пока у них есть еда: «Переводы меня кормят, не жалуюсь», — со смехом говорит иногда Бабушка. Ага, сейчас кормят, а потом передумают и перестанут. Лично Мила никогда не видела этих Переводов. Наверное, они приходят и дают Бабушке еду, когда Мила спит. А вдруг однажды не придут? Или они будут приходить и кормить её всегда, как приходят День и Ночь?

Тянется ночь, тянется... Спит Мила и не спит... Но там, где кружат белые бабочки, становится неуловимо светлее. Значит, к ним опять идёт День...

Последнее время он остаётся надолго, он почти всегда здесь, а Ночь... Она стала какая-то странная, почти не тёмная. Мила узнаёт, что она пришла, только когда Бабушка говорит: «Ну, всё, Мила, спать пора. Видишь — давно уж ночь на дворе». Мила тотчас подбегает к окну и осматривает двор: нет Ночи. День кругом, только другой... Непонятный: звуки, запахи и чувства, как когда Ночь, а по виду — День. Тогда Миле становится так беспокойно, что спать она не может вовсе. Только дождётся, пока громко задышит рядом Бабушка, — и украдкой выбирается из постели. До утра она бесшумно бродит по квартире — прислушивается и тайно страдает. Ей хочется, чтобы всё встало на свои места. Она ждёт, не придёт ли настоящий, знакомый День, а не этот, который только притворяется Ночью...

Зато когда долгожданный длинный День здесь, Мила часто остаётся одна. Бабушка снимает с себя лёгкий пёстрый халат, который носит дома, если никто, кроме Дня, к ним не приходит. (Мила знает это слово, потому что, когда ей иногда хочется особенно приласкаться и она буквально повисает на Бабушке от любви, та испуганно кричит: «Осторожно! Халат мой порвёшь!») Сняв халат, Бабушка надевает красивые гладкие платья («Как тебе моё платье, Мила?» —

и готово: ещё одно слово поселилось в голове у Милы навсегда). Потом Бабушка исчезает, оставляя Миле попить молока для утешения и выключая «верхний» свет. Она знает, что с Милой без неё ничего плохого не случится, Мила будет тихая-тихая, никогда не набедокурит, когда одна в квартире, — а сразу ляжет спать. Иногда встанет, попьёт молочка — и опять спит, пока не придёт Бабушка. Она не знает — долго ли спит; иногда Ночь, похожая на день, приходит раньше Бабушки, а иногда — нет. Но, услышав, как открывается дверь, Мила вмиг просыпается и легко соскакивает с дивана. Она мчится в прихожую, подпрыгивает высоко, как только может, стараясь дотянуться до Бабушкиного лица, поцеловать её покрепче, обхватить, прижать к себе... Мила не бывает точно уверена, вернётся ли Бабушка вообще, но, когда это происходит, — счастьем её нет предела...

— Только не висни на мне, пока я не надену халат! — сердито кричит Бабушка, отталкивая Милу. — Это платье — из бутика! Ты даже не представляешь, сколько я за компьютером горбатилась, чтоб его купить!

Про компьютер Мила прекрасно знает — это такой маленький не то телевизор, не то книжка, с которым Бабушка играет долго-долго, щёлкает, постукивает, и от этого по его белому окошку бегают чёрненькие маленькие штучки, которые не позволяется трогать, — а вот про платье уж и вовсе непонятно — что с ним не так? Она недоуменно смотрит бабушке за спину: спина вовсе не горбатая. Это у неё, Милы, горбатая, она много раз слышала, как про неё говорили:

— Смотри, какая горбатая спина! А ноги — длиннущие! Жуть!

— А мне даже нравится! — храбро отвечала тогда Бабушка.

— Не придумывай. Чему тут нравиться? — отмахивались от неё. — Но раз уж ты взяла её... Вот сама и любуйся...

Бабушка надевает такой знакомый, пахнувший ими обеими халат — и только тогда позволяет обнять себя. Она осторожно похлопывает Милу по боку, сидя на диване, и тихонько рассказывает ей:

— Знаешь, где мы с Димой были? На выставке...

Мила сердито трясёт головой: ей непонятно — на чём они были? Она знает, что такое — «на диване», «на столе», «на подоконнике»... А вот — «на выставке»? Получалось, что Бабушка и её Друг сидели или стояли на чём-то, чего Мила не могла даже вообразить, — и это её сердило.

— Н-ны? — уточняет она.

— Ах, да, тебя кормить пора! — спохватывается Бабушка и тотчас встаёт.

Мила опрометью мчится за ней на кухню, даже забегает вперёд от нетерпения: сейчас будет весело и вкусно! Бабушка положит Миле на тарелку тёплой варёной телятины, нальёт попить... А ещё Мила любит сгущёнку, Бабушка иногда наполняет ею маленькое блюдечко и говорит:

— Вот хоть и знаю, что вредно тебе, а не могу не побаловать...

Но сегодня нет никакой сгущёнки, и телятины тоже нет — Бабушка быстро кладёт в Милину тарелку что-то не очень вкусное, жёсткое, а себе тарелку не достаёт, за стол не садится — не получится, значит, поесть с ней за компанию... Мила всё равно начинает быстро и жадно насыщаться — потому что не знает

наверняка, удастся ли поесть в следующий раз... Может, этого никогда уже не получится! А бабушка отстранённо стоит у окна, совсем не смотрит на свою девочку, взгляд её устремлён туда, во двор, где в не чёрной и не белой ночи только горит далёкое маленькое окошко. Она думает, что там её Друг, и никак не возьмёт в толк, что ему туда ну никак, просто никак не поместиться! Бабушка быстро-быстро постукивает по подоконнику своими блестящими маленькими коготками и коротко, тревожно вздыхает.

— Ах, Мила! — наконец-то, говорит она. — Нельзя нам дальше бездействовать, надо что-то делать! Ведь он же уморит его! Самым настоящим образом уморит!

Она тихонько стонет, сжав кулаки и припав головой к раме, — и Мила пугается: Бабушке больно?

— Господи! — уже в голос зовёт Бабушка. — Хоть Ты подскажи мне, научи, что делать! Ведь Ты-то знаешь, как я люблю его, как хочу помочь, — а он такой глупый, такой наивный, как все мужчины! — Она спохватывается: — Ой, прости меня, Господи, я не Тебя имела в виду!

Вот это Мила понимает: Бабушка обращается к Кому-то, Кто главнее её, Кого не видно и не слышно, но Сам Он всех видит и слышит — всегда. Его можно только чувствовать, но не все это умеют. Бабушка — умеет. И Мила тоже. Даже лучше, чем Бабушка. Только она не может Его ни о чём попросить, но ей это и не нужно, в отличие от Бабушки. Потому что Мила убеждена: ты Его ещё и не попросишь, а он уже и Сам знает, чего ты хочешь. Только не всегда даёт. Но Ему виднее. И с Ним не поспоришь. Не то что с Бабушкой...

А та сжимает голову обеими руками и замолкает, изредка всхлипывая. Мила давно уже оставила свою тарелку и стоит рядом, изо всех сил прижимая голову к её плечу:

— М-м... М-м... — утешает она. — Уни-и-и... Уни-и-и...

— Звони? — переспрашивает Бабушка, серьёзно глядя на Милу. — Молодчина. Всегда подашь хорошую идею...

Она стремительно идёт к телефону, Мила — трусцой — за ней. Вот ещё одна вещица, которой ей никак не постигнуть. Держит человек такую маленькую коробочку около уха и говорит, говорит... Никого перед ним нет, а он отвечает, как будто кто-то что-то спрашивает... Странно... Это называется «позвонить» ему или ей. Вот Мила никогда никому не звонит. И ей тоже. А вдруг однажды позвонят? Как она будет разговаривать, если не умеет? Она пристально смотрит на Бабушку и ловит каждое её слово:

— Вот, Мила посоветовала позвонить тебе... Ты улыбнулся?... Да, я специально сказала так, чтобы ты там улыбнулся... На самом деле я хотела тебя спросить... Тебе случайно не нужно о чём-нибудь со мной поговорить? Я имею в виду — о важном... О самом важном... Нет, не по телефону... — она долго молчит, но Мила не мешает, понимая, что Бабушка слушает. — Конечно, можно... — наконец, говорит Бабушка. — Ну какое там сплю... Ты ведь отлично знаешь, что мой рабочий день в это время только начинается... Приходи сейчас, я жду, очень жду!

День? Мила с сомнением смотрит на окно: давно уже пришла Ночь. Правда, похожая на День, но всё-таки Ночь. А когда она приходит, то в доме

никогда никто не появляется. Может быть, Бабушка ошиблась? Или она, Мила? А может, кроме Ночи, прийти кто-то ещё?

И правда, скоро появляется Друг. Мила встревожена нарушением обычного порядка вещей, бежит из кухни в комнату и обратно, вопросительно смотрит то на Бабушку, то на Друга — но им явно не до неё:

— Если не хочешь ложиться спать, — на ходу бросает ей Бабушка, — то просто сядь и сиди тихо, не мешайся тут...

Но ничто не может заставить Милу уйти в комнату и покорно забраться под их с Бабушкой одеяло. Она остаётся на кухне и, как ей велено, устраивается на своём стуле с мягким ковриком, сидит прямо и, вытянув длинную розовую шею, напряжённо смотрит на них обоих за столом. Они пьют ужасную гадость под названием «кофе» — Мила один раз тайком попробовала из бабушкиной кружки — так потом никакая вода не могла смыть мерзкую горечь! — а Друг ещё и пускает вонючие серые струи дыма. Без перерыва! И Бабушка не просит его не пускать свой дым в сторону девочки! Но Мила всё равно не сердится на Друга. Она откуда-то знает, что он хороший, и от него иногда приятно пахнет, и он один умеет погладить Милу по её лысой голове так, что ей это нравится, не хочется голову отдернуть, а его — ударить, как некоторых... У него белые волосы на голове и лице, низкий успокаивающий голос... С ним Миле уютно. И Бабушке, наверное, тоже. На ней уже нет яркого халата, а есть платье — такое не красное, а немножко потемнее... Мила не очень разбирается в цветах. Они все для неё похожи, кроме белого, серого, жёлтого и красного... Ну, ещё она немножко отличает синий — такого цвета дерево во дворе и ещё небо иногда... «Смотри, какое небо сегодня синее!» — сказала когда-то Бабушка, показав вверх за окно, — и Мила поняла и запомнила. А волосы у Бабушки не пойми какие — темнее Дня и светлее Ночи; это всё, что знает про них Мила, но ей очень нравится...

— Ты ещё совсем молодая женщина, — грустно говорит между тем Друг. — Тебе и пятидесяти, кажется, нет... Ведь нет? Есть? Никогда бы не подумал... Ты яркая, эффектная... Талантливый переводчик... Самодостаточная... На что я тебе сдался, скажи на милость? Ты ведь через год локти себе кусать начнёшь... А меня вообще возненавидишь... Ты хоть знаешь, сколько мне лет? Да я пенёк старый — в отцы тебе гожусь! И нищий, кстати... Всю жизнь — «кушать подано», пенсия минимальная... Сейчас вот эпизод в сериале обещали — так от счастья покраснел на кастинге, как мальчишка!

«Кушать подано» — это Мила понимает очень хорошо! Так говорит Бабушка, ставя перед ней полную тарелку, когда бывает в хорошем настроении. Девочка вздрагивает, но своей тарелки нигде не видит: наверное, опять что-то не так расслышала!

— Я тебя люблю и никогда не возненавижу, — отвечает Бабушка, и голос её дрожит. — И мне всё равно, сколько тебе лет. Я хочу жить и умереть с тобой, всего хочу с тобой... Но у меня сердце разрывается каждый вечер, когда я ложусь здесь спать в безопасности и думаю, что ты там в одной квартире с чокнутым наркоманом, и тебе некуда деться! Что он в любой момент может просто зарезать тебя — и даже не понять, что натворил!

— «Всего» со мной может и не получиться... — мрачно произносит Друг и делает большой глоток их ужасного кофе. — Машинка моя — того... Не очень уже и работает... А тебе ещё нужно — в твоём возрасте...

Ну, положим, машинка, у них с Бабушкой есть и своя, думает Мила, — обойдёмся. Большая, белая, с круглым окошком, которое открывается, чтобы можно было запихнуть туда разные тряпочки. А потом тряпочки крутятся там со страшным воем и шумом, Миле немножко боязно, но она всё равно стоит прямо перед окошком и упорно смотрит на мелькание тряпок, напрягшись всем телом и готовая сразу убежать, если машинка вдруг сорвётся с места и поскачет по коридору. «Расшалилась наша машинка... — смеётся тогда Бабушка. — Что, Мила, страшно тебе?»

Но сейчас она не смеётся, а робко улыбается Другу:

— Ничего, я почию её, машинку твою... А если и не почию, — невелика беда... Главное, что кончится этот твой ежедневный кошмар... А он там пусть как хочет... Кстати, на расстоянии бороться с ним легче — найдем управу, будь спокоен! И выселить его можно через суд, и на принудительное лечение пристроить... Главное — вдвоём... Слышишь, Дима? Да ответь же ты что-нибудь, не мучь меня!

Дима поднимает голову и пристально, словно бы с последним колебанием смотрит на собеседницу — Мила улавливает то, чего не понимает Бабушка: он хочет ей что-то сказать, но боится...

— Он убьёт тебя когда-нибудь, понимаешь — у-бьёт!

— Убьёт, говоришь? — усмехается Друг, и делает это как-то так неуютно, что Мила съёживается от его голоса и взгляда. — Может, и правильно сделает. Вот послушай, чувствительная ты моя, расскажу я тебе одну историю...

Глупости, думает Мила. Друг же не комар, чтоб его можно было так легко убить — вон какой большой! Убить — это когда ты его — хлоп! — и он не шевелится больше, и не живёт... И Бабушка так поступает с комарами, и она, Мила... Убить легко. Но только если тот, кого ты убиваешь, — очень маленький. Чтобы убить Друга, нужен кто-то настолько большой, что и не представить... Мила начинает задрёмывать, голову клонит вниз, жмурятся глаза... Голос Друга гудит, как далёкий шмель, — такой, как залетел однажды к ним в комнату через окно, — а Бабушка поймала его в полотенце и выпустила...

Мила и слушает, и дремлет — всё равно ей ничего, ничего не понять...

— Как могу я строго судить этого охламона, когда сам... Знаешь, тому уже больше полувека — а будто вчера... Мать снимала нам с сестрой дачу у залива, на южном берегу... Это сейчас там гнилое болото, а тогда ведь о дамбе и не слыхал никто... И вода была как хрусталь, — представляешь, захожу в воду по горло и отчётливо вижу собственные ноги и разноцветные камушки на рябом песке... Островок там имелся — метрах так в пятистах от берега, а у хозяина — лодка, за судаком ходить... Сынок его, одногодок мой и приятель, лихо с ней управлялся, так что ходили мы, бывало, аж до самого Кронштадта. Чуть не утонули вместе однажды — ну да это уже другая история... А сейчас я тебе рассказываю совсем не о том, а об одной нашей забаве, почти безобидной... До поры до времени...

— По крайней мере, колёса вы, я думаю, не глотали... — вставляет Бабушка (Мила озадаченно приоткрывает один глаз: она прекрасно знает, что такое колёса. Это такие круглые чёрные штуки, что крутятся под маленьким столиком, за которым Бабушка пьёт кофе, когда одна; конечно, Друг их не глотал — они бы даже в рот ему не поместились.) — И не кололись...

А вот Мила укололась однажды — ужасно! Наступила на что-то на полу, и вдруг всё тело пронзила острая, яркая боль! А как Бабушка тогда испугалась, даже закричала! Всё обнимала, целовала жалобно стонущую Милу и приговаривала: «Ах ты, девочка, девчоночка моя бедная! Синеглазка! Что ж ты укололась-то так сильно! Это я виновата, прости меня, глупую: уронила кнопку и не заметила!» Конечно, она теперь переживает, чтобы и с Другом её такого не случилось...

— Лучше бы кололись, — неприятно усмехается он. — Может, подошли бы — и вреда от нас никакого...

— Что ты говоришь! — пугается Бабушка. — Мне страшно!

— А я пока ничего и не сказал. Это, Ляля, только присказка была, сказка и не начиналась ещё.

Миле тоже страшно, хотя и неясно отчего. Она уже не спит — слушает, силясь поймать знакомые слова.

— Так вот, о забаве нашей невинной. Ну, почти... Ну, короче, мы познакомились на пляже с приезжими девушками — скажем так, не совсем строгого поведения, — то да сё, разговорчики, шуточки... Слово за слово, приглашали покататься на лодке... Те девчонки, что были поприличнее, отказывались плыть с незнакомыми парнями в открытое море, ну, а те, что соглашались, — их уж точно было не жаль... Так вот, привозили мы их на свой островок...

Бабушка вскрикивает, глаза её округляются, — но Друг досадливо машет на неё рукой:

— Да нет, нет, — не делай таких больших глаз... Дураки были, конечно, но не до такой же степени! Всё по обоюдному согласию... Если какая артачилась, то дальше поцелуев не заходило. Я ведь тогда уже в артисты нацелился, красавчик был хоть куда, девки сами на меня кидались, как на сахар... А я и правда походил на конфету... На этого... Ну, сладкого мальчика из Голливуда. Как его... Склероз, короче... Дожил... Нет, забава наша в другом состояла. Когда веселье подходило к концу, мы с приятелем моим перемигивались и под каким-нибудь предлогом уходили в кусты — обычно под самым, так сказать, банальным... Ну, а там быстро прыгали в лодку — и ходу. А девчонок бросали на острове, в чём были. Однажды удалось унести купальники, и девки вообще голяком там остались... Иногда они видели, как мы отплываем, выскакивали на берег, визжали, ругались... Ну а мы в ответ хохотали, конечно, и похабные жесты им делали. Страшного с ними ничего случиться не могло: кругом болтались рыбацьи лодки и, в конце концов, какая-нибудь их подбирала... Нам это ничем не грозило: о такого рода своих похождениях девушки в те годы предпочитали помалкивать. Рады были, что выбрались, — ну, а урок мог и на пользу пойти... Странно подумать — теперь им всем уже под семьдесят... А ты тогда только родилась ещё... — он замолкает и надолго задумывается.

Бабушка осторожно дотрагивается до руки Друга:

— Неприятная, конечно, твоя история, Дима... Но ведь в конечном счёте это подростковые шалости, не больше... Не стоит так себя из-за них...

Он вскидывается и смотрит на неё в упор, так что Бабушка начинает обиженно моргать, а Мила вся дрожит, хотя взгляд и не ей предназначен: она чувствует, как Другу больно, может быть, даже больнее, чем наступить на кнопку.

— И это, Ляля, представь себе, тоже всё ещё присказка, — шумно вздохнув, говорит он.

Бабушка хочет что-то сказать — и молчит. Она смотрит на Друга уже с настоящим испугом — таким, что Мила потихоньку сползает с собственного стула и бесшумно перебирается на другой, тот, что стоит рядом с Бабушкиным. Она сразу ощущает рассеянную тёплую руку у себя на плече, и ей становится поспокойнее.

— Ты даже Милу напугал, — вымученно улыбается Бабушка. — Говори уж всё, раз начал...

— Между прочим, — пристально смотрит на неё Друг, — я давно уже подозреваю, что твоя Мила понимает гораздо больше, чем ты ей разрешаешь... Это я так, к слову... Да, ну вот. Привезли мы туда однажды двух девчонок — чёрненькую и беленькую. И знаешь, интересные такие девахи попались, неглупые даже, с филфака обе. Поэтому провозились мы с ними дольше, чем с другими — в качестве прелюдии разные умные разговоры пришлось разговаривать. А и без того не рано было — уж народ с пляжа расходиться стал, волна поднималась, прилив обозначился... Небо заволокло... Хотя бы один из нас мозги включил и сообразил, что лодки-то давно к берегу идут, шторма бояться. Нет, выиграло ретивое... В общем, всё как всегда: отпросились «в кустики», к лодке бегом — и на вёсла... А девчонки и не заметили, кажется: сидели себе на полянке — там полянка такая укромная была, как специально сделанная, — бутерброды, наверно, жевали. И, главное, на берегу уже друган мой смотрит на меня с сомнением, да и предлагает — мол, может, смотаемся, заберём их? Дескать, штормит сильно, лодки сегодня могут больше не выйти, тогда нашим шалавам ночевать там придётся... А если ещё дождь... Но я злой был — на чёрненькую ту. Такой казалась аппетитной, опытной, глядела многообещающе... А лежала, извиняюсь, бревно бревном... «Ничего, — говорю, — пусть попрыгают. В другой раз умнее будут...» С тем и домой пошли.

— И что... — шепчет Бабушка. — Так никто и не подобрал их?..

— Нет, — хрипло отзывается Друг. — Я бы и не узнал об этом — да и интереса особого не было. Только разговор услышал — случайно, на автобусной остановке, когда мать в Ломоносов на рынок послала. Одна тётка другой рассказывала, что у соседей их — большое несчастье. Приехала внучка из Ленинграда — хорошая такая девушка, Валец звали, в университете училась, — да и пошла с подружкой на пляж купаться. А там два каких-то подонка — и носит же земля! — их в лодку заманили и на остров в море отвезли. Хи-хи, ха-ха — да и бросили там одних. Шторм начинался, лодки ни одной не было на воде. До берега далеко — не доплыть, да ещё в грозу. Девушки в одних

купальниках, плакали, звали — никого; только волны плещут и ветер воет. Так бы, может, и ничего — ну, страху бы натерпелись или простыли в крайнем случае... Да только у Валечки диабет был ужасный — утром и вечером сама себе инсулин колола... Стало ей плохо, а к утру — кома... Пока подружка до помощи докричалась, пока подобрали их, пока довезли да нашли, откуда «скорую» вызывать, — день уж настал... Так в машине и скончалась, бедняжка... Теперь соседка, вся чёрная от горя, собирается в Ленинград на похороны внучки... Тут автобус подкатил, тётки уехали, а я как стоял на месте — так и ноги приросли... И ведь, главное, не знал я — и не узнал никогда — откуда! — которая из них была Валечка. Моя или другая... Их звали — Валечка и Алечка — это я хорошо помнил, но какую — как... На острове недосуг было разбираться, а потом... А-а! — Друг машет рукой и замолкает надолго, обхватив свою склонённую над столом белую колючую голову.

Молчит, откинувшись на стуле, и Бабушка. Мила тревожно переводит взгляд с одного на другого, ей жутко, хочется спрятаться — почему? Убежать? А как же Бабушка? Друг внезапно смотрит на неё в упор и зычно рывкает:

— Клянусь — она понимает! Да ещё, пожалуй, и получше, чем ты! — Он с угрозой, как кажется Миле, оборачивается к Бабушке: — Ну что, трепетная моя? Передумала, небось, меня в сожители звать?

Бабушка ничего не отвечает, но крепко-крепко прижимает Милу к себе, словно они теперь вдвоём — против него, этого совсем не хорошего сегодня Друга...

Он встаёт:

— Мне пора. Считай, что я бросил вас с Милой на острове. Ляльку и Милку. Ждите — шторма-то нет: глядишь, и подберёт кто-нибудь...

Друг с грохотом отталкивает пустой Милин стул, словно живого врага, заступившего путь, и широким шагом направляется к двери. Это уже слишком! Мила с жалобным рёвом бросается в комнату, ныряет в их с бабушкой постель, прячет голову под подушку... Ничего, ничего... Сейчас Бабушка придёт и ляжет рядом, и не нужен им никакой противный Друг, который так страшно гудит и грохочет...

Ночь либо давно ушла, либо в этот раз и вовсе не приходила, а Бабушка и Мила всё лежат рядышком под одеялом — и нет ни одной из них покоя. В комнате светло, в открытой форточке — светло-синий ломтик неба. Обе бодрствуют, не могут найти себе удобного места, хотя Мила изо всех сил старается успокоить Бабушку: она то кладёт ей голову на плечо, то гладит лицо, то пристраивается у тёплого бока... Но Бабушка не обнимает её, не целует, как обычно, когда Мила ласкается, а с досадой отталкивает свою девочку, раздражённо бормоча:

— Спала бы уже. Надоела до смерти. — И добавляет сокрушённо: — Надо же, какой козёл. Нет, ну какой козёл, а? — Она ещё немножко ворочается, но вдруг садится и громко, удивлённо произносит: — Мила, мне нечем дышать... Совсем нечем! Мила!

Обеими руками, царапая шею, Бабушка оттягивает ворот ночной рубашки, громко, бурно тянет в себя воздух и сипло кричит:

— Мила! Задыхаюсь! Что это?! Мила!! А-а!!!

Словно чья-то невидимая огромная рука вырывает её из постели и бросает к окну. Часто и жутко дыша, Бабушка силится открыть его, но заедает шпингалет — и она начинает сипло выть, дико глядя перед собой и судорожно трясая гремящую раму, — а Мила уже рядом, пытается заглянуть в её мутные от смертного страха, словно подёрнутые сизой плёнкой глаза, и тоже в запредельном ужасе повторяет:

— Что с тобой?! Что с тобой?! Что с тобой?! — на самом-то деле у неё выходит: «А-ой!! А-ой!!! А-ой!!!»

Но вот окно распахнуто, со двора, уже вполне светлого, врывается тугая волна прохлады — но Бабушке не легче. Она теперь держится за грудь:

— Да это — сердце... Это сердце, Мила... — замирающим шёпотом свистит она и вдруг вся тяжелеет, цепляется за подоконник.

Мила не впервые слышит это слово — Бабушка часто говорила раньше, обнимая её: «Ух, и колотится же у тебя сердце, Мила! И как только не выскочит!» — и прижимала тёплую ладонь туда, где внутри у Милы трепыхалось что-то маленькое и неустанное, которое всегда играет и бежит в ней, даже когда Мила спит... Ещё это сердце как-то даёт о себе знать, если Мила чему-то очень радуется — там так сладко-сладко ноет, как будто ешь сгущёнку, и так пусто становится, когда обидно... или страшно... Да, Мила очень хорошо понимает, что такое сердце. Она и Бабушкино сердце не раз слышала, когда прижималась к ней: оно стучало ровно, гулко, надёжно... Должно быть, оно такое крупное, горячее... Мила почему-то видит его красным... Но что оно сейчас делает в Бабушке — это большое сердце? А вдруг оно выскочит и — убежит? Что тогда будет? Мила сразу решает, что если сердце сейчас выскочит из Бабушки, то она его поймает. Это просто: хватъ — как бабочку. Но не съест его, а сразу вернёт, потому что у неё уже есть внутри одно. Должно быть, она когда-то давно его проглотила...

Но Бабушкиного сердца нигде не видно, а сама она всем телом лежит на подоконнике, и Мила замечает вдруг, что и лицо её, и губы, и даже глаза — всё это точно такое же белое, как и рубашка... Бабушка отталкивается руками от рамы, еле слышно стонет:

— Нет уж, дудки, Мила... Я не умру — так... Одна... Слишком глупо... Не хочу... Не позволю...

Она делает шаг к кровати, шатается, прислоняется к шкафу... Её надрывное дыхание заполняет всю комнату, — Мила бросается на помощь...

— Не путайся под... ногами... дай... дойти... — хрипит Бабушка и делает ещё рывок, упирается локтями в спинку кресла...

Там она судорожно переводит дыхание, тянется к тумбочке... Телефон! Она хватает телефон, и её мотает с ним к двери. Бабушка ушибается о косяк, но он же и служит ей опорой... Чёрная коробочка у её уха...

— Дима... — голос Бабушки не похож на её собственный, и вообще на человеческий. — Вызывай «скорую»... Мне... Сердце... Сейчас попробую... открыть... Если... не смогу, — ломай...

Коробочка летит на пол, Мила кидается к ней, оттуда горит белый свет, и ещё слышны какие-то звуки.

— А-я-а! — громко зовёт Мила. — У-и-и! У-и-и!

А Бабушка уже в прихожей, она всем телом прислонилась к входной двери, что-то гремит, — и дверь вдруг подаётся наружу. Бабушка сползает по ней, опускается на колени, руки её уже там — в той, Другой, Жизни, куда Миле ходу нет. Там иной цвет и чужой запах, там опасно, оттуда приходят незнакомые люди, к этой двери Миле и подходить запрещено! Но Бабушка стоит на коленях, упираясь ладонями в пол, как раз поперёк заветного рубежа, голова её опускается всё ниже, ниже, вместо дыхания вырываются слабые всхлипы... Но Мила не убегает. Подвывая от страха, она стоит рядом с Бабушкой и ждёт, сама не зная чего...

Но вот поблизости раздаются быстрые шаги и знакомый голос. Это Друг, понимает Мила и отступает в квартиру. Он знает, что делать, сейчас опять всё окажется как прежде... Давай же, Бабушка, вставай, вставай! Но, увидев Друга, Бабушка не поднимается, а, наоборот, падает вниз лицом...

— Ляля-а!!! — басом зовёт Друг. — Лялечка, ты чего это?!!

В их маленькой квартирке происходит такое, чего раньше никогда не бывало... Вдруг появляются совсем незнакомые мужчины в синей, как дерево во дворе, одежде, они что-то делают с лежащей на диване Бабушкой, витает страшное, корявое слово «инфаркт», звенит стекло и железо, отвратительные запахи заполняют комнату... Но не это пугает Милу, забившуюся в кресло и всеми позабытую. Её пугает Тьма... Она не видит её, но чувствует, как она нависает над Бабушкой, растопыривается уродливым облаком над их безопасным диваном и набухает, набухает чернотой...

— Она выживет? Она выживет? — беспрестанно спрашивает Друг у всех мужчин по очереди.

А они рассеянно отвечают:

— Вроде должна...

И снова звякает железо и стекло, что-то падает на пол, и вдруг раздаётся Бабушкин короткий мучительный вдох.

— Лялечка, я здесь! — кидается к ней Друг, расталкивая мужчин.

Но они отстраняют его и мрачно спрашивают Бабушку:

— В больницу поедете?

— Поедет! — поспешно отвечает за неё Друг. — Ещё как поедет! А носилки у вас есть?

В комнате оказывается странная узкая кровать на высоких блестящих ногах с колёсами, мужчины вместе поднимают Бабушку и кладут сверху. Мила мельком видит её неузнаваемое маленькое лицо, повёрнутое к Другу:

— Мила... Ты — Милу... Нужен уход... Кормить... Там, в холодильнике... Ей нельзя одной... Ключи... — шелестит она.

Он машет на Бабушку обеими руками, будто ловит белых бабочек:

— Да разберусь я! Ничего с твоей Милой не сделается! Ты только ради Бога не волнуйся! Тебе нельзя волноваться!

И всё. Одна Мила. Нет Бабушки. И никого нет. Только День. Но он никогда ничего не говорит.

Друг возвращается нескоро, только когда снова пришла и исчезла короткая, совсем светлая Ночь. Ждала-то Мила, конечно, Бабушку. Она не могла представить себе её лица, но в целом образ в голове получался ясный: что-то большое, доброе и родное... Мила положила голову на Бабушкину подушку и так пролежала долго-долго...

Но вот дверь в прихожей кто-то открывает, слышится звяканье ключей... Мила не кидается, как всегда, навстречу, а, наоборот, прячется поглубже под одеяло, потому что знает, что это не Бабушка. Точно так же, как раньше, когда бабушка шла домой, Мила узнавала об этом задолго до того, как та подходила к двери. Так, ниоткуда. И было ей радостно.

— Мила! — слышен знакомый голос-шмель. — Где ты прячешься?

Ах, вот кто это! Мила выбирается из постели и резво соскакивает с дивана навстречу Другу. Она надеется, что он её покормит, — и, действительно, Дима сразу направляется к холодильнику.

— Вот такие дела у нас с тобой печальные, милая Мила... — говорит он, разрезая ей курочку на куски. — Инфаркт хватил нашу Лялю...

Она поднимает вопросительный взгляд. Лялю? Ах, да, этот глупый Друг почему-то так называет Бабушку. Значит, всё-таки Инфаркт схватил её? И унёс? И не отпустит? И что делать?! А если взять его и — пор-рвать?!

— Рр-ра? — спрашивает Мила.

— Рад? — усмехается Друг. — Да уж, конечно, теперь даже ты вправе обо мне так думать... И, главное, ещё сказал, урод, что бросаю вас на острове... Но, Мила, — я пошутил! Неудачно, разумеется... Почти как тогда... Но хоть ты меня мерзавцем не считай, ладно? Я вот что думаю: ты, хотя и молчишь, но нас как облупленных знаешь... И о каждом имеешь своё особое мнение... На вот, кушай, наголодалась, поди...

Мила опасливо ест, всё время прерываясь и оценивающе посматривая на Друга... Какой он необычный... Вот Бабушка никогда так длинно с ней не говорила... Он тоже откровенно изучает Милу:

— Всё-таки страшна ты, конечно, как смертный грех, — прости уж меня, старика... Но глаза... Любого за душу возьмут... Надо же, какая синь... Просто сапфиры... А сколько ума в них! И чувства! Только за них по гроб жизни влюбиться можно... Так что понимаю я Ляльку, ох, понимаю... Я вот что, Мила... Я обещал Ляле, что здесь с тобой проживу, пока она не вернётся... Могу я надеяться, что ты меня во сне не прикончишь? Могу, наверное: Лялька говорит, ты не буйная... Да и мне от моего Юрки-наркоши отдохнуть не мешает, а там... Вот отпустят её из больницы... Звала ведь она меня жить здесь, с вами, — а я ей... А я ей — инфаркт... Вот такое я дерьмо... Вот такое я дерьмо, милая Мила...

Это слово тоже давно в Милином словаре. «Я не нанималась за тобой дерьмо выгребать!» — кричит Бабушка, когда Миле случается покакать мимо туалета. Она озадаченно смотрит на Друга: какое же он дерьмо? Он человек. И она его почти любит.

— Что, удивляешься моей велеречивости? — спрашивает Дима и гладит Милу большой прохладной ладонью по голове, задевая её мягкие уши. — Привыкай: я артист — люблю монологи. Хотя... Не так уж и часто за мою карьеру приходилось мне их разучивать. «Что будете заказывать?.. Икорки к водочке не желаете?.. Приятного отдыха... Вашу даму просят к телефону... Прикажете такси вызвать?» — вот тебе, милая Мила, и вся моя нынешняя роль... Так что монологи теперь ты будешь слушать... Раз уж великий мой талант Родине не пригодился...

Мила совсем не против. Ей даже нравится этот гулкий рокот, а пуще нравится сам Друг. Она чувствует в нём такое же вечное смятение, какое постоянно ощущает в себе, — среди непонятных явлений, шумов, фраз... Она не такая, как окружающие, и он — не такой. В ней — тайна, и в нём тоже... И Бабушка... Которая их одинаково любит и не понимает — тоже одинаково. И которая одинаково им необходима...

Приходящая Ночь постепенно становится похожей на саму себя. Во всяком случае, она всё темней и ощутимей. Друг часто появляется позже неё, но когда кругом День, он почти всегда с Милой. Гудит и рокошет — она привыкла. Иногда они даже едят из одной тарелки. Так даже вкуснее. Спят они тоже вместе, как с Бабушкой, только во сне Друг иногда начинает громко рычать — и тогда Мила бесшумно перепрыгивает через него, забивается в кресло и испуганно смотрит оттуда, пока рычание не прекращается. Тогда Мила снова прокрадывается в постель и притуляется за спиной Друга. Она спит и ждёт. Даже во сне.

Однажды, когда День давно уже пришёл, а Друга всё нет и нет, Мила просыпается от странного чувства. Сначала она никак не может вспомнить, что это такое, но внезапно понимает: Бабушка! Это Бабушка! Она близко! Милу будто сдувает с постели, она бросается в прихожую, взад-вперёд мечется у двери. Ну, скорей! Скорей! Неужели она ошибается?!

Нет, Мила может ошибиться в чём угодно — только не в этом. За дверью раздаются голоса, звенят ключи...

— Ва-у-фа!!! — визжит Мила и с размаху бросается Бабушке на грудь. — Ва-у-фа!!!

— «Бабушка»? Ты сказала — «бабушка»?! — смеётся и плачет та. — Дима, ты что, тут без меня научил её говорить?! Ах, деточка, деточка моя...

Они целуются и обнимаются на пороге, а Друг с двумя большими сумками в руках смущённо стоит в сторонке и внимательно на них смотрит... Бабушка, наконец, отстраняет Милу и рассеянно взглядывает на него:

— Туда, в комнату, поставь, я потом разберу... Ну, спасибо тебе... — голос чуть срывается, но это заметно только Миле. — За Милу... За всё.

Она медленно кивает — и высоко вздёргивает подбородок.

— Мне уходить? — спрашивает Друг.

— Да-да, иди, конечно, — не глядя в его сторону, отвечает Бабушка.

Но Друг почему-то не уходит сразу, а с виноватым видом топчется на коврик у двери. Миле его вообще-то жалко, но сейчас ей не до него, — Бабушка вернулась.

— Так я пошёл? — зачем-то переспрашивает он, как будто и так не понятно. Но бабушка не оборачивается.

Их жизнь продолжается, как раньше. Нет, наверное, не совсем так, потому что Бабушка теперь не такая, как прежде. Она редко шутит с Милой, и сама никогда не бывает весёлой. Она теперь не стрекочет бойко, сидя у своего компьютера и гоняя маленькие чёрные штучки по белому, а долго-долго сидит без движения, уставясь в его большое светящееся окно и обхватив голову руками. Когда Мила робко подходит и утыкается носом в Бабушкино плечо, она рассеянно кладёт ей на спину ладонь и вздыхает. Иногда Бабушка стоит за белой занавеской на кухне — тоже подолгу, только обязательно выключив перед этим свет. Мила знает: в узкую щёлку она смотрит туда, на маленькое яркое окошко Друга. Может, он всё-таки там? — думает Мила. Но застрял — такой большой в таком крошечном — и теперь не может выбраться, чтобы прийти к ним? Вот застряла же она недавно за диваном и не смогла выбраться... Звала, пока Бабушка не пришла на помощь. А то так и стала бы там совсем неживая...

— Дура старая... — шепчет Бабушка, глядя на единственное светлое пятнышко во дворе. — Раскатала губу... Уж и до богадельни недалеко, а туда же...

Она возвращается к компьютеру и какое-то время, сжав губы и став такой строгой с виду, что Мила боится к ней приблизиться, упрямо и яростно щёлкает, щёлкает, щёлкает... Но вдруг щёлканье прекращается, и Бабушка с протяжным стоном роняет голову на стол. Мила в ужасе: Бабушкино сердце снова хочет убежать?! А Бабушка поднимает голову, и Мила поражена: всё её лицо мокрое! Где она взяла воду?

— Поделом мне, поделом! Вся жизнь моя — никчёмная! — громко говорит Бабушка; взгляд её падает на Милу. — Вот послушай, послушай! — она смотрит на горящее окно компьютера и протяжно произносит: «Глаза-а Сью-узан зажглись, как две-е голубые звезды-ы. Вильям прибли-изился к ней и заключил её в пла-аменные объ-а-тья. Бурная стра-асть подхвати-ила их на своё крыло-о — и они начали безу-умный танец любви-и...» Здорово, да?! — она вроде бы и смеётся, но так, что Миле становится страшно при виде такой неправильной Бабушки; она понимает, что смех — это другое, а тут... тут боль? Или даже что-то больше, чем боль?

— Почти тридцать лет занимаюсь этой чухой! — кричит-хохочет Бабушка. — С тех пор, как иняз закончила! И, представь, мне все завидуют! «Везёт же тебе — так удачно вписалась в рынок! И на работу таскаться не надо! Такую нишу захватила, счастливица!» А жизнь-то — псу под хвост! Шелудивому псу! Всё любовнички, любовнички... Один раз могла ребёнка родить — не стала, сдрейфила! «Эх ты, — врачаха сказала, — ведь у тебя девочка была...» Сейчас она

уже взрослой стала бы... Уж и внуков бы, наверно, мне родила... Приходила бы, навещала старуху... Говорила бы: мама!

— Мм-аа... — силится повторить Мила.

— Вот-вот! — зло смеётся Бабушка. — Дожила до девочки, нечего сказать!

Теперь Мила видит, что вода льётся прямо у Бабушки из глаз... Что это? Разве так бывает? Вода на кухне, в кране... И в ванной... Откуда она в глазах?

Люди приходят к ним всё реже и реже. Часто бывает только одна посторонняя Бабушка — та, что самая маленькая из всех, знакомых Миле. Они с Бабушкой сидят в комнате за низким столиком, пьют, к счастью, не кофе, а что-то светлое, в высоких прозрачных стаканах на длинных ножках.

— Слушай, а тебе после инфаркта не трудно с ней? — показывает она на Милу. — Ну, за ней ведь уход какой-то там нужен, готовка... А ты вон еле двигаешься, да ещё переводы на тебя навалились... И вообще... Может, действительно, отдать её пока?

— Что ты! — пугается Бабушка. — Она мне сейчас больше нужна, чем даже я ей! Без неё я бы уже, наверное, подохла тут, а она меня только и держит... И какой такой особый уход? Она у меня чистоплотная, сама за собой ухаживает... А готовка... Да мы с ней почти одно и то же едим...

Мила тем временем подозрительно оглядывает Бабушку со всех сторон: где они, эти Переводы, что на неё навалились? Так обычно делает только сама Мила — во сне. «А ну, отодвинься, — отталкивает её иногда Бабушка. — Ишь, навалилась на меня!» Никого на Бабушке не видно, и она успокаивается, но вдруг вздрагивает, услышав:

— А что этот Дима твой, друг так называемый? Взял и бросил тебя в таком состоянии? Так и «покинул на острове»? Хорош, нечего сказать...

— Не хочу о нём говорить, — Бабушка вяло отставляет стакан. — Не состыковалось. Всё. Проехали.

— Конечно, кому охота оказаться с такой уродицей под одной крышей... — бормочет себе под нос Маленькая Бабушка, неприятно косясь на Милу, когда настоящая Бабушка уходит на кухню за сыром. — Разве только глаза...

Миле тоже дают пахучий кусок вкусного сыра, и она ревниво уходит с ним к окну, взбирается на подоконник и смотрит во двор.

Уныло машет ей многорукое синее дерево под синим же небом среди жёлтых стен, кто-то выходит из противоположной стены и идёт через двор. Мила подскакивает: это Друг! Отчётливо видна его белая, даже на вид шершавая голова. Мила часто замечает его в последнее время — и каждый раз, проходя мимо, он с улыбкой кивает ей. Приостанавливается, грустно смотрит в сторону их квартиры и вздыхает, а потом быстро-быстро исчезает с Милиных глаз. Иногда он, должно быть, что-то произносит, Мила не слышит, но догадывается, что он зовет её по имени. «Р-ру! — отвечает она всякий раз, утыкаясь носом в стекло. — Рр-уу!»

— Клянусь, Лялька, она говорит «друг»! — смеётся Маленькая Бабушка. — Может, он сейчас у тебя под окном стоит и плачет. Ромео хренов...

— Перестань, — морщится Настоящая. — Не смешно.

В этот раз у Димы в руках большая корзина — точно такая же стоит у Бабушки высоко под потолком в странной норе под названием «антресоли». Она однажды свалилась оттуда и чуть не зашибла Милу — та едва успела отпрыгнуть, а Бабушка подняла упавшую штуку и отругала: «Надо же, какая мерзкая Корзина — едва не угробила мне Милу!» Мила не понимает, для чего Корзина нужна Другу — такая большая и некрасивая... Она и Бабушке-то ни на что не нужна, просто живёт зачем-то на антресолях, и Бабушка её не гонит, потому что добрая...

Маленькая Бабушка прощается, когда Друг со своей Корзиной уже прошёл через двор обратно и опять на ходу улыбнулся Миле. В Корзине у него что-то лежало, прикрытое синими листочками... Непонятно... А тем временем Милина Бабушка ложится спать. Раньше она никогда не спала, пока не появится Ночь, а сейчас... Другая, совсем другая стала её Бабушка. Миле спать не хочется: за окном так ярко, тепло, интересно... Хотя чувствуется, что День уже собирается уходить... А что, если... Она внимательно смотрит на Бабушку: та дышит сильно и ровно, лицо её спокойное и белое... Тогда Мила на цыпочках, очень тихо, но решительно идёт на кухню. Дело вот в чём: Бабушка забыла закрыть там окно. И решётку тоже не задвинула: лила зачем-то воду из чайника на свои цветы в узком деревянном ящике, а потом позвонил в комнату телефон, она оставила всё как есть и больше в кухню не вернулась. Значит, можно вылезти во двор и успеть добежать до Древа — давно уже хотелось посмотреть на него поближе и потрогать, если позволит. А то они только машут друг другу, машут — и никакого толку. И вообще посмотреть, что там есть интересного... Вот, например, голуби... «Гуль, гуль, гуль!» — зовёт их иногда бабушка и сыплет за окно крошки. Голубей сразу становится много-много, они давят друг друга во дворе на полу и булькают, как вода в раковине... А Мила неизвестно отчего начинает волноваться, и во рту становится мокро-мокро... Однажды она уже сбежала из дома — но Бабушка не спала и поймала её. Вот когда Мила узнала, что такое «получить по попе»! Такой сердитой она Бабушку не видела ни до, ни после, а уж как больно было! Но сейчас Бабушка спит, значит, ничего не узнает, а Мила успеет вернуться до того, как она проснётся...

Мила — храбрая девочка. Бабушка часто ей это говорит. Храбрые девочки не боятся. Но Миле всё-таки не очень уютно. Во дворе странно пахнет: не то приятно, не то противно — ей так сразу не разобраться... Спрыгнуть вниз — не проблема, совсем невысоко над полом. Надо же, какой жёсткий здесь пол, совсем не такой, как в их квартире... Она опасливо идёт прямо к дереву, залезает на скамейку... Подходит и осторожно прикасается к нему подушечками пальчиков, хочет погладить... Но оно холодное и твёрдое, неприятное на ощупь. Неживое! — понимает Мила. Надо же, а так приветливо махало руками... Слегка разочарованная, она хочет идти дальше — но тут из той жёлтой стены, в которой обычно исчезает Друг, выходит высокий парень с лохматой головой. Мила не раз уже видела его во дворе — это Ублюдок. Когда Друг ещё ходил к ним с Бабушкой, он не раз показывал в окно на парня, быстро идущего через двор, чтобы пропасть всё в той же стене: «Опять, кажется, ширнулся, ублюдок», — говорил Друг и отворачивался

от окна. Мила ясно видела на его лице такое же выражение, какое было у Бабушки, когда она вытаскивала неживую бабочку у Милы изо рта...

Мила на всякий случай прячется за дерево, потому что ей и близко не надо рассматривать Ублюдка, чтобы понять: он злой. И опасный. Он может сделать так, что она станет неживая — как это дерево. Или та бабочка. Или как она сама делает неживыми комаров. Он садится на скамью и достаёт откуда-то такую же чёрную коробочку, как у Бабушки, — телефон. Держит его у щеки и говорит: «Ну, где ты? Далеко ещё? Он уже чистит свои грибы! Ладно, быстрее давай копытами шевели...» Мила подглядывает из-за дерева и дрожит. Ей хочется убежать, быстро залезть в своё окно и смотреть уже оттуда, из недостижимого места, — но страшно показаться Ублюдку: вдруг он успеет схватить её? А Ублюдок тоже дрожит: дрожит его большая нога, закинута на другую, дрожат руки на спинке скамьи, дрожат большие синие губы... Неужели ему холодно? Кругом ведь так тепло — даже для Милы, которая обычно мёрзнет! Но во дворе откуда-то появляется незнакомая женщина — не из Бабушек, молодая. Такая, как Ублюдок. Озираясь, словно ожидая, что кто-то на неё набросится, она быстро идёт к скамье — и Ублюдок вскакивает навстречу.

— Принесла? — отрывисто спрашивает он. — Дай сюда!

Мила хорошо знает это слово («А что я тебе принесла, девочка моя! Смотри, какая вкусняшка!»), оно всегда означает что-то очень-очень вкусное в руке у Бабушки. Неудивительно, что Ублюдок с таким нетерпением кидается к Женщине. Миле хочется увидеть, чем она его сейчас угостит, — она почти вся высовывается из-за дерева. Женщина отшатывается и вскрикивает:

— Это ещё что за каракатица?!

Ублюдок нетерпеливо отмахивается:

— Не обращай внимания. Она ничего не сделает. Безобидная и тупая, как пробка. Только выть умеет гнусным голосом — и всё. Именно из той квартиры, куда мой лох полгода пробегал. Я уж надеялся, что та баба его к себе заберёт. Как бы не так — отшила по полной... Сидит он теперь на кухне, курит и страдает... Юный Вертер, блин... Смотреть противно. Ну, показывай!

Женщина протягивает Ублюдку что-то маленькое и белое. Приглядевшись, Мила с удивлением понимает, что это — гриб. Похожий на те, что приносит иногда домой бабушка в прозрачных коробках, готовит на сковородке и ест горячими. Мила один раз попробовала («Это гриб, Мила, но тебе, наверное, не понравится», — и точно, не понравился). Вкуса никакого. И запах отвратительный.

— Чуть не чокнулась, пока по лесу моталась. Думала, не найду уж — редкость всё же большая в наших краях, — рассказывает Женщина. — Плюнула было, домой собралась не солоно хлебавши и тут смотрю — растёт себе... Как на картинке в справочнике грибника: аманита фаллоидес.

— Чего? — удивляется Ублюдок.

Миле тоже непонятно.

— Бледная поганка. Как и обещала. Одним грибом целую свадьбу угрохать можно, а не то что одного старпёра, — гордо говорит его знакомая.

— На вкус — точно не горькая? — деловито спрашивает Ублюдок.

— Точно. У неё вообще нет ни вкуса, ни запаха. И когда её съедаешь, поначалу кажется, что у тебя только лёгкое несварение, поэтому к врачу никто не обращается. А зря. Потому что второй — и последний — раунд начинается через несколько дней, когда спасти человека уже нельзя. Почки, печень — всё разом накрывается. Белая Смерть — в чистом виде. Покруче герыча! А если сам собирал и сам готовил... Какое тут убийство... Любой ошибиться может. Никто не застрахован. Кушайте, дедушка Дима, лучший наш друг... И хватит, наконец, вонять на нашей площади...

Мила вздрагивает: Дима, Друг... Так это ему, выходит, принесли гриб, чтобы угостить? Эта Женщина так любит его, что носит вкусняшки? Мила бесшумно крадётся вдоль скамейки, чтобы получше рассмотреть гриб: вдруг действительно вкусный, и ей перепадёт от него кусочек? Хотя самый маленький!

И тут она словно натывается на стену. Она не видит ничего нового, но её будто прошивает насквозь противная тягучая дрожь. Тьма — вот что это. Бесформенная, безжалостная, она невидимо зависла над этими двумя, что шепчутся на скамейке, не чувствуя её. Точно такая же, как висела тогда над Бабушкой, когда сердце её почти выскочило... А выходит она — из маленького белого гриба, с которым они что-то делают... Тьма растёт, растёт, накрывает их, вот-вот дотянется до неё, Милы... Проглотит всех — и её, и Ублюдка с его Женщиной, и Друга, и Бабушку... Но они совсем ничего не замечают:

— Я не хотел до такого доводить, вот этой дозой клянусь! — шепчет Ублюдок, быстро показывая Женщине что-то маленькое и блестящее.

— Тогда точно верю, — легонько усмехается та, внимательно на него глядя.

— Но сколько ж можно! — горячится Ублюдок. — Поселился в чужой квартире и живёт, живёт... И в ус не дует! А ведь он мне — посторонний! Бабка когда-то вышла за него и сдуру прописала — свою квартиру он, видите ли, первой жене оставил из благородства... А я здесь с младенчества прописан, между прочим! Потом бабка возьми да помри в одну минуту — а он нет чтобы убраться! Если б благородный был — так бы и сделал! Впаривает мне: куда, мол, я пойду — в подвал? А мне-то какое дело! За тридцатник перевалило, а всё у родяков тусоваться должен?! Вот и мечусь меж двух квартир, как придурок. Ни тебе ширнуться нормально, ни кирнуть, ни с шоблой посидеть по-человечески... Ни с бабой поселиться... Надоело! Надоело! Надоело! — взвизгивает он тонким противным голосом, а по лицу у него бежит вода, как недавно у бабушки.

Женщина хватается Ублюдка за локти, мгновенно суёт ему что-то в рот:

— На, проглоти. Иначе руки трястись будут. И давай отправляйся уже — чуешь, как грибами с луком из окна тянет? Значит, тушит их всюю... Только тихо смотри, не буянь там хоть сегодня. На кухню к нему спокойно зайди — вроде воды попить. Он тебя терпеть не может и сразу уберётся... А ты очень быстро поднимаешь крышку и бросаешь в сковороду кусочки поганки. И главное — не забудь, понял? — руки сразу вымой средством для посуды! Чтoб скрипели, ясно? Не то оближешь их, сдохнешь — и никакого тебе больше ширялова. И кира тоже. Дотумкал, горе моё? Повтори!

— Что я — конченный?! Простых вещей не секу?! — истерично возмущается Ублюдок. — Лапы убери от меня, невеста!

— Да, невеста! — с нажимом говорит она. — Обещал расписаться — значит, распишешься. Долг платежом красен. Откуда ты знаешь, может, я тоже хочу в замужних дамах походить, как твоя бабка на старости лет... Шучу. Лети давай, сокол.

Они расходятся в разные стороны — Женщина бросается в какую-то шель между высокими стенами — и нет её; Ублюдок исчезает там же, где раньше пропал и Друг. Тьма ещё немножко висит над скамейкой, словно раздумывает, а потом незаметно тянется вослед...

Мила одна во дворе. И сердце её, кажется, сейчас выскочит и убежит, — как собиралось и не сделало Бабушкино... Бабушка! Вдруг она уже проснулась и увидела, что Милы нет?! Тогда уж «по попе» не избежать — проверено... Мила оборачивается на своё настежь распахнутое окно — странно! Окно теперь, кажется, сильно уменьшилось — как она пролезет в него, когда будет возвращаться? А окно Друга, наоборот, выросло — может, заглянуть туда? Оно тоже открыто, а решётки и вовсе нет... Мила вертит головой туда-сюда, не зная, на что решиться... Вдруг она опять замирает и вся холодеет: снова эта Тьма! Её, как обычно, не видно, но Мила знает: она там, за окном Друга! И стала ещё плотнее и гуще, чем когда висела во дворе. Тьма пришла за Другом, отчётливо понимает Мила. Пришла и заберёт — вместо Бабушки, ведь её-то забрать не удалось! Тьме помешать нельзя — она такая. Она обхватит Друга чёрными лапами и вытащит из него что-то важное, без чего он станет неживой. Как комары. Как дерево. Как бабочка. Как вон тот голубь, что валяется под ближней стеной... И Друг больше не станет ходить через двор со своей большой белой головой и улыбаться Миле... Мила такая маленькая, глупая и некрасивая — что она может против Тьмы? Надо бежать домой, прижаться к Бабушке — и всё снова станет хорошо... Но Мила решительно поворачивает к окну Друга. Вот оно какое, оказывается, громадное! Теперь понятно, как Друг туда помещается. И ей забраться легче лёгкого. Только Мила хочет подпрыгнуть, чтобы уцепиться за подоконник, как рядом что-то грохочет, и она в ужасе прижимается к стене. Это опять Ублюдок. Ах, вот откуда он взялся! В стене, оказывается, тоже есть дверь! Но напрасно Мила так пугается — Ублюдок даже не смотрит в её сторону. Обдав её химическим смрадом, он наискось мчится через двор и пропадает. Отлично, путь открыт! Прыжок — зацепиться — подтянуться... Ещё легче, чем казалось, — и вот Мила уже на подоконнике, осторожно заглядывает внутрь. С первого взгляда ей ясно: это кухня. Почти такая же, как у Бабушки. Этот большой белый ящик — холодильник. А вот и кран с водой. Мила осторожно ступает на стол — и чуть не падает с него: Тьма прямо здесь, рядом! Её не видно, но она — живая! Она тоже сейчас смотрит на Милу и решает: схватить её или нет? На миг Милу парализует ужас, но сейчас же она вспоминает: Тьма пришла не за ней. Пока не за ней... Злое тёмное облако висит над большой серой коробкой, что стоит на полу и называется «плита». На плите, как и на такой же Бабушкиной, горит маленький синий огонь, а на нём тихо булькают в глубокой сковороде грибы. Это и проверять не нужно — невкусный запах,

хорошо знакомый Миле, заполняет всю кухню... Тьма торжествует. Она как-то связана с этим запахом, чувствует Мила.

Надо её убить. Как убила бабочку. И могла бы убить голубя. Правда, Тьма гораздо больше — ну и пусть...

Мила больше не думает — она с размаху бросается на сковороду, та с грохотом летит на пол, Мила — на неё. Она поскальзывается в склизких кипящих грибах, падает боком в эту зловонную дымящуюся кашу — и тут оскорбленная Тьма нападает сверху. Бежать некуда — дверь закрыта! Мила катается по полу, воеет и визжит от нестерпимой боли, о которой даже не знала, что такая бывает — красная, невероятная! — случайно опирается о перевернутую сковороду — и этого уже нельзя вынести... Она слабо хрипит последний раз, успевает услышать голос Друга: «Мила, ты?!! Господи!!!» — и Тьма накрывает её разом...

У Бабушки в комнате светло от длинной рогатой люстры, висящей над круглым столом. У Милы ещё саднит всё тело, больно пошевелиться — но эту боль уже вполне можно терпеть. Бока, грудь, плечи, ладошки — всё туго обмотано какими-то узкими белыми тряпочками, из-под них струится странный дурманивший запах, и всё время хочется содрать их. Но охота сразу пропадает, как только Мила натывается на строгий Бабушкин взгляд. Впрочем, строгий он только когда хочется сорвать тряпки, а так — Бабушка только и делает, что улыбается, хвалит Милу и говорит ей ласковые слова:

— Милая! Умница ты моя! Героиня!

— Красавица наша синеглазая! — подхватывает Друг. — Сколько в тебе грации! Хм... Просто нужно суметь увидеть...

Он сидит за столом, и Бабушка наливает ему в чашку отвратительный кофе. Ну и пусть. Мила всё равно любит их обоих. Она вытягивает шею, осторожно кладёт голову на стол, прислушивается и всматривается, иногда шурясь от удовольствия просто видеть их и слышать их голоса.

— Ну, продолжай, продолжай, — тербит Бабушку Друг. — Всё-таки дал, значит, показания... И что — вот прямо так и признался? Сам?

— А куда бы он делся, — поводит плечом Бабушка, садится рядом с Другом и берёт себе другую чашку. — Сутки без дозы. Тут и... этот... допрос с пристрастием... не нужен.

— И как ты только догадалась отправить на анализ те грибы с полу! Я бы просто выбросил их — и дело с концом, — восхищённо смотрит на неё Друг.

— Ага... И эти сволочи отравили бы тебя в другой раз... — мрачнеет Бабушка. — Видишь ли, я знаю, что Мила моя — не хулиганка. Она не могла просто так взять и нашкодить — не тот характер. Пусть она и не говорит — но мне иногда кажется, что разбирается в этой жизни лучше, чем я... И раз она ни за что не хотела, чтобы ты ел те грибы... Ты же сам говорил: она вопила от боли и каталась в них — но не убежала, когда ты открыл дверь! Значит, она знала, что там — опасность, и хотела показать тебе это. А может, видела, как твой Юрка сунул что-то плохое в сковороду... Не допросишь же её в полиции... А жаль, право... Ну а потом, когда я позвонила Катьке...

— Я так и не понял, Катька — это которая? Дылда такая, от неё ещё духами французскими разит? — спрашивает Друг.

— Да нет, Дима, — морщится Бабушка. — Которая дылда — та физик-ядерщик. Мы все тут с одного двора и школу вместе окончили... А Катька — наоборот, самая маленькая. Ну, помнишь, мы ещё её весной в Мариинке встретили?

— Это та вот... Дюймовочка в шляпке... Вся в колечках каких-то, бусиках... Пол-ков-ник по-ли-ции? — весь подаётся вперёд Дима. — Ты чего — шутишь, да?

— Нисколько! — выпрямляется Бабушка. — Больше четверти века оперативной работы. Только последние годы на руководящую должность перевели — тоскует... Раскрытым убийствам счёт потеряла. А тут... и раскрывать нечего... Экспертиза сразу показала: яд бледной поганки. В том лесопарке, где ты шампиньоны свои собираешь, она отродясь не водилась. Значит, подложили... И шансов у тебя не было. Так что, если б не Мила...

Бабушка и Дима дружно поворачивают головы в её сторону.

— Я опять забыл, — виновато говорит Друг. — Как эта порода называется?

— Сфинкс петерболд. Если по-русски — Петербургский лысый сфинкс, — улыбается Бабушка и нежно смотрит на Милу; та благодарно шевелит кончиком своего длинного голого хвоста и настраивает огромные уши-локаторы так, чтобы лучше слышать любимый голос. — «На лицо ужасные, добрые внутри...» Разновидность сиамских — а ведь это ещё и самые умные кошки в мире!

Друг берёт руку Бабушки и подносит к своим губам. А Бабушка склоняется над его колючей белой головой и отважно её целует.

26 марта 2016 г.

Букино

Игорь Корниенко

Безделушки, или Сливовая косточка

Рассказ

Зимой и летом всегда с приветом?

То было время загадок, время поиска ответов, весёлое время, которое теперь, спустя без малого целую Вечность, вспоминаешь с тоской, тёплой, саднящей душу грустью...

Зимой и летом... Сколько нам тогда было, не больше десяти точно. Мне кажется, ещё и десяти не было, только закончил начальную школу, готовился к переходу во взрослую жизнь — в четвёртый класс, когда услышал эту загадку и узнал на неё ответ, вернее, даже не узнал, увидел.

В то лето проложили свою секретную дорогу в тринадцать счастливых остановок на электричке от главного вокзала до искусственного, рукотворного моря, море своими руками — уже захватывающе, не правда ли?! А там пляж с водой, меняющий цвет в течение дня от бело-серого до кислотно-зелёного, чёрного, и куча тайн... Но главная тайна, всем тайнам тайна, тайна тайн ждала впереди.

Колька Слива и загадал загадку чик-в-чик на остановке Звёздная, а на Юности ответ зашёл в наш везучий, во всех смыслах слова, всегда последний, вагон.

Похожий на двуногий пень, плотно сбитый мужичок с ноготок, обвешанный всяко-разными побрякушками: брелки, календарики, ручки, зажигалки, свистульки, игральные карты, маски животных и политиков, хулахупы и, рань господня, мечта мечт — кисточка для чистки пупка.

Он нам тогда казался древнүчим стариком, хотя на деле ему точно было под пятьдесят, ну не больше шестидесяти уж точно. Детство — время без возраста: ты либо молод, либо...

Корниенко Игорь Николаевич — прозаик, драматург, художник. Родился в 1978 году в Баку. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии В.П.Астафьева (2006), драматургического конкурса «Премьера 2010», литературного конкурса им.Игнатия Рождественского (2016), Шукшинской литературной премии (2019). Участник проектов АСПИР. Живёт в Ангарске. Постоянный автор «ДН».

Зимой и летом неизменно в чём-то невзрачно сером, пряча глаза, и без того еле видимые щёлки, скупые жесты и гуканье вместо слов, исторически считалось, по умолчанию, продавец глухонемой с рождения, а мы таки верили, что ответ Безделушника смертельный. Его ответ, голос его, будет последним, что ты услышишь в своей жизни.

— Умрёшь на месте или узнаешь точное время, когда коньки откинешь, и умрёшь по предсказанному, услышанному, — заверял Слива. Колька, когда не крутил всем без разбора носы, ловко орудуя средним и указательным пальцами, говорил дельные вещи и на вопрос, почему Безделушник с приветом, отвечал со знанием дела: — Все мы не без приветов, но у таких вот, жизнью обиженных, привет особый, никогда не знаешь, что от них ожидать... За этим Безделушником он буквально по пятам ходит, привет этот. Это же чувствуется, с ним всегда приходит какое-то напряжение, неуют, неудобство, люди в вагоне затихают — разве не замечали, — даже мы смолкаем и не шушукаемся...

— Точно-точно, дело Слива говорит, — поддакивали мы, четвёрка друзей, Хорошисты С Фабричной Улицы — так мы себя называли: Слива, Чиж, Киря (он же Шварц, особенно когда в очках а-ля Терминатор, особенно в пасмурную погоду), и я — Лоб, иногда Череп, Голова, Ленин.

Тайные имена, прозвища, по существу не такие уж и тайные, но жизненно, как мы считали, необходимые в общении в той же электричке по дороге к морю. Незнакомцы не должны знать наши настоящие имена, особенно их не должен узнать Безделушник. Похитит твоё имя, а следом и твою душу, твою жизнь, и безымянный продавец безделушек станет тобой.

Я, как ответственный за всё мистическо-таинственное, перестраховочно добавлял:

— Похитит не похитит, но лучше при нём помалкивать, ведь не зря и мы его имени не знаем, и он не просто так молчит. Зимой и летом... Притворщики — самые страшные люди, как говорится, двуликие, волки в овечьих шкурах, от лукавого, врут не краснея, меняют лица как маски, могут притвориться другом, родственником, даже родителем...

— Во-во, моя мать точно из притворщиков, зуб даю, — в сотый раз клянётся Слива, — таких притворщиц ещё поискать надо: пьёт, сколько себя помню, с утра уже в стельку, а говорит, болеет, таблетки это такие, говорит, депрессия, говорит, и отец верит, и все верят, у неё эта депрессия с моего рождения, я — её депрессия, одним словом, одной буквой. Притворяется матерью, через силу сыном называет, я же вижу, чую... Молодость у неё похитил я, планы порушил, пожить не дал свободно, погулять вдоволь, все дела...

Со Сливой спорить себе дороже, да и кто видел тётю Лизу, скажет со стопроцентной гарантией, что с ней что-то не так, что тётя Лиза скорей зомби, оживший мертвец, чем человек: волосы паклями на лицо, голова болтается в районе груди, походка как у жмуриков из фильмов — подтаскивая за собой то одну, то вторую ногу, колышась, будто с помощью ветра только одного и перемещается; куда ветер дует, туда идёт... А вот папа Чижа не притворщик, и похожий на птичку и фамилию, шуплый и сутулый Вася Чижиков считает,

что лучше бы отец притворился, а не появлялся и не валялся пьяным в самых неожиданных общественных местах:

— Это из-за стыда, из-за отца я такой, никак не оперюсь, не распрямлюсь, не зарычу как следует, — он своей пьянкой тотчас прижмёт, заткнёт, задавит. А вечно Чижом быть — уж лучше не быть совсем. В петлю, как дядя Гена, папин брат, он не то что батя был: не пил, спортом занимался, песни писал и на гитаре играл...

Кирилла воспитывает бабушка, бывшая директор дома интерната, прозванная воспитанниками Сталин В Юбке, и родителей своих Кирия не помнит, погибли в пожаре, не видит на фотографиях, всё сгорело, и на могилах вместо овалов ржавеющие чеканки еловых веточек. Строгая бабушка и очки под голливудского актёра отменила бы, узнай про невинный фетиш внука. Бабушка знает, как спасти Россию и молодёжь: железный занавес, ответственность и честность, вот как! И чем старше мы становились, тем больше соглашались с бабушкой Шварца.

У меня с родителями, тыфу-тыфу, всё складывалось, папа сказал ещё в первом классе «если почувствуешь, что мы отдаляемся и не такие друзья, как раньше, скажи, и мы во всём разберёмся и всё наладим». Налаживала, правда, всё всегда мама, как в отношениях, так и в квартире:

— Чинить — это у меня от твоего деда, — растолковывала, — он научил и как кран на кухне поменять, и первую помощь оказать...

Да и по-честноку, мама была куда большим другом, чем папа, на одной волне, так сказать, она и загадку разгадала:

— Пообещай только подальше держаться от этих побрякушников-безделушников и не связываться! С приветом они или без, но что все они на одно лицо — факт. Мне кажется, что девчонкой я его видела, что сейчас... Мы с подружками тогда верили, что они, эти немые торговцы, детей воруют, и как увидим, так давай хором причитать про себя, а бывало, от страха и вслух, специальное выученное заклинание, откуда уже его взяли не помню, но помню до сих пор слово в слово.

И мама, сделав серьёзное лицо, читала заговор:

— Соль воришке на глаза,
Соль на больные телеса,
На сердце злое, на дело лихое.
Пусть станет его сердце тестом,
Пока не вернётся всё добро на место!
И ныне, и присно, и во веки веков! Аминь! —

Поплевала через плечо. Пояснила:

— Потом, как прочитаем, обязательно поплюём в его сторону и вроде как успокоимся, и страх улетучивался, и уже думаем, пусть только подойдёт, сами его похитим...

Мама смеялась, я записывал по памяти заклинание, переспрашивая, уточняя, запоминая, вдруг пригодится.

«Вдруг» — попутчик тех времён: «вдруг, откуда не возьмись» и «как вдруг», случалось, появлялось, меняя всё вокруг — ход времени, событий, дел... Мы зависели от этого самого «вдруг», весь наш мир вертелся-кружился, строился вокруг «вдруг»...

Зимой и летом, весной и осенью всё случалось вдруг.

Возвращаясь командой Хорошистов С Фабричной вечерней электричкой, уже в четвёртом классе поздней осенью второй четверти, мы и забыть забыли о Безделушнике, как вдруг гудящий-галдящий-вопящий всю дорогу вагон притих, колёса и те застучали не громче наших мальчишеских сердец.

Неведомая, невидимая сила из тревоги и опасности с появлением торговца заполнила живые тела людей и мёртвую конструкцию железнодорожного несущегося во тьме состава. Цепной страж Цербер и повелитель немого юродивого — привет, что зимой и летом всегда рядом, отворачивал лица к тёмным окнам, заставляя сжимать кулаки, зубы, души... Напряжение натягивалось тишиной, запущенным сквозняком, шаркающими шагами Безделушника, его шумным, хриплым дыханием и звяканьем побрякушек...

Сиденье рядом с Кирей и Чижом пустовало, туда и свалил кучу сверкающего всяко-разного товара глухонемой знакомый незнакомец, не мешкая, заученно, по инерции прошёл в следующий вагон.

Я не сообразил что к чему, но через мгновенье друзья вскочили:

— Выходим! — дёрнул за локоть, потянул нежданно и непривычно взволнованный Слива.

Кирия с Чижом уже бежали вприпрыжку к тамбуру, противоположному тому, в котором скрылся Безделушник, хохотали, Чиж, успел я краем глаза увидеть, — спрятал за пазуху пёстрый рулон из свёрнутых в трубку глянцевого журналов.

— Так три остановки ещё?!

— Пешком дойдём, быстрее будет, — бросил мне Кирия, подмигивая и хлопая себя по вздувшейся, как у настоящего Шварца, квадратной груди, — поровну поделим, там, кажись, и кисточка для чистки пупка есть!..

Чистилки не оказалось в наспех схваченной Кирей охапке сувениров-финтифлюшек, зато нашёлся «мешок кота в мешке», пустой на ощупь мешочек, с ладонь, из грубой мешковины, завязанный на сотню узлов такой же дерюжной тесёмкой.

— Когда надо, там что надо, то и появится, в этом котомешке, ты, главное, щупать не переставай, — хихикнул Кирия, — зыкани, получше же, чем кисточка для пупка. Чижу вон дурацкие сканворды-кроссворды достались, теперь вопросами нас, как хорёк куриц, задерёт до смерти...

Не сопротивляясь, сунул мешочек в карман и не стал рассказывать, что увидел, когда уже бежали по перрону прочь от электрички — как Безделушник смотрел в окно и улыбался, страшной злой улыбкой-оскалом — «попались».

«Попались», — хлюпали лужи под ногами. «Попались», — шлёпал морозящий дождь. «Попались», — шуршали листья, шумел ветер в ушах...

С того вечера Безделушник поселился в наших снах.

В моих он чаще всего выбирался из котомешка, который я потерял, похоже, там же, на перроне, в суматохе бегства, сунув мимо кармана. Выкарабкиваясь из крохотного мешочка, он рос на глазах, покрытый сплошь чёрной (кошачьей?) шерстью, с блестящими стеклянными шариками вместо глаз, нос пуговица, улыбка — битые стёкла ёлочных игрушек.

— Попался.

Только он не говорил этого, это слово кричало во мне, его я кричал во сне и с криком «попался!» просыпался, давясь слезами, беспомощностью и страхом. Соскакивал с кровати и, как сумасшедший, искал, искал в тысячно-миллионный раз этот чёртов ворованный приколы, мешок кота в мешке, искал и не находил, с ужасом сознавая, что и сегодняшней ночью Безделушник придёт ко мне и сведёт с ума окончательно и бесповоротно, потому что...

Попался. Все мы попались... Пускай во сне, но он нашёл нас.

Все видели его, и только Слива клялся, что не видит:

— Порнушка снится, да такая, что кошмар как стыдно, — отвечал не краснея, но я знал, Слива, кровь из зуба, врёт, врёт, и всё потому, что кто-то из нас четверых Хорошистов должен быть сильнее, хотя бы казаться, не бояться, не попасться... Слива лгал нам в поддержку, во спасение, — если торгаш ему не снится, значит, Слива не попался, и, значит, Колька всех нас и спасёт...

Первым по-настоящему, взаправду, не во сне, а в реальности попался Чиж, чуть больше полгода спустя утонув на нашем заветном пляже.

И чего он подался туда один? Недоумевали и злились, тогда как внутри знали, тут не обошлось без немого. Во снах Безделушник обещал Чижу, что поможет ему измениться. Победить отца и стать сильным! Стать мужиком, а не птичкой-птенцом!..

Когда же пронёсся слух, что Чиж не просто утонул, а перед смертью был избит и изнасилован, всё полетело в тартарары.

Нам пришлось повзрослеть на много лет вперёд.

На переезде настояла мама, в центр города, в только отстроенный микрорайон, в новую квартиру.

И кажущаяся незначительной перемена — ну что такое пешком сорок минут от старого дома на Фабричной до нового за Тихим центром — стала началом другой жизни. Жизни без чудес. Суматошной, быстро взрослеющей, смертной...

Собирались втроём всё реже, отсутствие Чижа фантомной болью, невидимым присутствием Безделушника, чувством вины, слабостью, отбирало слова, мысли, воздух... Уж лучше не видаться вовсе, чем задыхаться втроём от невозможности хоть что-то исправить, от непрестанных, взхлёб, обвинений «кто вообще придумал обворовать чёртова торговца?!», прячущихся косых взглядов...

Мы рассказали о своих подозрениях причастности Безделушника, и полиция, по слухам, проверила всех торгующих на железнодорожных путях, допросила.

Раза два катались со Сливой заветным, теперь уже проклятым, маршрутом, только нашего продавца не встретили.

— Попадётся, поставлю этому чёрту смертельную сливу, — поклялся Колька, — уж моя слива точно его расколёт и немного разговорит... Во всём признается...

Безделушник пропал, вскоре пропал и Слива: сначала он записался в секцию бокса, потом вступил в какую-то уличную банду. Следом из виду пропал и Киря, бабушка подняла старые связи и отослала Шварца в школу-интернат для кадетов. Я перевёлся в школу рядом с домом: новые друзья, театральная студия, курс юного журналиста, первая и, как оказалось, единственная любовь.

Безделушник появлялся лишь во снах тревожным эхом, без слёз и крика, без страха, уже и детство, и чудовищная история с другом возвращались эхом, казались сном. Будто всё, что было на том отрезке пути в тринадцать остановок, всего лишь детская фантазия, страшилка из разряда хотите — верьте, хотите — нет, где чудеса возможны и случаются только если ты позволяешь, если веришь в чудо...

Реальность побеждала чудеса, взрослая жизнь брала верх над мечтой, год за годом очерствляя душу, превращая её в камень... В ещё один камень в бесчувственном мире камней. Камней, подделок, страз, пустышек, безделушек...

Безделушки выросли, но остались всё такими же безделушками, никому не нужными, даже друг другу, даже себе, пустышки наплодили новые безделушки, и ещё, другие, следующие...

Зимой и летом...

Гнать мысли о никчёмности и пустоте с годами сложнее, болезненнее, — как утаивать от себя то, что делает тебя сильным, окрыляет... Заполнять себя каждый день, каждый час жизни всё тем же безделушным барахлом тоже не дело...

— Надо стать сильнее, честней, взять себя в руки и вытащить этими руками из себя душу, душу, где всё ещё теплится чудо! Оживить душу, победить безделушку!.. — Мантрой-молитвой-заклинанием изо дня в день дома и по дороге на работу в городскую газету и на работе, за статьёй и бутылкой, в отпуске и в соцсетях, занимаясь сексом и сочиняя, воспитывая детей и споря о политике, в мечтах, тёмных желаниях, во сне... Убить безделушку!..

Слива нет-нет да и появлялся в поле зрения, списывались, созванивались, пару раз встречались, о Шварце знали, что Киря после смерти бабушки ударился во все злоупотребления разрешённые, запрещённые, традиционные и нетрадиционные...

Слива исчезал вновь и вновь, уходя служить-воевать по контракту, Шварц пропадал в реабилитационных центрах, больницах, я, единственный семейный из троицы, помогал жене воспитывать дочь, тайно лелея мысль написать историю, а повезёт — книгу про Чижика...

В нечастых командировках поездами и электричками инстинктивно, нутром искал глухонемого продавца, который, как мне чудилось, не любил и боялся детей, может, поэтому и объявил войну детству?..

В набросках о Безделушнике то и дело, сознательно, бессознательно ли, использовал производные от слова «чудо»: чудило, чудесатее, причудливый, чудачество, чудотворец, чудовище...

Чудо не отпускало, не покидало, хоронилось и жило все эти десятилетия между строк, в недосказанном, невысказанно-молчаливом, во взгляде исподлобья, сжатых кулаках... Внутри, в душе...

Детская вера в чудо никуда не девается и не проходит, нет, она, как и само чудо, ждёт, ждёт своего времени, своего часа, и я знаю, верю, жду, что рано или поздно чудо случится.

Случилось же, как-то в редакцию позвонил в очередной раз потерявший мой номер Киря и оставил для меня сообщение: «Он заговорил, сказал, как и когда это случится. Без толку всё», — записала на клочке бумаги ответсек. Я как ни искал, найти Шварца не смог, все сохранённые номера оказались недоступными, съёмная квартира занята другими, а месяц спустя его нашла полиция с передозом в заброшенном санатории недалеко от моря, от нашего прошлого, от нашего места...

Попался.

Кирю не узнал: обуглившийся, кожа да кости, скелет, оболочка, смятая обёртка, испорченная безделушка... И не смерть так искромсала его, безделушная жизнь.

На похоронах я был один, Слива прислал деньги, большую сумму, на ритуальные услуги и памятник, сам же приехать не смог, третий год как на Украине «оправдывает своё существование».

— Да на чёрные дни чтобы было, — оправдывается при любой возможности, — вот Шварцу и пригодились. Вы же одни у меня, если по уму разобраться, всем на похороны заработал, всех почти схоронил... Думаешь, кто из нас следующим будет? Попадётся?

По телефону голос у Сливы, голос из прошлого, тот мальчишечий, с задоринкой, расстояние, магнитные волны, помехи ли преобразовывают, смягчают, корректируют, возвращают на время Сливу, загадавшего ту знаковую, дурацкую загадку.

Зимой и летом всегда с приветом.

— Как можно жить в мире, где ответ на загадку убивает? Страшно, — говорит человек у которого работа убивать и который давно перестал вести счёт убитым на полях боя врагам. — Загадка-убийца, прямо для твоих историй название, хех...

Я всегда хожу, когда разговариваю по телефону, всегда и со всеми, но не со Сливой, звонок от последнего друга останавливает, приковывает, замораживает на месте, что ни шага, ни звука, ни дыхания... Слушаю, как в первый и в последний раз, по буквам, по вздохам, по звукам с того конца света, собирая образ... рисую Сливу. Как выглядит? получил новый шрам или сбрил бороду? во что одет? и что вокруг него сейчас?.. О чём думает и чем был занят до того, как набрать меня?.. И жизнь в эти минуты вовсе не кажется безделушкой. Мы наполняем её собой, своими мыслями, чувствами, своим содержанием...

— Давай я разберусь тут, приеду, наконец, домой, и мы покончим с этим Безделухой раз и навсегда, — не то в шутку, не то всерьёз грозно говорит Коля. — Надо было давно это сделать, но жизнь эта такая, никогда ничего вовремя не делается. Поздно пьём боржоми, принимаем верные решения поздно, поздно делаем первый шаг, признаёмся поздно... всё поздно, главное, успеть это признать, исправить, ведь поздно тоже можно исправить, да всё можно исправить, ёпта, всё поправимо на самом деле! Кроме войн и предательства, всё можно поправить!.. Веришь?!

И я не задумываясь отвечаю другу:

— Верю!

А известно, вера творит чудеса. И нет ничего чудеснее, ха-ха, чем время, когда сегодня кажется, что время ещё есть, что ещё рано, а завтра оказывается, что уже поздно...

Со Сливой встретились на совместном пятидесятилетнем юбилее. И никак не могли поверить, что полжизни позади, а вроде только вчера Слива загадывал загадку...

Ещё дюжину лет искали глухонемого продавца безделушек, изо дня в день, за редким исключением, катаясь на электричках по маршруту детства, туда и обратно, снова и опять...

Дикость, но другого способа не придумали, да его попросту и не было, — как вернуть прошлое, если не вернуться по его же следам назад, повторить то, что делали раньше, пережить?.. Оглянуться на всё вокруг и посмотреть глазами детства, глазами и сердцем, душой десятилетних мальчишек...

И главная тайна, всем тайнам тайна, тайна тайн, лишь подтверждением ожидаемого, за двенадцать лет поисков мы подготовились к встрече... с вечностью, нисколько не удивила, — «так и знали», — переглянулись, когда Безделушник зашёл в вагон с приветом привычно повисшей тишины и звенящим напряжением неловкой опасности. Он был всё тем же, нисколько не изменившимся, похожим на двуногий пень, плотно сбитым мужичком с ноготок, обвешанным всяко-разными побрякушками: брелки, календарики, ручки, зажигалки, свистульки, игральные карты, маски животных и политиков, хулахупы и, рань господня, мечта мечт — косточка для чистки пупка.

Попался.

Время творит чудеса, помните... Безделушник не постарел ни на морщинку, и мы узнали его, он на нас, стариков постарше его, и не взглянул, и не сопротивлялся, когда два старика взяли его под руки и молча, не шибко напрягаясь, выволокли в тамбур.

Тут Слива и нарушил наш план-уговор:

— Покарауль дверь, Лоб, на всякий. Мне-то терять нечего, — прогудел. — Я быстро только сливу фирменную поставлю нашему старому приятелю...

Не успел ни возразить, ни слово сказать, ни вякнуть, да и электричка не дала, яростно заскрежетала тормозами, оповещая о прибытии...

Слива, здоровенный и в свои за шестьдесят шкаф, в камуфляже, потащил вечного торговца дальше.

Зимой и летом Слива неизменен.

К чёрту двери, бросился за Сливой я, а двери набросились на меня.

Кто сорвал стоп-кран, Слива не помнит, как, впрочем, и я, как ни стараюсь, ни напрягаюсь, ни силюсь, не могу собрать все события после встречи с Безделушником последовательно и воедино. Люди, точно кегли, посыпались из дверей вагона в тамбур, выбивая из меня во всех смыслах слова мысли, дух и память...

Колька Слива помнил, как схватил продавца за нос своим приёмом из двух пальцев, повернул, а нос разорвался в пальцах огромным птичьим клювом.

— У него был клюв, я своими этими вот глазами видел, клянусь. Безделушка оборотился гигантским филином-совой, серые крылья, жёлтые блюдца-глаза... Ясен перец, что он говорить не мог, как говорить с клювом?

У Сливы и правда были расцарапаны ладони и лицо, на лбу в самом центре рана, будто Безделушник клюнул, ну и перья, Колька в подтверждение то и дело выхлопывал из себя серые и чёрные, бело-голубые пушинки...

— Клюв-то я ему свернул, глядишь, не появится вовсе, ну или не скоро уж точно, не в этом веке... Хватит из нас безделушек лепить!.. Мы то, что мы есть и какие есть! Но не безделушки-пустышки уж точно!..

Я тогда сказал другу:

— Слушай, а ведь неплохая история получится. Покупая у него безделушку, мы покупали ему год жизни, отдавая при этом год своей... Он менял наши души на безделушки. Поэтому мы так жили и живём... Всё из-за них, из-за эти вечных продавцов пустышек, торговцев душами, правителей мира сего, молчаливо борющихся с детством и чудом, убивающих в нас с ранних юных лет веру во что-то большее... Подкупающие, покупающие и продающие нам барахло с невинным, безобидным видом, обкрадывая нас, заостряя внимание на мелочности, затягивая в болото всей этой ненужности... забирая что-то покрупнее, понужнее, поважнее... А мы не виноваты, мы просто люди, хотим хлеба и зрелищ... Вот и ведёмся на всякую блестящую мелочь, на развлечение, бесполезность...

Слива заметно расцвёл, побагровел, что редкость, и что совсем уже событие, пряча, стесняясь, глаза, пробасил:

— Ты, ты это, Лоб, меня... меня в этой истории только сделай так, чтобы я крылья-то ему оборвал, а то ж ветеран всё-таки, столько войн, наград, все дела, а тут птицу какую-то, пускай и гигантскую, упустил, мать её...

— Ты ему сливу на клюв поставишь, — пообещал, — в память о Чиже и Шварце будет эта история.

Слива просиял:

— В память. В память о нас. Да, о Хорошистах С Фабричной Улицы, которые победили безделушную жизнь. Ведь победили?

— И побеждаем. Ежедневно и ежечасно.

— Ежесекундно!

Это было последнее, что я услышал от друга. Слива умер этой же ночью от кровоизлияния в мозг. Умер во сне, у себя в квартире, с улыбкой на лице, умер героем, победителем, ушёл и, надеюсь, не попался...

История, которую читаете, это лишь начало большого повествования в память о нас, и я верю, а вера, мы помним, творит чудеса, что успею её дописать.

Мне восемьдесят восемь, и сегодня под вечер после школы правнук принёс мне «безделушку», так он сказал, раскрывая потную ладошку. А в ладошке посланием из прошлого — мешочек, тот самый потерянный вечность назад мешок кота в мешке, и на этот раз в нём что-то лежит. Что-то...

Правнук скачет вокруг меня, громко и звонко выкрикивая, гадая, перебирая все мыслимые и немыслимые безделушки на Земле.

А я боюсь, что это так и есть. Что там очередная пустышка, мелочёвка бездушная... Снова и опять до бесконечности...

И я молю, я прошу про себя, и вслух прошу Боженьку об одном — чтобы в мешочке было другое, не пустое... Было что-то важное, что-то большее, что-то главное, священное, бесценное, как человеческая жизнь.

Зимой и летом...

В память о всех нас, обо всём, что было, есть и будет, я говорю правнуку:

— Открывай!

И закрываю глаза.

А перед глазами огромное, даже нет, гигантское, до небес, дерево с зелёными, сверкающим листочками и налитыми соком и светом сине-фиолетовыми плодами.

— Ого! — восклицает правнук.

— Деда, смотри.

Я сажу с закрытыми глазами и говорю внуку:

— Я вижу!

Любовь Глотова

Настоящее простое

* * *

вот я
среди своих трудов и нег
готовки и уборки и посуды
смотрю в окно
на дерево одно
замыслило себе побег оно
пора мой друг пора
куда
откуда

усталая рабыня
жду весны
беги о дерево
побегами ветвями
и всеми листьями
расти шуми над нами
и шелести чужими именами
досматривая
прошлой жизни сны

Глотова Любовь Анатольевна — поэт. Родилась в 1985 году в городе Куйбышеве (ныне — Самара). В 2007 году окончила отделение журналистики филологического факультета Самарского государственного педагогического университета. Публиковалась в «Арионе», «Знамени» и других журналах. Автор четырёх книг стихов, среди них «облака сугробы снега» (Самара, 2020) и «Апельсины с дождём» (Самара, 2020). Участница Форумов молодых писателей «Липки». Живёт в г. Самаре.

* * *

Мы умираем по частям.
Из нас выносят части эти.
Хоронят эти части там,
где лопухи растут и дети.
Смотри, погиб весёлый взгляд,
надгробьем пролегла морщина.
На августовский звездопад
гляжу спокойно, как мужчина.
Не прячу то, что не спасти,
не плачу круглыми слезами.
И не прошу тебя — прочти
тетрадку с детскими стихами.

Первый снег

И рифмой, и полрифмой, и верлибром,
и парусом, и тучкой, и лучом
впускаю свет под кожу и под рёбра,
здороваясь со словом-палачом.
Колючий куст созвучий и мяучий,
звезда висит над городом и льдом.
В начале был великий и могучий,
большой, как воздух, и простой, как дом.
В таком дому — Эллада с Иудеей,
с Египтом Рим и Персия с Ордой.
В таком дому, которым мы владеем,
звезда всё так же говорит с звездой.

Сквозь первый снег мы пробирались нынче,
он шёл и шёл и снова шёл и шёл.
Так ты идёшь сквозь Эрмитаж к да Винчи
и к Пушкину идёшь меж царских сёл.
А я опять сворачиваю к Волге,
спускаюсь к ней и поднимаюсь к ней,
гляжу, как снегу радуются корги
душой коротколапою своей.
Гляжу, как заползает тихо солнце
за тучу и за правый бережок.
На колеснице цокает покоцанной
ноябрьский Гелиос, седой божок.

Всё, хватит фотографий. Ближе к делу,
к морозному узору на окне.
Последняя берёзка облетела,
и утонула истина в вине.
Переверни тропинку, как страницу,
по лесу бродит горемыка-лось.
Деревья ждут, нам надо торопиться
на великах проехать лес насквозь.
Косули чинно ходят, длинноноги,
среди дубрав прозрачные совсем.
Разглядывать вас, забывать тревоги
и не хотеть печалить вас ничем.
Но в первый снег земля полна печали,
блестит трава, как в музыке слова.
В глазах косуль две капли забренчали
и отразилась павшая листва.
Но в первый снег, равно как и в последний,
земля черна, что пропасть, что тоска.
А в памяти горяч ты, ветер летний,
и широка река...

* * *

о море помни думай о реке
рассчитывай на лето как на встречу
там пчёлы устремляются в сады
и собирают слово золотое
я слышу их в далёком далеке
жужжанию их я песенкой отвечу
о том что всё как раньше — я и ты
о том что настоящее — простое

Татьяна Филатова

Спасибо за музыку

Два рассказа

Олимпия

- Как тебе эта?
- Плосковата. Личико миленькое, но бёдра слишком тощие.
- Не знаю. А тебе какие нужны?
- Сейчас она повернётся спиной, ты поймёшь, о чём я.
- А, блин, да.
- Я же говорю.
- Но она такая, со вкусом, знаешь. Чувствуется, что девочка из приличной семьи.
- Тебе приличные нравятся или неприличные?
- Ха, да. Мне хочется такую, знаешь, породистую, стильную, ухоженную, и чтобы не зажата была, с огоньком.
- У тебя какое-то малореальное комбо.
- Почему?
- Породистые девочки бывают горячими?
- Слушай, ну это ты зря, бывают, конечно! Но не так часто попадают.
- Ладно, мне хотя бы живенькую.
- Так, как ты любишь, без разницы, живенькая или нет, я тебе по правильному критерию выбираю.
- Да-да, хе-хе! Что-то я размечтался на самом деле. Может, вон та чёрненькая?
- Какая?
- Наклонись ко мне, у зеркала за колонной сидит, вон в такой облегающей кофточке.

Филатова Татьяна Олеговна родилась в 1991 году в Ульяновске, образование высшее, по специальности дизайнер. Участница Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (Липки) в 2019 и 2021 годах. Автор книги «О чём молчит лес» (2022). Лауреат ряда литературных конкурсов. Живёт в Ульяновске.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 4.

- В зелёной блузке?
- Ну да, в блузке.
- Ничё такая, сочная, а волосы какие классные, размер третий, не меньше.
- Да... огонь, если не подтянула. Я однажды с такой замיתился, она эту сбрую снимает, а там, мамочки...
- И что делал?
- Что, бежал. А что делать?
- Комплексы девчонке обеспечил.
- Нет, я что уж, совсем? Я наврал что-то. Не помню что, но она вроде кивнула, поверила, наверное.
- Потерпеть не смог?
- Ты что, какой там, ты не представляешь просто!
- Блин, ну зря.
- Нет, у меня не получится, понимаешь? Я не могу, если только мне не знать этого вообще. Не переносу такое, шрамы всякие, неровности, прыщи. Мне надо, чтобы всё у неё было аккуратненько, чтобы маникюрчик, гладенько всё, ладненько, чистенько.
- Ну девочки не какают, слышали, да.
- Я и сам понимаю, что это мне мешает жить, но я идеал ищу, богическую женщину, понимаешь?
- Ладно. Что ж. Будем искать. В целом эта чёрненькая нормально выглядит.
- Познакомишься?
- Пусть свой суп доест.
- А тебе кто-то здесь нравится?
- Не знаю. Может, вон тот.
- Какой? Э тот, что ли?
- Ну да.
- А ты что! Даже я лучше, чем он!
- Даже?
- Так я реально оцениваю свои шансы с тобой.
- Ну не знаю, так-то он ок. Высокий, крепкий вроде.
- Да ты что, он бледный, стрёмный. Волосы у него какие-то грязные, и это на голове! Значит, он вообще не моется. Представь, как он воняет?
- Да мне такое даже нравится.
- Фу, Вика!
- Да что? Нормальный мужик. Если бы пару косарей накинул, точно.
- Сколько?
- Пять-семь.
- А я?
- А что ты? У тебя ни копейки нет.
- Он погрозил мне пальцем и опять посмотрел на чёрненькую. Погладил себя по голове, поправил причёску. Подышал в раскрытые ладони.
- Пойду освежусь.
- Давай.

Он проверил зиппер на ширинке и направился в сторону уборной. Я поставила его сумку поближе к себе, накрыла крышечкой бумажный стаканчик с кофе. Незаметно поправила вниз впившиеся косточки бюстгальтера, вынула из кармана зеркало.

— Девушка, у вас свободно?

Два парня лет двадцати с небольшим, слишком свежи и слишком широко улыбаются.

— У меня занято.

— А мы ненадолго. — Они сели за стол. — Вы такая красивая, хотим пригласить вас на съёмку. Снимать будем вдвоём. В паре. Сразу оба. Интересно такое?

— Сколько платите?

— Тёр как бы.

— Вообще неинтересно.

Один сразу сдался, откинулся на спинку дивана и опустил глаза. Второй решил включить быка.

— Ты не понимаешь. Зря отказываешься.

— Нет, не зря.

— Ты даже не знаешь, от чего!

— Слушай. Ни ты, ни твой друг мне не интересны. Посмотри на меня внимательнее.

— Ребят, а что вы на моём месте делаете? — Саня вытирал влажные руки.

Они зло посмотрели на него и молча поднялись. Толкнули стол мне под грудь, пока выбирались с места. Санёк посмотрел им вслед.

— Странные ребята. Что это вообще было?

— Тройничок предлагали.

— Ох ты. Ну, почаще свои кожаные штаны носи, тебе и не такое предложат. Я не понял, я тебя спас или обломал?

— Спас, конечно, — я улыбнулась. — Они мелкие и без денег.

— Вот смелые ребята, восторгаюсь, — Саня присвистнул. — Ну что там моя брюнеточка?

— Суп доела, самое время.

— Слушай, может, и мне самому попробовать? Подсяду вот так же.

— И что? Тоже тройничок предложишь?

— А что, если с тобой, то, считай, верняк, ха-ха! — сам рассмеялся своей шутке. — Слушай, ну придумаю что-нибудь. Ты же знаешь, я импровизирую неплохо. Хм, нарисуй её портрет? Как-нибудь простенький.

— Я? Её? Сейчас?

— Да-а. А я навру, что это я! Скажу: «Барышня, вы так прекрасны! Вдохновили бедного художника».

— А что делать, если она после этого портрет во всю стену запросит?

— Ты мне друг или сундук?

— Да иди ты! И на чём я тебе её нарисую сейчас? На салфетке?

— Да хоть на салфетке!

— И ты к ней с салфеткой подкатишь?

— Да, что такого? У меня всё равно больше ничего нет!

— Тут одна салфетка осталась! Возьми у них, — я кивнула на соседний столик, он послушался. — И что это ты принёс? Какие-то тонкие.

— Тонкие — это разве плохо?

— Шуточки за триста?

— У тебя было с трактористом?

— Эконом не мой класс. Тихо, подвинься, мне её не видно.

Девушка отвернулась к окну и закрыла лицо большим стаканом. Может, не судьба? Ничего, что я рисую ее жидкой подводкой для глаз? Барышня действительно красивая, ничегошеньки у Санька с ней не выйдет. Тут нужен какой-то очень интересный подкат. Возможно, если она самолюбива, это сыграет нам на руку и ей захочется портрет. Но я не настолько дорожу Саниным настроением, чтобы писать такие картины. Интересно получается: от моего творчества зависит их вечер.

— Ты в курсе, что заставляешь меня повторить исторический момент?

— Нет, конечно, радость моя! Просвети.

— Как-то Пикассо пил кофе в кафе и рисовал на салфетке. Одна женщина попросила забрать эту салфетку. Он сказал: столько-то тысяч долларов. Женщина офигела, а Пикассо сказал, что на этот рисунок у него ушла не пара минут, а шестьдесят лет.

— Может, тебе всё-таки тоже чем-то таким легальным зарабатывать?

— Может, тебе пойти куда-нибудь? На работу, например?

— А сколько у тебя на это рисование лет ушло?

— Десять лет горшков, гипсов и голых мужиков. Чтобы теперь помогать тебе с перепихоном на вечер.

— В этих вопросах ты гений! — он чмокнул воздух губами, аккуратно взял в ладошки салфетку и смущённо направился к своей даме.

Сначала странно засеменил, на середине пути взял себя в руки, распушил хвост, скользнул ладонью по волосам, расправил плечи. Вот актёр! Нафиг ты на филолога выучился? Хотя я тоже зачем училась? Десять лет таскала в универ планшеты и треноги в чёрных чехлах, как паруса на ветру. Однажды мои снасти так развернуло порывом ветра, маленькой девочке плашмя по лицу — нос на бок, кровь, мать в истерике. До сих пор бежит холодок внутри, как вспомню. Искусство прекрасно, только если висит на стене, готовое и мёртвое. А пока оно в процессе рождения, то плохо от него всем: автору, семье автора, даже мимо автора проходящим. Заглянула за колонну: Санёк и девица улыбаются. Живопись мне принесла только боль, точнее, сначала было очень хорошо, а потом ужасно.

«Мерси боку! Зовёт меня посмотреть картину какой-то своей тётки к себе домой».

Я доела десерт, проверила помаду, расплатилась и вышла к парковке. Завела машину. Интересно, что он скажет завтра? Санёк даже себестоимости живописной работы не представляет, вот бы кое-кто удивился, узнав, что я трачу его денежки на портреты неизвестных баб. Если Саня хочет с ней дальше зажигать, пусть учится рисовать сам. В бардачке вместо сигарет лежал какой-то Санин хлам: пакет от шаурмы с остатками мастика, измятая визитка стоматолога, грязные

наушники, вскрытая пачка высушенных салфеток. Собрала всё в кучу, кроме наушников, выкинула в урну и поехала домой. На светофоре пришла смс: «Любимая, сегодня приеду. С». Полковник чувствует, когда я уже без денег.

Мелкий сентябрьский дождь и полностью запотевшие стёкла. Вспоминала, какие краски закончились, какие высохли. Когда-то купить полный набор для меня стоило немыслимых денег, теперь я могу позволить себе всё, не только акрил, но и масло, грунтованные холсты на подрамнике, а работаю, как привыкла с универа, на ДВП. Раньше не могла даже регулярно менять палитру, когда она накапливала слои высохшей краски, к концу занятий ломило руку. Я остановилась у художественного магазина, помедлила немного, заглянула в окна. Высокий кудрявый мужчина что-то выбирал у витрины. Не сегодня.

«Любимая, что тебе купить?»

«Рислинг сухой. Киноварь, умбру жжёную и титановые белила, не хочу выходить из дома».

«Хорошо. Привезу тебе чулки, хочу бенжерль в них».

Да хоть в костюме кролика. Бенжерль ему кажется ужасно оригинальным, хотя, если кто-то с его работы вскрыет нашу переписку, и без этого шифра будет всё понятно. Немного посплю перед сессией, если всю ночь работать. Завтра суббота, интересно, что он наврал жене?

ДВП формата А3 стояли, прислонённые друг к другу, небольшой стопкой. Здесь летний дождь над холмом, на электрических проводах замерли три птицы; тут зимний закат над деревенькой, пускающей дым в небо; вот полдень золотит стога на поле. На последней, с лунным пейзажем, акрил лип к пальцам. Что-то нарушила по цвету, источник света всегда самый светлый, задний план холодный и размытый, а передний тёплый и детальный. Надо исправить поверх. Работа пахнет опилками и акриловой резинкой.

— Вик, заberi меня, денег на такси нет, — Саня зашептал в трубку.

— А на автобусе слабо?

— Ты на часы смотрела?

— Вполне успеваешь.

— Ты занята, что ли?

— Полковника жду.

— Это тот, который твой папик?

— Нет. Это тот, который тебя отмазал из обезьянника.

— А, хороший мужик! Слушай, а он подождать не может?

— Пока, Саша.

Я легла в постель, укрылась пушистой овечьей шкурой. Мне приснилось, как будто мы стоим в стекляшке — эркерном окне в универе — и курим. Точнее, я не курю, курят мальчишки. Стекляшка завалена метровыми планшетами, обратная сторона у них исписана названиями рок-групп, дурацкими фразочками, членами и номерами телефонов. На моём нарисована летающая тарелка и надпись I want to believe. Он стоит под лучом света, только начал растить бороду, и волосы торчат пушистыми клочками. Закатал рукава клетчатой рубашки, локти в прилипшей краске, за ухом карандаш, под мышкой планшет

с крафтовой бумагой. Громко смеётся, одной рукой обнимает меня, от него пахнет туалетной водой, которую я подарила. Нам по двадцать лет.

Вскочила от звонка в домофон. Натянула плед на кровать и пошла открывать. Полковник молчал в тёмном подъезде, накинул на форму длинный плащ и закрылся капюшоном. Боится, что его узнают. Закрыла за ним дверь.

— Любимая!

Улыбнулась, потому что правда рада видеть. Он очень обходительный и добрый. Пока посадила в зале пить чай, застелила постель его любимым бельём — красным с розовыми пионами.

— У тебя новая картина! — он шелестел в шкафу. Крикнул: — Обнажённая, о это автопортрет? Чудо!

— Это не я, это Мане! Вольная копия его «Олимпии».

— Виктория, гениально. Ещё что-то новое? Стога! — Вынимает следующую доску. — Когда я был маленьким и ездил к бабушке в деревню, у неё за домом начиналось поле. Просыпаешься, смотришь в окно, а там такая точно картина: стога, солнце светит, коты сидят, даже забор похож. Продай мне её, Виктория?

— Не всё продаётся, Сергей Сергеевич, даже вам!

— Вика, я умоляю. Оплачу, отработаю, сделаю всё, что пожелаешь!

Вышла из спальни, надела его подарок.

— Котик, моя живопись не продаётся. Она для меня. Она моя. Идём в спальню, бери рислинг.

Он с сожалением вернул картину на место.

— Моя королева, выполню всё, что скажешь.

Ночью мне снится море. Мы накопили со стипендий и поехали в Абхазию. Живём у Тамары, купаемся, катаемся в горы, занимаемся бенжерльс на втором этаже её дома. Юные, загорелые. Он тогда впервые в жизни увидел и море, и горы, и постоянно зарисовывал. Просыпаюсь, полковник уехал, на тумбочке несколько красных купюр. Стягиваю постельное, кидаю в машинку.

Утром я пила кофе с пирожными в кафе. Зал был пустым, рабочий день в разгаре, окна в офисах напротив заполнены людьми, между головами синели экраны мониторов. Под офисами на первом этаже галерея. Сразу после учёбы я хотела стать галеристом, продвигать искусство, делать коммерческие выставки. Кем бы я была сейчас, если бы осталась в галерее? Что теперь там выставляют, сколько этим можно заработать? Когда-то давно я заходила в высокие узорные двери, уверенная, что вершу судьбу. Сделала ему первую выставку, когда ещё никто, кроме меня, не верил в него, даже он сам. Мы кое-как оформили картины в деревянные рамы, которые сами напилили в кривом стусле и покрасили акрилом для радиаторов. Всю ночь расставляли экспозицию, вешали со стремянки, научились вязать музейные узлы. Позвали всех его подписчиков из группы, которую я завела, пили самое дешёвое шампанское. Кто знал, что всё обернётся этим? Зайти туда? Я решилась, спустилась вниз и открыла эти тяжёлые двери.

— Добрый день! — приветствовала милая женщина за столиком. — Проходите, пожалуйста, вы к нам за чем-то конкретным? У нас новая выставка — Бородин из Екатеринбурга. Пройдёмте?

В зале было много разноцветных куриц, написанных жирно мастихином. Что-то очень живое, жизненное, яркое наполняло пространство. Я вспомнила нашу первую выставку, такую же живую и радостную.

— Можно посмотреть каталог?

— Конечно! Чашечку кофе?

Я улыбнулась, отказалась, пролистала глянцевые страницы, не нашла того, что искала.

— Здесь представлены все художники?

— Все, с кем работаем.

На улице опять шёл дождь. Я вернулась в кафе за свой столик. Странно, что его живописи нет в каталоге. После блистательного вознесения на Олимп всё давно раскуплено, видимо, даже новое. Напротив галереи уличные художники спешно собирали свои картины. Вот и три типа авторов: в галерее, на улице и я.

Повернула золотые часы циферблатом к себе: двенадцать тридцать.

— Фух, Вик, извини!

— Да я привыкла, что ты опаздываешь. Скоротала время.

Саня развязал длинный шарф, навьючил пальто на круглую вешалку, на меня полетели брызги с его одежды. Достала влажные салфетки, он поцеловал меня в щёку.

— Опоздал, потому что проспал. А ты прекрасна, как всегда! Пахнешь божественно! А какой бант!

— Это пачули, а не бант, это жабо.

— Прости великодушно. Вчера вечером был, хе-хе, — он уселся за столик, открыл меню.

— Что-то хочешь рассказать?

Он махнул, закинул руки за голову, потянулся.

— У тебя самой таких историй... хотя, может, прям таких не было. Ты делала это на столе перед портретом бабушки? Знаешь, как-то не по себе. Как будто кто-то на тебя смотрит. Хотя такое у тебя точно было, — он любопытно сощурился.

— Тебе заказать что-нибудь?

— Да, знаешь, раф и вафли. Но денег у меня нет, собственно, поэтому и здесь.

— Ага, я догадалась.

— Займи мне пару тысяч?

— Купил своей даме цветы?

— Цветы и вино. Иначе бы не дала.

— Стоило того?

— Ну так, знаешь, нормально. Сносно.

— Переводом не судьба?

— Хотел тебя видеть!

— Что портрет?

— Салфетку унесла сразу, сложила куда-то, попросила нарисовать ещё. Я слился. Больше мне с ней и не хочется, да и на мели теперь.

— Три тысячи, Саш, больше нет.

— Нет? Ты вчера с полковником кувыркалась.

— Сейчас будет две тысячи.

— Ладно, извини. Квартиранты, собаки, не шлют — как вышлют, сразу верну.

Принесли кофе и десерт. Саня измазался варёной сгущёнкой, попросил повторить. Я не удержалась и убрала сгущёнку с его щеки.

— Смотри, мы с тобой как будто пара, — он интригующе хохотнул. — Почему ты захотела встретиться в такую рань?

— Полдень — это рань? Вечером у меня встреча с Борей.

— Ты теперь работаешь каждый день? Кто такой?

— Встреча — ужин в ресторане, а ты хам. Он тот самый мой папик, как ты говоришь, пора бы запомнить. Я здесь работала тысячу лет тому назад, ностальгия.

— Ты работала? В кафе? — он разве что не подавился.

— Нет же! В галерее! Напротив, — я ткнула пальцем в окно.

— Ты продавала картины?

— Это называется устраивать коммерческие выставки.

— Для всего можно найти красивое название.

Я пнула его под столом.

— Ладно-ладно, радость моя, я любя!

— Между прочим, неплохо зарабатывала для своей первой в жизни работы. У меня стопроцентный вкус, всегда угадывала с картинами, многое раскупали.

— Ты устраивалась искать там папиков?

— Нет же! Тогда я была юна и полна надежд, — дура, короче, но быстро повзрослела, кое-кто помог.

— И появились папики?

Я молча кивнула.

— Вы страшная женщина, Виктория.

— Не мы такие, жизнь такая. Довезти тебя до дома?

— Да! Застегни пуговицу на блузке, расстегнулась. Хоть мне и приятно было это наблюдать, но теперь это уже бесплатное зрелище для других.

Мы спустились к припаркованной машине.

— У тебя в машине лучше, чем у меня дома. — Саша закурил, опустил стекло, но в салоне продолжало пахнуть дешёвыми сигаретами. — Жаль, мужчинам в этой профессии заработать сложнее.

— Вовсе нет. Очень даже хорошо они зарабатывают.

— С моими требованиями я не смогу.

— Требования есть не у тебя одного.

— У тебя тоже есть, с твоей-то внешностью. Я видел у тебя этот браслет?

— Полковник вчера подарил.

— Ты его так и зовёшь, «полковник»?

— Котик. Ему нравится, а мне без разницы.

— Куда сейчас?

— Домой.

— Ты же сегодня не дома работаешь, можно мне побыть у тебя?

— С чего бы это?

— Вика, ну пожалуйста, ничего криминального. Я всё время один торчу, ни с кем словом не перекинешься.

— А теперь правду.

— Боюсь, что меня караулит у подъезда одна бабень.

— Я буду рисовать, у меня картина начата, а вечером уйду. Ты будешь мешать.

— Не буду.

Повернула ключ зажигания, Саня довольно откинулся на сиденье. Мы приехали, зашли в мою тёмную квартиру с постоянно задёрнутыми шторами. Замок, коврик, плечики, универсальные тапочки.

— Мне велики, — заметил Саня.

— Сорок четвёртый размер — мой любимый.

Комната, кресла, покрывала, камин, свечи, ковёр, зеркало. Отодвинутый к окну мольберт.

— Ты и рисуешь тоже здесь?

— Прекрати. У меня есть спальня.

— Пойду помою руки... хотя, может, тут это бессмысленно.

— Вообще-то у меня тут чистота как в хирургии.

Раздвинула шторы, чтобы рисовать при дневном свете.

— Вика, у тебя столько мужиков, зачем тебе все эти штуки? — он крикнул из ванной.

— Ничего не трогай!

— Даже и не думал, мало ли как ты их используешь.

— Свари кофе!

Краски и кисти лежали в белом узорном поддоне, задвинутые под стеллаж. Подмалёвок работы за стенкой. Золотистые стога на зелёном поле уже были набраны по цвету, оставались детали. Когда-то давно похожая картина висела в моей спальне; тогда, в какое-то очередное наше лето, мы мотались по пригородам, рисуя этюды к летнему просмотру. Он зарисовал эту композицию с сеном, повторял в разных вариантах, когда его сообщества в соцсетях набрали пару тысяч подписчиков. И эти тысячи сразу же заменили ему меня.

«Любимая! Ты теперь всегда будешь со мной».

Я вздрогнула. Полковник сошёл с ума?

«Котик, ты о чём?»

«Я сегодня совершенно случайно купил картину! Какой-то местный художник продавал».

Скидывает фото. Я сразу узнала её. Девушка в профиль, кудрявые волосы, в кудрях рябина, глаза закрыты, озорная улыбка, веснушки, разноцветный платок. В груди что-то резко и больно сжалось.

«У кого ты купил эту картину?»

Звонит.

— Я тебя расстроил?

— Котик, у кого ты её купил?

— Говорю же, любимая, у художника. Не запомнил, как зовут. Давай я посмотрю на картине. Бородатый такой, кучерявый. Я ездил по делу, знаешь, где их мастерские? Один бедолага там спился и умер. Я место осматриваю, соседняя мастерская открыта, зашёл спросить, этот художник говорит, вот продаю старые работы дёшево, мол, хочу избавиться. А я тебя увидел, представляешь? Там вообще все почти девушки на одно лицо с тобой, представляешь? Хочешь, отведу тебя туда, сама выберешь?

— Нет!!

— Любимая?

— До встречи, котик.

Я вцепилась в мольберт. Я будто снова стою там, в дверях, а он кидает в меня стопку моих портретов, говорит холодно, свысока, что больше не нуждается во мне. Его ждёт Олимп, а меня что-то другое, ведь знаменитому художнику нужны разные натурщицы. Я плачу, умоляю, он кричит так, что в ушах резь, а внутри что-то разбивается. Вот я и нашла себе это «другое».

— Вика, что случилось? — Саша прибежал из кухни. — Вика, ты плачешь? Кто звонил?

— Полковник.

— И что? Что он сказал?

Я не ответила.

— Сколько можно так, Вика?

Саша дёрнулся, потом вдруг резко приблизился, схватил за талию, спину, перешёл на бёдра, грудь, поцеловал в губы. Я закрыла лицо ладонью, оттолкнула:

— И ты туда же, Сань?

Он отшатнулся.

— Вика!

— Хватит!

— Выходи за меня? Будем жить как нормальные люди. Я найду работу, выкинем все твои шёлковые простыни, бархатные кресла, всё это!

— Ты с ума сошёл? Я не могу так.

— Да почему, Вика? Все могут, а ты — нет?

— Если из тюбика выдавить всю краску, он скрючится, слипнется, все остатки в нём высохнут и — в мусор. Я делаю, что мне осталось, — пытаюсь жить красиво. Уходи, Саша.

Когда входная дверь за ним захлопнулась, я защёлкнула замок, задёрнула шторы, налила вино и вынула из шкафа красное шёлковое платье с глубоким вырезом на груди.

Спасибо за музыку

Повесть была закончена. Она вновь посвящена дому — городу, где он вырос. Он хорошо помнил его порты, маки, ковыль, пляжи, где когда-то гулял с любимой. Она называла его городом лестниц и любила, несомненно не меньше, чем он сам любил, с того первого дня. Она улыбалась и чертила веточкой по его золотым пляжам, смеялась на его холмах, без страха ныряла в его штормовое море, предложила жить там вместе. Что значит «жить вместе»? Это разделить всю жизнь с ним и его городом мечты, родить там новых горожан, влюблённых в море...

А что значит «повесть»? «Повесть» это — ворд 1920 на 1080 на бело-голубом экране. Там тоже сиреневыми пятнами вспыхивает лаванда, люди смотрят на закат и прибой вымывает закрученные ракушки на берег, только всё это чёрное на белом двенадцатым шрифтом на ста страницах, и глаза краснеют оттого, что старенький экран моргает в полночь, а под ресницами — как будто пригоршни крымского песка. Но тем не менее работа была закончена, и он пошёл в ближайший круглосуточный за крафтовым пивом, чтобы хоть как-то расслабиться и уснуть. В его голове персонажи всё ещё вели диалоги, кружились, перемещаясь из сцены в сцену — всё ли так? Ничего не упущено, не забыто? Ему казалось, что он ощущает воздух своего города — он давно заметил, что раскалённый бетон пахнет морем, а на дороге перед его подъездом как раз залатали ямы.

Кто из редакторов возьмёт этот новый текст? Он прикидывал в уме возможные ответы разных журналов, реакции и даже интонации. Знал, кому понравится, кто отнесётся нейтрально, у кого будет точно «нет». Фонари кусками освещали тротуар, он наступил в стекло и подумал, что продырявил подошву, и теперь ботинок будет протекать, сколько придётся откладывать с зарплаты, чтобы купить новые? По большому счёту, ему давно было наплевать на свою обувь, одежду и внешний вид. Борода росла клочками, а усы лезли в нос, сам он давно не лез ни в какую приличную одежду, и почему на толстяков шьют только нелепицу? Что они, не люди? Может, и так. А писатели люди или нет? Наверное, люди, но люди другие, постоянно таскающие невидимый крест на плечах и добровольно сколачивающие его себе. Точнее, надеющиеся, что сколачивают постамент, но потом сами себя на нём и вздёргивают.

От повести веяло Крымом, от съёмной квартирке пролитым пивом и одиночеством. В шкафчике на кухне стоял сухой кошачий корм, он не выбрасывал его, как будто надеялся, что ещё пригодится. У них с любимой был кот, как будто лучший на свете, но он умер, а с ним и всё, что они делили на двоих: простой быт, простые радости, мечты о будущем. Будущее?

Всё эти проклятые голоса, об этом, кажется, снимают ужастики? Когда герой слышит голоса мёртвых. Голоса несуществующих людей в голове считаются голосами мёртвых? Проклятые голоса! «Дайте же мне напиться, суки, дайте же мне отдохнуть от вас! Ну чего вы, в конце концов, накупились?

Я бесперспективный автор, я не способен совладать с вами. Найдите себе другого». Проклятые голоса сливались в рокот, ритм несуществующих текстов. Хмурое, вечно плачущее, не просыхающее ни на день, московское небо глядело куда-то мутным взглядом, не пропускало ни звёздочки. Он откупорил пиво со звуком «пш-ш», завернул за лавочку, встал лицом к кусту и отхлебнул взболтанный до пены большой глоток. Когда они расстались с любимой, без склок и разборок, когда она тихо ушла, оглушённая его молчаливой отрешённостью, словно выпитая усталостью ожиданий, бездетной пустотой и приближавшейся одинокой старостью, в которой не сбудется всё, о чём мечталось. Он был даже рад, когда она вылетела, словно вспорхнувшая после сна маленькая птичка, из их безрадостного домашнего неуютя, такого зыбучего и бесцветного, опустошающего, не живительного, безразличного и отторгающего, словно комната с покойником. Здесь действительно кто-то умер.

Говорят, что в человеческих мечтах заключена большая сила, энергия такая явная, как от высоковольтного кабеля. Эта сила желания двигает горы, возносит, приводит в движение мир, управляет всеми открытиями, изобретениями и всеми видами искусства. Сила человеческой мечты и сила человеческой любви — и всё это у него было. Когда он приехал в Москву, заряженный от источника где-то из самой глубины себя, он, конечно, понимал, что будет трудно, нужно пройти длинный путь, собрать всё, что у него есть, в кулак — волю и веру в мечту, сжать зубы, как же иначе добраться до своего самого заветного? Вот она — съёмная крохотная квартирка, вот она — самая любимая во всём мире женщина, приехавшая за тысячи километров к нему строить маленькую семью. Вот он — живой, жгучий, брыкающийся, трепещущий, словно самая чуткая перепонка, улавливающая все колебания мира, упрямый в своём желании существовать, словно отчаянная серебристая рыбка, выброшенная на берег, — самый настоящий талант. И его нельзя предать, нельзя оглушить, нельзя усыпить. Нельзя или можно?

Сейчас, стоя напротив давно отцветших кустов сирени, которые всегда напоминали ему о кладбищах, он думал, что его брыкающийся и любопытный, неугомонный голос внутри... погиб? Погибает? Неужели ему суждено умереть? Куда тогда деть всё это дрожание внутри, то захватывающее его, словно вибрация басов гигантского динамика, то тихо звенящее, словно флейта, под рёбрами. Как жить с тем, что это, растоптанное и обрубленное, обессиленно задохнулось? Сколько можно пытаться? Снова и снова вставать и идти, сколько можно получать отказов, сколько можно смотреть на свои рукописи, пробуждать вовсе угасшую надежду.

Когда только начинали жить вместе, любимая часто пела от радости и предвосхищения, готовя ужин, собираясь на прогулку. Её а капелла возвращала в детство, где родители слушали: Thank you for the music, the songs I'm singing... а он сидел, слушал и улыбался. А чего не улыбаться, когда впереди большое и светлое? Когда тексты ещё не написаны, многое не сказано, а все истории ещё живут внутри тебя, а музыка текстов — именно музыка, не мука.

Когда уже вышел из официально молодого возраста, когда был лучшим среди лучших на конкурсах и семинарах, а теперь в текстах ребят вдвое младше

видишь сырость и думаешь, что пора уходить куда-то дальше, — куда? Это «дальше» погасло, отгорело, как августовский закат, и повернуло на зиму. Злишься, злишься, видя одних и тех же в премиальных списках, а ты — вечный финалист. Казалось бы, вот он, большой роман, но не вышло, вот ещё один, писал три года, хвалили все: и мастера, и главные редакторы, и жена. Она сопит, уткнувшись в одеяло, отгородившись им от тебя, чтобы хоть чем-то. Говоришь с ней, а просить потерпеть ещё и сил нет. Ни у неё, ни у тебя. И тогда пишешь новый роман. Ешь хот-доги, пьёшь баночное пиво, ходишь помятый, небритый, опаздываешь на работу, выглядишь как бездомный, а внутри дрожит струна, последняя, что не лопнула.

Живое и дрожащее вещество придётся закопать в землю? Он поднял глаза на пустое безлунное московское небо и представил крымское. Вернётся ли он туда? Вернётся ли домой? Сможет ли начать заново, — в сорок лет жизнь только начинается? Он закрыл глаза. Голоса изнутри снова всколыхнулись нестройным роем разрозненных героев. За опущенными веками в этом низком небе он увидел млечный путь над вершинами тех гор, одинокий пастух закидывает себе на шею блудную овцу, словно расписанный омофор: «Идём домой». «Идём», — отвечает он и закрывает глаза.

— Спасибо за музыку, — выдохнул пустоте безразличного московского неба, своего московского дома и внутренней, своей. — И пусть мой голос затих, задохнувшись в этой гонке, в этой погоне и борьбе, — спасибо за музыку.

Вернувшись домой, пьяный и нелепый, он кинет куртку под стул, ведь жена увезла все вешалки. Захрапит, наполнив комнату рокотом, под стать рокоту машин ночных гонщиков за распахнутым окном, рокоту забившихся труб, будильнику у соседа за стенкой, далёкому раскату грома, идущему на Москву, вибрации телефона десятого за утро звонка редактора самого крупного издательства ненавистной ему столицы.

Елизавета Евстигнеева

Собрание сочинений света

Апрельское

Заживают лужи, и заживается
На земле по-Божьему и всерьёз.
Оттого-то каждой весной заживается
Чёрно-белый свет голубых берёз.

Воробей у церкви примет лужицу,
Жадно небо и куполы в ней пия.
И я думаю: Господи! Нам ли — сбудется? —
Верить жаркою верою воробья.

* * *

Я понимаю только свет,
Не «может быть», не «да» и «нет».
На все вопросы ум не в силе
Подать ответ. Мерцанье пыли,

Больничный шкаф, окно, кровать —
Свет заливает всё пространство.
Вседневно свет благословлять
И есть святое постоянство.

На этот мысленный огонь
Уже не нужно ждать ответа,
Когда берёшь в свою ладонь
Собрание сочинений света.

Который час? Который век?
След горизонта. Детский почерк.
Не час, не век, а человек,
Святящийся во мне как прочерк.

Отфонарное

Комната темнеет изнутри.
Изнутри светлеют фонари.
Длинные глаза, немые лица.
А начнёшь плясать от фонаря —
И взметнётся выюга ноября —
Краденая кротость — листья, листья...

А фонарь привязан (он — утиль)
Сам к себе за тоненький фитиль
Или проводок души фонарной.
В крепкой паре человек и Бог.
Тот фонарь, смиренен и убог,
Он стоит, божественно непарный.

Я хочу родиться фонарём,
Чтоб везде, где я, — был свет и дом,
Быть едва смелей дворовой арки,
Чтобы на окраине веков,
Сломанных оград и сорняков
Освещать себя в забытом парке.

* * *

К.Ш.

Никто не узнает, что я была в церкви,
Пока снегопад без какой-либо цели
Гуляет по свету и свет освящает,
И день удлинняется. Скоро светает.

Никто не узнает, что холодно было,
Январское иго колосось и выло.
Лишь ладана запах и крошечки хлеба
Давали понять, что держусь я за небо.

И знал паучок на церковной скамейке,
Согретый в сиянии, как в телогрейке,
Наш малый секрет — перед Кем я рыдала.
А впрочем — никто. Разве этого мало?

Симфония снега гуляла по свету,
А я повторяла молитовку эту.
Никто не узнает, о чём я молилась,
А снегоявление всё длилось и длилось.

* * *

«И попросил я рассказать о Боге
У дерева. И древо зацвело», —
Сказал Тагор. И вышел на дороги
Июньские, где яблоней мело.

Где яблони в закатную стихию —
Невесты несозревшие в цвету,
Какому пели богу — литургию,
Вынашивая в теле полноту?

Тагор был нем. Всё — непонятно бело.
Он поднял руку и отпрянул прочь.
И яблоко — расплакавшись — созрело
И лопнуло. Сомкнулись день и ночь.

И что спросить у яблока простого?
«А человек, скажи, — он тьма? Он свет?»
Тагор стоял и жаждал, жаждал слова.
И яблоко окислилось в ответ.

Алёна Шварёва

Ловля корюшки в тёмное время суток

Рассказ

* * *

Письмо пенсионерки на горячую линию.

Добрый день.

Сегодня совершили вылазку в гипермаркет. Солнце уже почти зашло за спину, сбоку луна, впереди белый куб новенького хосписа, ярко-розовый в закатных лучах. А перед нами мужик в рыбацких сапогах по колено, по его походке сразу понятно, нетрезв, я всё время боялась, что он оглянется, потому что со спины, ну, просто вылитый маньяк-убийца Норман Бейтс из хоррора Альфреда Хичкока «Психо», из тех жутких кадров, когда главный герой вот-вот перевоплотится в собственную мать. Но у впереди идущего шея намертво срослась с плечами, удерживая тело, как крестовина удерживает марионетку, пожалуй, если бы ему удалось развернуть голову, он бы совсем потерял равновесие и навернулся. Да, он едва справлялся с ногами в рыбацких сапогах по колено, какая уж там шея! Так что я шла и думала: где рыба, которую он ловил? Где его корюшка? Ведь в это время в Питере ловят корюшку. От него за километр несёт свежими огурцами и тиной, потому что корюшка именно так и пахнет. А в руках пусто! Ни удочки, ни ведра. Когда мы обогнали Нормана Бейтса, я не удержалась и бросила на него взгляд. Но вместо зловещего убийцы из-под брезентовой кепки с ушами куда-то мимо смотрела корюшка, огромная, с человеческий рост, и совершенно трезвая. Я так и не поняла, откуда у неё ноги в рыбацких сапогах и откуда у неё колени! А главное, над ней кружились чайки! И вообще, как такое возможно!

Наконец, мы дошли до гипермаркета, а корюшка, пошатываясь, побрела дальше.

Что же это такое, спрашивается?!

Алёна Шварёва — драматург. Училась в СПбГАТИ на факультете сценических искусств, в магистратуре на курсе Н.С.Скороход «драматургия и проектирование спектакля». Работает в театре. Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 11.

Теперь можно открывать, как Колумб Америку, даже обрубки вишни у почты?! Люди ходят по улицам в изумлении, они не узнают собственные дома! Чёрт знает, что творится с этим миром! Прошу вас, примите какие-либо меры! Ведь это никуда не годится!

Нагваль

Бистро. Завиток в два стола, чашки — кто в лес, кто по дрова, кофе приличный. На холодильнике книги-утопленницы, всплывшие во время весеннего паводка. И всё восхитительно пропахло табаком. Даже приколотые к стене рисунки, вырезки из газет, рекламные флаеры. Тошнотворный запах. В углу оборвыш тетрадного листа с надписью карандашом: «Нагваль». Без телефона, сразу адрес.

Мы — это пять абитуриенток в ожидании окончательного списка поступивших. Сейчас каждая из нас на ринге, это только кажется, что мы пьём кофе, болтаем, читаем надписи на стенах. Мы практически не знаем друг друга, потому что не до таких мелочей: как кого зовут и откуда кто родом. Толстокожие борцы сумо и не знают о том, что такое настоящая битва, Рокки Бальбоа танцует джигу в бикини на разогреве между нашими раундами. Мы — это пять абитуриенток театрального института.

«Нагваль — это же шаман?» — говорит одна.

«Ага», — отвечает другая.

«Круто!» — соглашается третья.

«Совсем рядом, через двор», — предлагает четвёртая.

«Всё равно ещё часа три ждать», — поддерживает пятая.

Десять ног. Мы идём по адресу, дом внутри колодца, парадная обычная, пахнет кошками и извёсткой, последний этаж. У двери мозаика из звонков, напротив одного на скотче — «Нагваль». Значит, не наколка.

Открыл молодой человек в трениках, волосы всклокочены, глаза трезвые, вид настолько нормальный, что приведишь с ним играть в прятки, ему достаточно было бы просто встать в тень, и ты бы не отличил его от стены. По коридору, вдоль разобранных на органы велосипедов и ожидающих наполнения банок разного объёма, мы заходим в комнату.

Окна заклеены фольгой, стены завешаны чёрной плотной тканью, к которой повсюду приклеены на скотч или приколоты булавками записочки — похоже, у парня совсем плохо с памятью.

Нагваль показывает на одну из нас:

— Вам лучше уйти.

— Почему?

— Так будет лучше для вас.

Теперь нас четверо.

— Если кто-то хочет, тоже может уйти, — говорит Нагваль.

Ещё минус две. Остаётся я и красивая, эта-то поступит уж точно.

— Чаю? — предлагает Нагваль.

Две чашки, кипятки из термоса, каждой по пакету «Принцесса Нури».

Красавица резко вспоминает, что, вот чёрт, важная встреча, опоздать ну никак нельзя. Для красавицы не такая уж дура и, наверное, точно поступит... героиня.

Теперь я с Нагвалем наедине.

— Этот чай для тебя.

Занимательное зрелище.

— Мы исследуем сновидения. Осознанные сновидения. Мы — это группа из четырёх пар по сторонам света. Мужчина — восток, женщина — восток, мужчина — юг, женщина — юг, мужчина — запад, женщина — запад, остаётся только север. Мы ищем женщину Север. Будешь женщиной Север? Никакой наркоты, сексуальных отношений, это чистая потеря энергии, только овладение техникой осознанных сновидений.

— Я поступаю в институт. С сентября учёба, если, конечно...

— Потеря энергии.

— Но...

— Совмещать не получится.

— Послушайте, мне пора...

— Но ты и есть женщина Север.

К тому времени список, должно быть, уже прикрепили к доске объявлений при входе в институт.

— Мы путешествуем по снам. Самое сложное освоить первый шаг. Научиться пробуждаться во сне.

— Я каждое утро пробуждаюсь.

— Это уже следующий этап — пробуждаться во сне, в котором ты видишь сны. Сейчас тебе необходимо сконцентрироваться на одной задаче. Попробуй сосредоточиться на дыхании. Дыши в точку между бровей. А потом прикажи себе открыть глаза.

— Они у меня открыты.

— Ты уже очень близка к пробуждению, ты совсем рядом, уже почти тут.

Сделай усилие.

— Да я же ещё не засыпала. У меня из-за экзаменов бессонница.

— Бессонница — самый верный признак, что пора просыпаться.

— Найдите другую женщину Север.

— Это невозможно. Женщина Север — ты.

— Да что это значит вообще — Север?

— Север — это ты.

Через месяц, возвращаясь из деканата со студенческим билетом в кармане, я решила ещё раз сходить по тому адресу. Отыскала двор, поднялась на девятый этаж. Рядом со звонком уже не висела бумажка «Нагваль». Но я хорошо помнила, какой из них, нажала. Дверь открыла старушка в халате, за ней люто лаял нечёсанный шпиц. Я говорю: «Нагваля можно?»

Она в недоумении: «Тут такие не живут».

Я ей говорю: «Курчавый, молодой, с глазами, такой, как ранний Бертолуччи, комната в конце коридора».

Старушка только плечами пожимает: «Там уже полгода только пауки. На замке. И никакого курчавого. Рыбак один запойный жил, так лысый был и помер. Но он как стиль скорее ближе к немецкому экспрессионизму, что-то из Фрица Ланга, комната до сих пор рыбой воняет». Говорит: «Может, приснилось? Бывает...»

* * *

Письмо пенсионерки на горячую линию.

Добрый день. Буду краткой. Только факты:

Тёмненькая грудка, лазоревые полосы поперёк крыла, сами чуть меньше голубя, но стремительней и живей. Держатся стаяй, точно одно большое птичье тело. Голодные сойки. Числом не меньше полутысячи. Поднимаются над крышей соседнего дома — становится темно; камнем пикируют вниз — светлеет, но рябит. За окном сплошной сойкин шум. Они штурмуют рябиновые деревья и с криком обглаживают красные гроздья перед моим домом. Снег в алых подтёках. Подозрительно похожих на кровь.

Потом они внезапно бросают рябину и срываются вверх к моему девятому этажу. Удивительно, как они не бьются о стёкла. Метель из птиц. Птицы повалили крупными хлопьями. Завалило сойками. Воздух больше не прозрачен, он как китайская ваза в лазоревую полосочку.

Наверное, вырубил сойкин лес? Что-то же заставило птиц сунуться в город? Стужа, голод. Но, получается, сейчас, мой дом — в самом центре бездомной стаи. Я живу в самом центре бездомной птичьей стаи. В самом центре стаи бездомных птиц.

Уважаемая Горячая Линия, сделайте уже что-то. Ну ведь так невозможно, безобразие какое-то. Добропорядочные граждане в недоумении! Это что же получается, мне теперь оформлять гражданство бездомной птицы? Или прописываться в стаю? С миром творится что-то странное! Прошу принять меры.

Пенсионерка и её шниц Вася.

Актёр

Он актёр.

Он сошёл с ума.

Звонит телефон. Он не отвечает. Он, видите ли, ещё не нашёл слов, чтобы говорить по телефону, — все слова чужие. А ведь это мог быть агент или с киностудии.

Он видит страшные актёрские сны.

Он опаздывает на спектакль.

Он играет роль, но не помнит текст, даже приблизительно.

И нигде, ни у кого нет книги или распечатки с репликами. Вот уже пора выходить, на него смотрят партнёры, помреж, декорации, даже половицы сцены смотрят прямо на него, а он не помнит ни одного слова.

Когда-то давно он ложился на пол, закрывал глаза, слушал своё дыхание, полностью расслабив мышцы тела, представлял оранжевый шар, в который погружал свою мечту. Он прочитал, что мечту необходимо визуализировать предельно детально и натуралистично, тогда она становится действием.

Он представлял чёрный просцениум, светом выхваченный круг на авансцене. Периферическое зрение ловит все его четыре тени. Значит, он точно в центре луча. Дыхание такое, что понятно: на сцене он один — приятное ощущение. Взгляд вниз — подол красного платья касается протёртых досок, влево, вправо — пыль. Зрительный зал, как пальцы слепого, — пристален. Заняты даже приставные места.

...Оранжевый шар с мечтой он укладывал в центр солнечного сплетения и лежал так часами, пока тот не прорастал в дыхание и кровь.

Желаемый результат должен был реализоваться через восемь месяцев.

Через восемнадцать лет он находит себя произносящим монолог перед позолоченной мандалой зрительного зала.

Херувимы, склонив головы, держат погасшие светильники в пухлых детских руках над тихими зрителями. Всё его тело вибрирует. Он струна. Контуры пальцев прозрачны, они светятся в луче софита. Периферическое зрение захватывает все четыре тени. Главное, не вывалиться из света. Он стоит на правой ноге и слушает левым ухом. Делает шаг назад, обводит ногу полукругом, чтобы не наступить на подол красного бархатного платья, несколько капель пота падают на подмости. Луч движется за ним — кругом пыль. В зале аншлаг, админ не смог выписать контрамарку даже собственному стоматологу.

Актёр уже достаточно опытен, чтобы раздвоиться и, оставаясь в роли, увидеть себя со стороны.

«Чёрт возьми, — думает он, — сработало».

На табло за левой кулисой загорается надпись, видная только актёру на сцене: «Выход».

Он произносит финальную реплику. Принимает овации, на сцене появляются его коллеги, от них приятно пахнет гримом, потом, канифолью. Они берутся за руки, делают четыре шага вперёд, кланяются, четыре шага назад. Ещё от них пахнет табаком, коньяком и жвачками. Снова кланяются, это повторяется несколько раз. Затем занавес опускается, но никто не расходится, занавес поднимается вновь, зрители стоят и бьют в ладоши, у них хорошо получается, громко, звонко. У актёра сияют глаза, брови подняты, на губах улыбка, он вдыхает полной грудью. Занавес опускается.

У проходной толпятся, сигаретный дым. Актёр слышит голос: «Пора просыпаться».

«Простите», — говорит Актёр.

— Просыпайся.

— Не знаю, с кем я говорю и зачем поддерживаю беседу, но сейчас я пройду по набережной, сверну на Гороховую, по ней до Загородного, двадцать минут

на метро, дальше автобус, можно было бы и пешком, но устал как чёрт. Я доберусь до кровати и не раздеваясь рухну замертво, без задних ног. Потому что не высыпаюсь последние восемнадцать лет напролёт. Единственное, что меня могло бы сейчас порадовать, — это хоть часик сна. И, может быть, мне приснится приятный сон о том, как я с другом рыбачу на лодке, сейчас как раз корюшка пошла.

— Хронический недосып — верный признак, что пора просыпаться.

— А кто вы, собственно, такой?

— Мы исследуем сновидения. Практика осознанных сновидений. Будешь женщиной Север?

— Это не вписывается в моё амплуа.

— Ты слишком крепко спишь.

* * *

Письмо пенсионерки на горячую линию.

Доброго времени суток.

Вчера мы с Васей вышли на ежедневную прогулку. Обошли детский сад, торговый центр, хоспис, «Тандир Шаверму» и ларёк «Союзпечать», после чего оказались в том же месте, из которого начали прогулку. Там растут две берёзы. Вася метит их с особой тщательностью, это его любимое место с щенячьей поры. Прошлым летом я заметила, что одна из берёз засохла. Ни одного листочка — голый ствол и ветки. Такое случается. Но сейчас ранняя весна, и оба дерева, как и полагается, стоят пустыми. Снег сошёл. И если оглядеться, то не отличишь: поздняя осень или ранняя весна. Если не считать, что после зимы больше грязи на газонах, то пейзаж одинаков. А я вот хоть убей не помню, какая из двух берёз мертва, а какая зарастёт пышной кроной, и на ветру её листья будут сверкать лучепёрыми рыбками. Что одна, что другая, что целая роща в соседнем дворе, — чёрно-белые стволы! Никакого компромисса — голые ветки, гора мусора на земле. Но, уважаемая Горячая Линия, получается, что мёртвое дерево выглядит так же, как живое?! А живое — как мёртвое?! Безусловно, время всё расставит по местам! Но должна же быть хоть какая-то определённости для тех, кто здесь и сейчас! Получается, человек смотрит из родного окна и не может отличить мёртвое от живого. Как же так выходит, что на вид они одинаковы? Вася мой метит и ту, и другую, но что с Васи взять — шниц и есть шниц! Люди ходят по городу в недоумении: мёртвое и живое на одно лицо! Нужно внести ясность в этот вопрос и навести хоть какое-то подобие порядка!

С уважением, Ваша пенсионерка и её шниц Вася.

Женщина Север

Она работает в филиале кондитерской «Север» в спальном районе на первом этаже панельного корабля, в помещении трёхкомнатной квартиры, переделанной под торговую точку. Из окна сделали дверь и подвели лестницу, выполняющую роль крыльца. На окнах повесили легендарные гербы с белыми медведями. Милое заведение. В отпуск она мечтает уехать куда-нибудь на юг.

Человек в костюме белого медведя спит за дальним столиком. Посетителей днём нет. К тому же идёт дождь, за окном темно — весна, а рядом открылась пекарня подешевле.

Через некоторое время дверь открывается, заходит человек. Он отряхивается, проходит к дальнему столику, будит медведя. Тот снимает свой костюм, отдаёт вошедшему и уходит. Сменщик надевает костюм, садится за столик. Дождь за окном усиливается.

Сменщик: Мама меня водила в «Север» на Невском, там было кофе с огнём. Кофе-то ещё тот, но пылал! Сверху продавщица поливала его спиртом и поджигала! Это было похоже на счастье.

Женщина Север: А я когда-то в театре играла. Такая сильная мечта была, аж ноги по ночам сводило, а потом мне стало казаться, что меня то ли нет, то ли я всё время кого-то играю, и вся ирония заключалась в том, что я ведь, действительно, всё время кого-то играла. У меня даже в трудовой книжке было написано: актёр.

Сменщик: Профдеформация, понимаю.

Женщина Север: Я тоже так думала. Грим снимаю, а под ним никого. Решила, буду честной. Найду себя. Ушла. Или меня ушли. Знаешь, если ты не звезда, то за пятьдесят ты просто чёрная дыра, и горизонт событий уже пройден. А всё равно ощущение, что я ненастоящая, я кто-то другой. И как будто у меня был шанс стать самой собой, но я прошла верную дверь и даже не заметила, а теперь и не отыскать города, где дом с той дверью. На карте не значится. У навигаторов дар речи пропадает. А волосы, как трава сохнут и белеют. И стелются по полу, скоро на голове ничего не останется.

Медведь: Антисанитария, понимаю.

Женщина Север: Точно.

Медведь: Собаку, может, завести тебе? Шпица, они хорошие.

Женщина Север: Зачем?

Медведь: Собаки настоящие.

В кафе заходит человек в костюме рыбы — зазывала соседней лавки «Мясо. Рыба. Овощи».

Женщина Север и сменщик приветствуют его. Рыба садится за столик к Медведю. Женщина Север выносит горячий чай.

Рыба: Ну и ветерок.

Женщина Север: Ветрище.

Рыба: Так ты будешь женщиной Север?

Женщина Север: Что?

Рыба: Мы исследуем сновидения. Осознанные сновидения.

Женщина Север молчит.

Рыба: Как же я устал тебе это повторять. Мы — это группа из четырёх пар по сторонам света. Мужчина — восток, женщина — восток, мужчина — юг, женщина — юг, мужчина — запад, женщина — запад, остаётся только север. Мы ищем женщину Север. Будешь женщиной Север?

Женщина Север: А где все эти мужчины и женщины?

Рыба: Они затерялись во снах. Как, собственно, и ты сама. Только они ещё пока помнят, кто они, а женщина Север забыла, что она женщина Север. И из сновидения в сновидение она всё глубже забывает...

Медведь: Амнезия. Понимаю. Нотрапильчику можно попить, он хороший.

Рыба: Пока не забудет окончательно. Необходимо пробудить Женщину Север, тогда цепочка замкнётся и все мы, наконец-то, проснёмся. Без Женщины Север — мы все обречены блуждать во снах. И всего-то надо — хоть в одном из снов согласиться снова стать тем, кто ты есть: женщиной Север. А ты так крепко спишь...

Медведь: А ты сам кто?

Рыба: Нагваль.

Медведь: Наг... кто?

Рыба: Нагваль — это скрытая, потаённая и неопиcуемая сторона всего, понятнее это будет в противопоставлении Тоналю, который является миром материальных предметов. Вот могу из Википедии почитать: «Тональ начинается с рождения и кончается со смертью. Но нагваль не кончается никогда. Нагваль не имеет предела. Нагваль — это то, где обитает Сила».

Медведь: Что-то я тебя раньше не видел.

Рыба: «Для нагваля нет ни земли, ни воздуха, ни воды. Поэтому нагваль скользит, или летает, или делает то, что он может делать во времени нагваля, которое не имеет ничего общего со временем тоналя. Эти две вещи — не перехлёстываются».

Медведь: Костюм у тебя странный.

Рыба: «Тональ и нагваль — суть два разных мира. В одном ты разговариваешь, а в другом ты действуешь».

Женщина Север: Всё это очень мило, но как же это я стану женщиной Север, если я и так женщина Север? Видишь, у меня на фартуке надпись: СЕВЕР.

Рыба: Когда очень уверен в окружающей действительности, значит, пора просыпаться.

Медведь: Сними-ка костюм, приятель, посмотрим, какой ты нагваль.

Медведь пытается стащить с Рыбы костюм, но безуспешно.

Медведь: Да он же рыба! Скользкий! Натуральная рыба! А я-то думаю, что так огурцами провоняло?! Он же корюшка! Это не костюм! Реальная рыба!

Женщина Север: Идиотизм какой-то, такое и во сне не привидится!

В кафе заходит мужчина, он подходит к медведю. Тот снимает голову, отдаёт её вошедшему, сменщик надевает голову на себя. Сменщик без головы отряхивается и уходит.

Женщина Север: Где же я слышала про Женщину Север?

* * *

Письмо пенсионерки на горячую линию.

Уважаемая Горячая Линия.

Пишу вам уже который раз. Возможно, я успела вам надоесть. Очень прошу меня извинить за то, что я вас так часто беспокою, хотя, если честно, я ещё

ни разу не получила от вас ответ, и даже не знаю, взаправду вы существуете или письма мои уходят в никуда. Но сегодня, проснувшись, я очень испугалась сама не знаю чего. Я не смогу сформулировать причину страха, но он такой сильный, а поговорить мне больше не с кем. Васеньку я похоронила за детской площадкой у двух берёз. Это было его любимое место. Афобазол, нейростабил не помогают. Такое чувство, что мир изменился к лучшему, но я на это не жалею, нет, я из-за этого не стала грустной. Меня беспокоит другое. Меня беспокоит, что я ничего не знаю, ничего не понимаю, а если и знаю, и понимаю, то ничего не могу поделать. А когда я выхожу во двор, то всё кружится и я как будто лечу. Моя кожа стала белой, и волосы стали белыми, и глаза стали белыми. Даже мой восхитительный французский плащ покрылся трещинами и тоже стал белым, хотя он цвета беж, а если точнее, — бежевый меланж. Был. Сорок лет тому назад. Когда я была актрисой, очень, кстати, хорошей, кем я только не была, сколько ролей переиграла. А теперь всё становится холодным, словно лютый северный ветер.

У меня к вам одна очень большая просьба, ещё раз извините за беспокойство, но, пожалуйста, можно мне ещё какое-то время оставаться на линии, на вашей Горячей Линии? Я так хочу ещё немного погреться, ещё побыть на вашей Горячей Линии. Ещё немного. Хотя бы чуточку. Очень Вас прошу. Даже если будет очень горячо, — пусть. Главное, что будет.

С уважением, ваша пенсионерка.

P.S. Думаю, что ипиц Вася тоже подписался бы под этим письмом.

Ловля корюшки

За деревьями по левую сторону небо отекло, разбухло и потемнело.

«Быть грозе», — сказал Нагваль.

Окружающие не смогли не согласиться. В подтверждение сказанному что-то гулко и одиноко гроыхнуло в напозающей туче.

По правую руку небо честно голубело и висело безмятежно.

«А ласточки летают высоко», — заметил Тональ, он же бывший Медведь, и указал на птиц, те резвились как ни в чём не бывало.

Стык природных форм проходил ровно над головами наблюдающих.

«Птицам верить нельзя», — подумав, ответил Нагваль.

«Кому же тогда верить?» — удивился Тональ.

Рыбаки принялись усмехаться каждый на свой манер, по их улыбкам было понятно, вопрос не стоит и ломаного гроша, — верить нельзя никому.

«Есть несколько простых способов, — сказал Нагваль, — определить, во сне ты или нет».

«Практика различения сна и яви требует большой сосредоточенности и усердия, можно ли её назвать простой?» — усомнился Тональ.

«О, напротив, то посильные способы, не требующие особой подготовки.

Первое: зажать нос и рот рукой, и если вы продолжаете дышать, вы в сновидении.

Второе: долго смотреть на свои руки, во сне они начнут изменять свой вид.

Третье: заглянуть в зеркало, если отражение отсутствует, вы в сновидении.

Четвёртое: попробовать взлететь.

Пятое: попробовать включить или выключить свет в комнате при помощи выключателя. Если он не работает, вы спите».

«А ему палец в рот не клади, — подумал Тональ, — надо бы чаще встречаться».

Рыбари с изумлением увидели, как Нагваль прямо в воздухе щёлкнул по клавише выключателя указательным пальцем, но свет не зажёлся. Хотя сама постановка вопроса вызвала у окружающих волну разноречий по поводу двух тем: можно ли называть отсутствие света тьмой и о высокой вероятности погрешности пятого пункта в связи с банальным отключением электроэнергии.

«Шестое, — продолжил Нагваль, — прочесть что-либо дважды, — если надпись меняется, вы спите».

«Кажется, я вчера школьный учебник по истории у сына читал, слова оставались теми же, но смысл менялся на глазах, — подумал Тональ, — а, впрочем, менялись и слова, и даже даты».

«А что делать, когда поймёшь, что ты во сне?» — спросил Тональ.

«Проснуться», — ответил Нагваль.

«Но когда я проснусь, что будет?»

«Всё будет. Ты увидишь, что живёшь во сне».

«Я же только что проснулся?»

«Точно, но теперь необходимо исследовать место, в котором проснулся, и когда ты его исходишь вдоль и поперёк, ты поймёшь, что это тоже сон. Доказано на практике».

«Тот же самый сон или другой?»

«Неплохо, — отметил про себя Нагваль, — выйдет толк».

Ноги рыбарей по щиколотку утопали в богатом улове, сбрасываемом прямо на днище лодки. Рыба — корюшка с серебряным отливом — раскрывала рты в надежде уловить ускользающую жизнь, изгибалась, некоторым рыбкам удавалось подскакивать и даже переворачиваться в воздухе, но в конце концов все они успокаивались, взгляд замедлялся, взблёскивал отрешённой от боли и страданий кротостью, а чешуя отражала солнечные лучи влажными бусинами бликов. Глядя на них, понимал: ласточкам можно верить, гроза обошла стороной, а рыбе время превратилось в срок годности, который можно с лёгкостью конвертировать в выручку, пока он не истёк. Лодка развернулась к берегу. Но стоило рыбакам сойти, как зарядил дождь, острый и лёгкий.

«А можно ли проснуться окончательно, покончить с вереницей сновидений раз и навсегда?» — продолжил Тональ.

«Для этого мы и создаём группы по осознанному исследованию сновидений. Мы путешествуем по снам и исследуем, ищем выход. Мы — это группа из четырёх пар по сторонам света. Мужчина — восток, женщина — восток, мужчина — юг, женщина — юг, мужчина — запад, женщина — запад, мужчина — север, женщина — север. В ней вся и загвоздка. Она так крепко заснула. Без неё выход не отыскать».

«Но получается, что эти группы — тоже сон, сон внутри сна? Возможно ли, чтобы часть сна стала свободна ото сна? И кто такая эта ваша женщина Север?»

«Ветер», — ответил Нагваль.

«Какой ещё ветер?»

«Ветер!»

«Что за ветер?»

«Ветер! Ветер! Северный ветер!» — перекрикивал Нагваль внезапно налетевшие порывы, которые с силой колотили по тугим стенам дождя и потолку зацветшего мутного неба.

«Объясни подробнее!»

«Женщине Север снится ветер! Понимаешь, Женщина Север — это...»

Он принялся объяснять собеседникам тайны, которыми владел. Каждый, кто видел их в этот момент, понимал, что на Нагваля снизошло откровение, движения его были уверенными и широкими, в глазах появилась страсть и одновременно покой. От Нагваля невозможно было отвести взгляда. Он точно стоял на правой ноге, а слушал левым ухом. Делал шаг назад, обводил ногу полукругом, чтобы не наступить на подол мутного рыбацкого комбинезона, несколько капель пота падали на истёртые подмостки причала. Но дождь лил с таким рёвом, точно ему только что подтвердили смертельный диагноз. Чтобы собеседник тебя услышал, приходилось кричать, складывая ладони рупором. К тому же с каждым словом Нагваля воздушный поток со всепоглощающим гулом свивался в тугой канат, крепко стягивающий землю и небо. Поток срывал всё, что попадалось на пути: горы, острова, шапки, города, рекламные щиты с безупречными героями, плакаты с лозунгами, учебники истории, военкоматы, автозаки и гипсовые головы, нищету, болезни, страх, домашние тапки и отрывные календари. Затем поток растягивался наподобие тетивы и вышвыривал всё это барахло куда-то за пределы бытия. Грохот стоял непреодолимый.

В конце концов Тональ отвёл в сторону дождевой занавес и в образовавшуюся тишину сказал: «Нам бы горячего чая, иначе простудимся».

Ветер замолк, а дождь за это время полностью затопил рыбацкую лодку, и весь давешний улов всплыл на поверхность, вздрагивающую под ударами жёстких струй. Та рыба, что сумела оклематься, сразу же потекла прочь, но большая часть вальсировала брюхом вверх среди множества расходящихся по воде кругов, пластиковых бутылок и прибрежного ила.

* * *

Ответ Горячей Линии, адресованный пенсионерке и её шпичу Василию.
Добрый день, вечер, ночь, утро, зима, лето, осень, весна.

Уважаем ый/ая/ое (прочерк) вписать имя, кличку, логин, номер ИНН, штрих-код, любое другое.

Предлагаем вам на договорной основе заключить контракт.

Мы открываем проект по изучению осознанных сновидений. Мы готовы принять вас на должность Женщины Север.

Если вы согласны, то ответьте на это письмо простым открытием глаз.

Ольга Сичкарь

Сокровенное

Рассказ

Едва наступил октябрь, тёплый и солнечный, как славный наш магазинчик «Небесная арт-лавка», продававший диковинные предметы интерьера и мистические картины, закрылся. Все разбежались, начальница уехала к детям в Словакию, а я медленно и лениво искала новую работу. Что было спешить? Просторная тётё-Анина квартира в Замоскворечье сдана хорошей семье из трёх человек и одного лупоглазого мопса. На деньги, что каждый месяц приходят от них, можно жить припеваючи.

Я будто затаилась и ждала чего-то. Гуляла по паркам и бульварам, ела мороженое, каталась на велосипеде... И однажды, засмотревшись на облака, врезалась в дорожный знак. Так жёстко упала и ударилась, что на миг потеряла сознание. «Лиза, нельзя быть такой! Случилось что — бегом к врачу!» — сказала бы мама, если б узнала. Но я не стала ей говорить — от одного запаха больницы у меня приступы паники. Когда тётю Аню положили в стационар на лечение (по мне, так она не была сумасшедшей, просто со странностями), я навещала её каждую неделю. До самой смерти. С тех пор не могу выносить, как там пахнет — лекарствами, спиртом, бинтами, — внутри всё сжимается в комок.

Голова после падения кружилась лишь в первый день, шишка на лбу прошла быстро, а вот плечо я повредила серьёзно. Когда правая рука не висела плетью, а что-то хотела делать, — её пронзала острая боль.

А левая рука сразу отозвалась. Неумелая такая помощница, но участливая. Всё готова подхватить, взять на себя. Ключи из пальцев выскальзывают и летят на пол, ложку держать неудобно, за нож возьмёшься — куски хлеба и сыра кривые-косые выходят. А попробуй картошку почистить!

Сичкарь Ольга Валентиновна — журналист, редактор. Родилась в Красноярске в 1981 году. Окончила Высшие литературные курсы Литературного института им. А.М.Горького. Печаталась в журналах «Знамя», «Звезда». Дипломант XXI Международного литературного Волошинского конкурса в номинации журнала «Дружба народов» «Всех миров преображение...». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 8.

Но потихоньку всё стало получаться, я даже начала учиться держать ручку в левой — записи я привыкла делать на бумаге, а не в телефон.левой моей руке это понравилось, всё равно что ребёнку, только начинающему рисовать: кляксы, каракули получаются, а ему весело, пальцы прямо чешутся, так охота что-то ими поделывать.

День на пятый строчки стали выходить ровнее, буквы корявые, но опознаваемые. И вот примерно тогда я ощутила приятный возбуждающий зуд в подушечках пальцев — будто они обретают небывалую, непривычную мне чувствительность. Левая рука встрепенулась, почувствовала себя живой, ощутила свободу, немыслимую до этого. Жизнь пела в моих пальцах. Я как будто завела котёнка — любопытного, шептунного.

В субботу гуляла в Нескучном саду. Пальцы моей левой руки всё время хотели касаться. Всего. Я вытянула её в сторону и трогала, что попадалось по пути: скамейки, фонари, усыпанные маленькими листиками кусты, деревья. Стволы, оказывается, на ощупь такие разные. Шершавость дуба — сухая и глубокая, по его рытвинам и морщинам можно путешествовать, как по лабиринту, поднимаясь и спускаясь, перебираясь из одного канала в другой... Молодые клёны — скользкие и прохладные, трогаешь ствол и чувствуешь его глянцевость, он покрыт тонкой прозрачной плёночкой. Попадались берёзы — гладкие, с грубыми поперечными шрамами. А если провести рукой по кроне куста, — ветви шелестят по ладони, разговаривая, пружинят и убегают назад, на привычное место.

Металлические перила набережной торжественно, молчаливо холодны, пальцы скользят по ним боязливо, пока не упрутся в сменяющий железо гранит. Он шероховатый и кажется теплее, мягче, дружелюбнее. Я закрываю глаза и медленно веду по нему рукой. И вдруг всплеск — у меня перехватывает дыхание, — рука попала в маленькую лужицу в углублении каменного ложа. Я смотрю на свою мокрую левую ладонь. Смеюсь. Получила холодный душ?

Иду по парку дальше, мои пальцы, как непослушный трёхлетний ребёнок, до всего дотрагиваются, и через прикосновения я могу разглядеть больше, чем глазами. Пальцы видят что-то ещё, и этот мир — ярче, шире. Он тревожит меня неимоверно, проникает в глубины сердца, о которых я раньше не подозревала, и вызывает такой отклик, будто шепнула чуть слышно «мир, привет!», а в ответ откуда-то с небес грянул симфонический оркестр.

Потом я села в автобус. Он катил по Ленинскому проспекту мимо полукруглого «дома самоубийц» с гипсовыми фигурами по краям крыши, мимо Академии Наук с «золотыми мозгами» наверху, мимо памятника Гагарину, взмывающего в небо гигантским фаллическим символом. С ума сойти, какой странный у меня район! Раньше как-то не приходило в голову.

Вот двери автобуса открываются, в него с трудом взбирается бабушка с сумкой на колёсиках. Я помогаю ей. Двери закрываются. Переведя дух, бабуля забирает у меня тележку, случайно обхватив рукоятку поверх моей левой руки. Как будто через саму кожу я слышу тихое бормотание, похожее на шуршание бумажного пакета: «В Дикси морковь дешевле... А лимоны совсем дрянь...» С удивлением смотрю: её губы поджаты — она и не думала говорить

что-то вслух. Прикасаюсь к её руке, будто бы придержать тележку, и она продолжает: «На Шверника за сахарным песком теперь ехать...»

Нет, не показалось. Я это слышу!

Прислоняюсь к стеклу, остужая лоб, смотрю на дорогу. Асфальт под колёсами автобуса мельтешит, убегая назад, на дороге грязь, пыль, полустёршиеся белые полосы. Такие же мысли я и услышала в голове этой бабули — как грязь под ногами, — серые, суетные, спешно семенящие и мало что значащие? Я подняла глаза. Небо было бледно-голубым, высоким и спокойным. А если заглянуть в душу той бабули, — можно увидеть не мельтешение грязи на шоссе, а небо с облаками? Смогу ли я?

Делаю пару шагов и сажусь возле старика с красивой седой бородой. Я смотрю на кисти его рук с выступающими бугорками синих вен, ярких и тонких, как реки на атласе мира. Одна венка пульсирует. Мне хочется прикоснуться к ней и послушать.

Моя левая рука — своенравная, порывистая, страстная, — не дожидаясь разрешения, легонько касается его запястья. Тут же в голове вспыхивает имя — Кирилл! Так внезапно, что я произношу его вслух. Старик удивлённо смотрит на меня.

— Что — Кирилл? — требовательно спрашивает он.

— Я случайно сказала, простите! — смущённо отвечаю.

Но старик не отрывает от меня взгляда. Ждёт.

— Кирилл... Что с ним?

Это невыносимо. Я извинилась и заторопилась к выходу. Выпрыгнула на остановке. Но старик последовал за мной.

— Что с Кириллом? Я как раз думал о нём. Больше месяца не знаю, где мой сын, — в голосе была мольба.

Боже мой, Боже, что делать? Как объяснить, что я понятия не имею, — это всё моя левая рука...

— Я случайно сказала, о своём думала, не знаю никакого вашего Кирилла! — И кинулась бежать.

Он пытался преследовать, бедный старик, я бежала быстрее — зелёный на переходе, стремительно пересекая проезжую часть. Старик не успел, остался по ту сторону проспекта, светофор уже горел красным.

— Дура ненормальная! — крикнул он мне вслед.

У тебя получилось услышать глубже. Ну что, довольна, Лиза?

Ночью мне приснилась тётя Аня. Я шла по длинной дороге, по сторонам росли чудесные растения, а на них сидели яркие птицы. Я трогала листья и бутоны, и они в ответ тоненько, хрустально звенели, будто натянутые струны. Тётя взяла меня за правую руку и потянула назад. Говорила: «Лиза, не ходи дальше, обратно не сможешь вернуться!» Но я не хотела обратно, я хотела туда...

Следующий день ещё богаче на впечатления. Прикосновения становятся объёмнее.

Я сажусь в трамвай № 26. Рядом со мной сидит женщина, нестарая ещё — сорок пять, может, чуть больше, но уголки её губ так скорбно опущены,

что морщины от них пролегли почти до подбородка. Трамвай проезжает мимо церквушки, женщина провожает глазами купол и крестится. Обычно так старушки делают. Женщина прислоняет голову к стеклу и прикрывает глаза. Перчатка соскальзывает с её коленей на пол. Я подбираю и кладу обратно, попутно прикасаясь к запястью. Слышу: «Больше не могу, Господи. Отпусти уже меня». В этом голосе такие горечь и обречённость, что у меня темнеет в глазах.

У последней двери стоит мальчик-курьер, на спине здоровенный квадратный короб «Деливери», из которого на весь вагон пахнет пищей. У юноши чёрные узкие глаза, пухлые губы, лицо в розовых прыщиках. Я обхватываю поручень рядом с его рукой, соприкасаясь кожей. «Коробейник» отдергивает руку, бормочет: «Извините!» Но я слышу другое, доносящееся изнутри: «Апа, апа, Жумгалдакантипжалгызжашайсыз?» Не знаю, на каком это языке, но понимаю, что он говорит: «Мама, мама, как ты там одна в Джумгале?»

В довершение всего вечером встретила Андрюшу. Зашла в «Перекрёсток», что по пути, а магазин этот рядом с его домом. Мы расстались два года назад. Пиво и рубиться в Counter-Strike с друзьями — всё, чем он интересовался; но главное, конечно, — я его не любила... Он сам дотронулся до моей руки. Сказал «привет», но я услышала: «Лиза моя, Лиза! Как же я отпустил тебя? Милая!» Вслух он говорил что-то обыденное, улыбаясь безмятежно, как будто ему всё равно: «Может, кофе выпьем, а то встречаемся с корзиной колбасы, бананов и зелёного горошка». «И пива», — добавила я, кивнув на его продуктовый набор. Вернуться к Андрюше? Нет, нет, нет. Наскоро попрощалась и вышла из магазина. А за горошек, кажется, заплатить забыла.

Прикасаться к людям стало навязчивой идеей. Я делаю это невзначай, украдкой, — и тут же человек вспыхивает всеми цветами, будто кристалл, которого коснулся луч света. Я вижу все его грани, с каждым разом всё чётче и чище, он состоит из того же, что и вся Вселенная — в нём деревья, камни, колёса трамваев и эти провода над ними с искрами внутри, звёзды и Луна; только в каждом человеке частички нашего мира соединены неповторимо.

В сердцевине каждого есть мелодия, только я всё никак не могу её расслышать хорошенько, надо чтобы пальцы стали ещё чувствительнее. А для этого я касаюсь, касаюсь ими всего, до чего дотянусь. Я глажу спаниеля, и эта шелковистость сводит меня с ума, я различаю три вида шерсти разной толщины и мягкости, тепло его души светит мне как солнце, — она такая простая и такая горячая! Я беру в руку красный помидор и грушу вместе с ним, потому что его напители какой-то гадостью, нитратные белые волокна внутри лишают его гармонии. Но интереснее всего люди — я прикасаюсь и слышу мелодию, с каждым разом всё яснее, она вот-вот сложится в песню, я знаю, там должны быть слова или что-то ещё, наполненное смыслом, сокровенной сутью. И я не могу остановиться!

Каждый человек носит что-то в себе глубоко, очень глубоко. Глубже, чем та верхняя шелуха, скорлупки от семечек, шкурки от колбасы, фантики от конфет и жвачек... Я проникала сквозь внешние слои, и там, в глубине, есть что-то ещё более важное, о чём, может, он и сам не ведает. А я знаю! Я закрываю

глаза, шевелю пальцами левой руки, трогая воздух, и предчувствую, предсказываю тем, кто не верит в это сокровенное внутри человека! Больше всего на свете я хочу добраться до самой глубины, до самой бесконечности. Остальное неважно!

Как мне сделать мои пальцы ещё более зрячими? Как достигнуть самой сути?

Я иду по парку. Поднимаю с земли жёлтый лист с красными подпалинами. Клён. Веду указательным пальцем по его венам с тыльной стороны, снова закрываю глаза. Вы когда-нибудь чувствовали, что с изнанки лист бархатный, совсем чуть-чуть? Я верчу между пальцев его черенок, он кружит фуэте в моей руке, создавая игрушечный ветер. Перед моими закрытыми глазами большое дерево с такими же жёлтыми, жёлто-зелёными и жёлто-красными листьями. Все они дети клёна. Дети пока прикреплены к нему и пьют его сок, шелестят на ветках. Они знают его имя. Когда лист отрывается и летит вниз, вниз, вниз, он падает и забывает его. Забывает имя своего дерева. А я верчу лист в руке, и имя встаёт перед моими глазами. Прекрасное полное имя — в нём суть всей кленовости дерева от глубоких корней до самой верхушки, от коры и до светлой сердцевины, в нём и почки, какими они появляются по весне, и соки, бродящие внутри, и семена-самолётики, что в конце лета созревают, срываются и летят, кружась, как ненормальные. Ощущение клёна во всей его полноте накрыло меня огромным душистым облаком.

Я очнулась, будто до этого спала. В моих пальцах был маленький листик клёна с красными подпалинами. Я глубоко вздохнула, повертела головой и зашагала дальше. Теперь мне уже не повернуть назад — прости, тётя Аня!

Я чувствую, что готова, мозаика сложится — я услышу сокровенную суть человека. Бегом, почти лечу, до остановки, впрыгиваю в автобус. Ближе всех ко мне стоит женщина в бежево-серой куртке с засаленными манжетами. Она дурно накрашена и дурно же пахнет прогорклым маслом и лежалой одеждой. Но её руки — розовые и мягкие — зовут прикоснуться. Я глубоко вдыхаю, прикрываю глаза и, перехватив поручень, легко скольжу по её руке тыльной стороной левой ладони. Хорошо, что я крепко держусь, — обрушившийся на меня циклон подкосил колени, и я чуть не упала. Я услышала внутри себя имя, истинное имя этой женщины, и оно было столь сложным и красивым, что волшебным нектаром наполнило мой рот, кружась там самой светлой и звучной песней, сплетённой из нескольких слогов. Я приоткрыла губы, чтобы произнести это имя вслух. И тут огромное, белое, пушистое, как вихрь, схватило меня, сжало в тёплых объятьях и понесло вверх, в сторону, за пределы автобуса. И поставило наземь, не отпуская. Я разомкнула веки и увидела длинные белёсые ресницы и широко распахнутые золотые глаза на прозрачно-нежном лице. Ангел смотрел на меня с мольбой и испугом. Он похож на ангела с той картины, что висела возле моего стола в «Небесной арт-лавке», только ещё красивее.

Ангел обнимал меня руками и большими белыми мягкими крыльями и не отрывал взгляда от моих глаз. Он произнёс, волнуясь так, что голос дрожал: «Елизавета, нельзя произносить это имя вслух! Та женщина не должна слышать его сейчас. Никто не должен на Земле. Оно будет произнесено лишь однажды, когда она предстанет там перед Богом, прозвучит её истинное имя!»

Я смотрю на моего тёплого нежного ангела и хочу ответить, но во рту то самое, запретное, имя. Оно бурлит, щекочет мои щёки изнутри, оно хочет выпорхнуть наружу, быть произнесённым. Или это я так хочу его произнести, что ноги подкашиваются и перед глазами всё плывёт? Или перед глазами у меня всё плывет потому, что ангел держит меня так бережно и любовно, что я сейчас растаю, растаю, растаю...

Я говорю ему одними глазами: «Значит, я виновата? Я что-то сделала не так?»

Ангел улыбается нежно, нежно, нежно и, не отводя глаз — ведь стоит ему отвести глаза, как то самое, сокровенное, имя сорвётся с моих губ, — говорит: «Это ничего. Человек постоянно делает что-то не так. Мы уже привыкли!»

А я говорю моему ангелу одними глазами, что не могу остановиться и не произносить это имя. Хотела бы, но не могу, оно рвётся из меня. «Ты лучше убей меня, ангел, я не хочу делать то, что нельзя».

Ангел шепчет: «Я не могу убить тебя, потому что люблю тебя. Но давай я поцелую, и тогда ты не сможешь произнести это имя, и никогда ничего больше не сможешь произнести...»

Я отвечаю ему одними глазами: «Поцелуй меня, мой ангел! Я хочу этого больше всего на свете!»

Он взял моё лицо своими ладонями и приблизил к нему своё. Он приоткрыл свои тонкие губы и поцеловал так, что жар охватил меня всю сверху донизу. Я не знаю, на земле я была или на небе, пока мой ангел целовал меня. Моя левая рука забыла о жажде прикосновений и впервые за много дней повисла в забытии. Мой ангел выпил из меня это имя, моя гортань замерла, спокойная и расслабленная, пустая. Мы стояли, прижавшись друг к другу, наши лбы соприкасались, а глаза были закрыты. Его длинные ресницы щекотали мне щёки. Мы стояли так, может, всего минуту, а может быть, вечность.

А потом он улетел. А я осталась. Он сказал правду: с того момента я больше ничего не могла произнести. Ни слова, ни звука. Слова и звуки живут в моей голове, но не выходят из моего рта. Из моего рта выходит только беззвучное дыхание. Только бесшумный ветер. Я стала как сумасшедшая... Самой смешно. Мне так и говорят: «Лиза, ты не в себе!» Я хожу, и прикасаюсь ко всему вокруг и к каждому, и слушаю их песни, которые сокрыты ото всех, кроме меня. Теперь я знаю: одно прикосновение может вместить в себя жизнь и смерть. Я трогаю человека за руку и слышу имя, единственное настоящее имя, которое там было дано его душе при рождении. Я плачу каждый раз от этой красоты неизреченной, от этой божественной музыки. Каждый из них в моих глазах неотразим, когда сверкает совершенством своего настоящего имени. Это имя я не могу записать на бумаге. Глупо и пытаться. Эти имена живут лишь у меня внутри.

Иногда люди от меня шарахаются, иногда бьют по рукам, но чаще — смотрят подозрительно и отворачиваются. Думают, я странная, ненормальная. Думают, я просто так хожу и всех трогаю. Если бы они знали! Если бы они знали, какие прекрасные и светлые у них имена...

Елена Чайка

Жить на краю

* * *

В утробе февраля темно и мрачно:
Ритмичный хруст, гул соков в клетках поля.
Ворочаются в створках влажных почек
Слова
И ноют, ноют.

Младенческое белое бессилье
Так тихо перед новым поворотом,

И кто ты
Человек или цветок?

Никто ещё, никто —
Немая вечность.
Проклунешься и будешь человеческим —
Расти-цвести, тянуться на Восток.

* * *

Здесь другая Россия, такие дела.

Солнце натягивает удила,
Запускает шум моря, включает чайк.
Времена года сместились, не подчиняясь календарю.

Елена Чайка (Киселёва Елена Сергеевна) — родилась в 1991 году в г. Владивостоке. Окончила в 2015 году Дальневосточный федеральный университет по специальности «архитектор-дизайнер». Участник международного форума молодых писателей России и стран СНГ «Липки» (2021, 2022 и 2024). Публикации в альманахе «Литературный Владивосток», в журналах «Байкал», «Наш современник», «Аврора» и др. Автор сборника стихов «А море мимо» (Таганрог, 2021). Финалист фестиваля поэзии «Филатов Фест» (2021, 2022). Живёт во Владивостоке. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Жить на краю —
Балансировать на краю.

И ты не поймёшь, почему и люблю, и ненавижу одновременно
Эти скалистые стены, прибойную пену и ветер,
Который приходит и борется с нашим восточным бризом.

Впереди ничего, ничего, неосвоенная земля,
Где история превращается в мифы, а то и сказки.
Так далеко и культура, и государство...
Всё это там, в учебниках, в сериальных переворотах,
А здесь не дом, а работа — временная забота.

И всё здесь временное, вневременное:
Земля чжурчжэней, земля Бохая,
И мы ещё ищем старые сваи, помним старые имена:
И Шамора, и Пидан, и Фалаза, и Тачингоуза.
Молодая земля, неприрученная земля.

Очередное поколение переселенцев:
Слабые корни,
Морское сердце.

Уехать или остаться?

* * *

Меня миновал огород.

У меня не было этого кусочка земли,
Который я могла бы считать своим,
Год за годом доить по осени, вспарывать по весне...

Меня выкормил город.

Я хрустела его бетоном,
Асфальтом, камнем,
Запивала морем,
А в марте
Глядела на ильмы,
Ещё не покрытые дорожной пылью,
Ждала почек и зелёного взрыва следом.

А соседских детей увозили сажать картошку,
Удобрять малину,
Приобщали к труду, прививали к грядкам,
Тяпкам и ржавым бочкам,
В которых жили личинки.

Дети слушали,
Как растёт трава,
Как говорит сова,
Наблюдали, как танцуют пылинки в свете сарая,
И хоть ненадолго, но забывали бетон и камень.

Земля в полимерной накидке прела и мокла,
Дети выросли, сеяли семена,
Прорастали в собственных детях,
Приобщали их к таинству грязи животворящей...

Даже сейчас,
Когда уезжаю из серых волокон города
В лесную чащу,

За внутренним голосом,
За речной песней,
За птичьими голосами,

Я слышу
Бетон и камень,
Бетон и камень.

* * *

Два года мысленных диалогов,
И поэтому при встрече
Молчу.

Я люблю память о тебе
Больше тебя.

Так любят нерезкий потрёпанный снимок,
Который цепляют на холодильник, —
Воспоминание, выхваченное из темноты:
Застывшие улыбки,
Свет.

Адольф Шаниро

Замри. Расставания и встречи

Главы из будущей книги

Таинство

Видоискатель «Агфы» устроен так, что надо смотреть сверху вниз для лицезрения натуры. Вернее — фигурозрения. Крупный план — не для этого фотоаппарата. Однако я гордился трофейной штучкой, словно лично отвоевал её у немцев. Величина кадра 6х9, а не какие-то жалкие 6х6 отечественного «Любителя», по слухам переделанного из другой германской модели.

Благодаря этому аппарату я прикоснулся к тому, чем буду постоянно заниматься: отношениям реальности и её отображения. Со стороны, наверное, казалось, что мальчик счастлив возможностью щёлкать желающих запечатлеться. На деле выбор выдержки с помощью бумажного экспонометра и «птичка вылетает» — дело десятое. Иное — таинство рождения отпечатка.

Красный фонарь размывает очертания коммунальной кухни, двери которой плотно завешены одеялом. Соседям и во сне не приснится, что здесь происходит. На бумаге, плавающей в проявителе, медленно возникают люди. Можно их вынуть, аккуратно потереть пальцами, и тогда они поторопятся. К каждому хотелось прикоснуться рукой, чтобы удостовериться в новом рождении. Узнавая их, я радовался так, будто сам всех их создал.

Они похожи на себя, а всё же другие. Игра света и тени, неожиданный ракурс, прерванное движение — выявляют что-то невиданное в тех, кого вроде бы хорошо знаешь. Знакомые незнакомцы, незнакомые знакомцы будоражат воображение. В момент съёмки в полной мере не оценишь, как много содержания, скрытого от посторонних глаз смысла таит короткий миг жизни: мимолётный взгляд, жест, прерванный шаг, поворот головы, улыбка.

Шаниро Адольф Яковлевич (родился 4 июля 1994 года в Харькове, Украинская ССР) — театральный режиссёр, драматург, педагог. В 1962—1992 гг. возглавлял Рижский молодёжный театр. В 1990 г. был избран Всемирным Президентом Международной Ассоциации театров для детей и молодёжи (АССИТЕЖ), с 1994 г. — президент Российского центра АССИТЕЖ. С 1993 года работает как независимый режиссёр и театральный педагог. Ставил спектакли и вёл мастер-классы в России, Китае, США, Франции, Греции, Италии, Израиле, Бразилии и др. странах. Лауреат многих театральных премий, в том числе Международной премии им. К.С.Станиславского и Премии Москвы в области литературы и искусства. Почётный доктор Шанхайской театральной академии. Автор книг «Антр-Акт» и «Как закрывался занавес» (премия журнала «Дружба народов» за лучшую публикацию года). Постоянный автор «ДН».

Книга готовится к публикации в издательстве «Новое литературное обозрение».

С проявленными мною людьми я предельно осторожен. Вдруг рассердятся? Одно неловкое движение — и навсегда исчезнут.

Извините, я выброшу этот отпечаток в корзину. Надо вытянуть свет, которого маловато на негативе. Ещё нужно опустить увеличитель пониже, укоротить кадр, убрать всё лишнее, попавшее в него помимо моей воли. Ну вот, осторожно вынимаю вас пинцетом из проявителя, перемещаю в ванночку с водой и потом в закрепитель, ну да, в фиксаж. Теперь вы навсегда останетесь такими, какими попали в объектив моей «Агфы».

Прикрепить снимок прищепкой к верёвке, а когда просохнет, — под пресс. Затем резакром придать краям фотобумаги ажурный узор. Готово!

Я подарю вам самих себя такими, какими вы себя не видели.

Дядя Павлуша

Статный мужчина с орденом Боевого Красного Знамени на груди — Павел Александрович Иванов. Снимок сделан накануне свадьбы с моей тётей. Мы с братом звали нового родственника дядей Павлушей. Он прошёл войну разведчиком, любил рыбалку, салат оливье и был назначен (как у нас говорят, избран) секретарём горкома партии. Жил в центре на тихой улице в особняке с садом и высоким забором в окружении любимой семьи и Полного собрания сочинений Сталина. Когда поползли слухи о необходимости отделения этого вождя от другого и о намерении поместить его в тени мавзолея, дядя дал телеграмму в ЦК с просьбой присутствовать при захоронении. Ещё не всё. Наш Павлуша не одобрил ввод танков в Прагу и стал писать Брежневу, объясняя генсеку, что для спасения дела партии и её репутации тому надо покинуть пост. Доводы подкреплялись цитатами из классиков марксизма.

Он чудом избежал психушки, о существовании которой гражданину Иванову напоминали всякий раз, когда вместо ответа беспокойного корреспондента вызывали туда, куда доходили его письма. Ясное дело, он уже не работал в горкоме, а излагал политэкономии в торговом техникуме.

«Не пишет», — однажды с облегчением шепнула тётя.

«Дядя Павлуша? Почему?»

Ответ был чист, как слеза ребёнка: «Я на пенсии. Сейчас это уже будут письма пенсионера».

Каждый день из тех месяцев сорок седьмого года — когда отец, потеряв работу, пытался куда-нибудь устроиться, — заканчивался одинаково: «Отказали».

Потерял работу... Так тогда выражались, и папа действительно испытывал нечто вроде стыда, будто сам повинен в потере. В ответ на расспросы соседей и приятелей он как-то виновато улыбался... Кроме болевого порога есть и порог понимания. Приходит миг, когда бунтующий мозг уступает место допуску: возможно, ты что-то сделал не так? Отец был угнетён и растерян. Готов был стать к станку, работать токарем, слесарем (владел ремёслами), а его журили, как несмышлёныша. Дескать, вы шутите? Как возможно? Вы инженер, автор множества рационализаторских предложений и изобретений, — и токарем...

Был растерян (но не угнетён) и дядя Павлуша. Выяснилось, что, занимая ответственный руководящий пост, он ничем не может помочь родственнику. Сейчас думаю, что оказался слишком честен и оттого не числился в списке допущенных к знакомству с тайными указаниями. Павел Александрович наводил справки, советовал отцу, куда пойти, где требуются люди по его специальности.

Днём: «Да, очень нужны, заполните анкету...»

Наутро: «Вы опоздали, на это место уже взят человек».

Что криминального в анкете Якова Львовича Шапиро?

Об этом коммунисты с человеческим лицом друг с другом не говорили. Папа стеснялся, а дядя знал: Лазарь Моисеевич Каганович — член Политбюро! И этот факт был для него убедительнее мещанских слухов и пересудов.

Вдвоём

У папы были большие тяжёлые ладони и добрая улыбка.

Он любил маму. Совсем любил. Когда она уже редко выходила из дома, порой удавалось уговорить отца пойти прогуляться. Метров сто, и он поворачивал обратно: «Ируся одна!»

С трудом вытянул его в Махинджаури, где снял для нас с ним и дочки летнее пристанище у библиотекарей ботанического сада.

В это редкое место обязательно везли туристов с круизных теплоходов, делавших короткую остановку в Батуми. Большинство из них были предельно укачанные после вчерашнего вечера. Многие почему-то представляли, что сад зоологический. С горы доносилось: «Маня, не поднимайся, тут то же самое».

Я уже знал приёмы того или другого экскурсовода. Одна, заметив зевки, тут же сообщала, что основатель сада Краснов — брат белогвардейского генерала... да, да, того самого, что заходил с немцами на Украину. Сразу расспросы, не об учёном, о братце... «А его расстреляли?..» Не хуже действовал окрик: «Осторожно, растение ядовитое!» Моя любимица, завершая рассказ об очередной диковине, неизменно спрашивала: «Товарищи, по этому дереву есть вопросы?»

Но отец ушёл в себя, ни на что не реагировал. А когда зарядили ливни, затуманивающие очертания не только бухты, но и близких кипарисов, папа совсем приуныл. Стоял в проёме двери деревянного домика и с тоской глядел в ту сторону, где, по его мнению, находились Харьков и мама.

Нетрудно было представить, что в этот же час мама сидит у окна и смотрит в ту сторону, где ей мнится Батуми. Но не исключено, что рассказывает соседям о своём муже, каким авторитетом пользуется на службе, не забыв вскользь упомянуть, что он член партии. И верно — даже по фотографиям семейных торжеств ясно, что это был редкостный блок партийного с беспартийной.

Вцепиться друг в друга, очертив круг, в который допущены лишь близкие друзья, — старосветский, но далеко не худший из способов спасения в стране, строящей новый мир...

Всматриваешься в маленькое, явно сделанное для документа фото отца на письменном столе. Возможно, снялся для поступления на рабфак? Какая вера в людей и страну — страшно! Он не подозревает, что его ждёт.

В жизни, как в театре, творить из сказки быть — опасно. Обретая реальные черты, сказка теряет притягательность, в остатке — фальшь и уродство.

Спектакль можно не досмотреть, выйти из зала, а они не могли, самое удивительное — не хотели. Им, переходящим в нас, нравилось слышать, что рождены они не для постыдного благополучия, а для великого дела объединения народов в одну семью (как объединились, так и разъединились, простите).

Всеми верить — глупость хороших людей. Оттого и хорошие, что верят. Оттого они жертвы не верящих ни в Бога, ни в чёрта.

Кто поёт, что и на Марсе будут яблони цвести?

Вполне возможно. И яблоч будет навалом. Вроде тех румяно-золотистых, одно из которых чернавка кинула пробудившейся царевне.

Два приезда

1965 год. Два рака (по гороскопу) ползли по пыльным харьковским улицам. Они искали дом, в котором родился один из них. Вышли на булыжную Черноглазовскую. В детстве в названии улицы мерещилось что-то зловещее, хотя, возможно, в нём обыгрываются те самые очи, что воспеты во множестве песен.

Не доходя до крутого спуска, свернули направо.

Лет двадцать назад я писал о том, как Эфрос проронил: «Тут», — и лицо замерло, вытянулось и затем разгладилось. (Ныне тут мемориальная доска.)¹ Он погрузился в себя, как часто говаривал, до доньшка. Казалось, волны где-то там, на поверхности, а на самой глубине — человек в скафандре прошлого. Осознал его невозвратность — и обрёл свободу.

Хотелось бы видеть своё лицо, когда я в 2010 году стоял у дома, в котором вырос, и, запрокинув голову, глядел на окна, стараясь восстановить до мелочей всё, что когда-то было за ними. Ушли мои родители, ушёл и Анатолий Васильевич Эфрос. Теперь уже меня настигла парализующая ясность.

Другая страна, и дом другой. Единственное, что осталось от былого, — чудом сохранившийся тент над нашим балконом. Отсюда мы с братом Валериком внимательно обзоредали двор. Первый появившийся в нём товарищ — довод поклянчить у матери разрешение: все уже давно гуляют.

Тент — звучит изысканно. Навес. Отец смастерил его из какого-то плотного гофрированного материала. Сам по себе светлый, он не пропускает солнечные лучи, так что вот уж сколько лет дарит новым жильцам тень и прохладу.

В остальном же — годы, как волнорез, сделали всё, чтобы приглушить накат сентиментальности. В первый этаж фасада врезались чужие мастерские. И — мощный удар: вместо всегда, даже зимой, плохо затворяющейся двери — железная с кодом. Она намертво закрыла мне вход в подъезд моего детства.

У меня не было намерения подниматься на четвёртый этаж к квартире 42. Каждый лестничный пролёт, каждый поворот, каждую выщербленную ступеньку отчётливо помню. Однако одно дело — не собирался, совсем другое — нельзя! Только для своих!..

Вдруг представился железный занавес, что отделяет зал от сцены или, если угодно, сцену от зала. Но с ним я свылся. Как и многих режиссёров, меня соблазняла возможность использовать этот занавес в спектаклях по кровавым шекспировским хроникам или в обличительных пьесах Брехта. А вот неизвестный код... Нечестно! Нельзя закрывать дверь в подъезд, который мне принадлежит.

Вспомнил оторопь, которую испытал в бассейне Гарвардского университета, услышав от дежурного: «Вас нет в системе». Как так, я долгое время преподаю, каждый день плаваю, ещё вчера утром... Оказывается, — срок пропуска истёк: «Компьютер показывает — вас нет в системе».

Побрёл назад, заглянул в университетский парк. Как нарочно — солнечно, птицы. Белки, не наши рыжие, а сизые бостонские, провожают меня любопытными взглядами. Им невдомёк: я смущён не выпадением из системы, а тем, вот новость, что хотелось пребывать в какой-то системе.

В Харькове белки в парках отродясь так вольно не разгуливали, были, как и народ, пугливы. Зато до сих пор красуются на конфетных обёртках, в детстве

¹ Дмитрий Крымов, сын Анатолия Васильевича, рассказал, что доску, на открытии которой он был, после начала военных действий сняли.

именуемых фантиками. Нисколько не изменились с той поры, когда подброшенный фантик накрывал другой так, что нижний не сдуть, и тот переходил к тебе. Ими можно было расплачиваться, и они подлежали обмену.

Когда-то карманы пухли от «Мишек» на льдине и в бору, «Раковых шеек» и «Гусиных лапок». И сегодня они, как раньше, соблазняли в той самой кондитерской на Сумской улице, где ты окунался в мир сладостного детства, как в тёплый пруд.

Ну точь-в-точь русский магазин в Пенсильвании, где я на радостях набрал гору леденцов. Там ностальгирующих завлекало объявление: «У нас есть огуречный рассол на похмелку». Кассирша, оценив то, что я взял кроме «Нашей сметанки» ещё и «Бычки в томате», прожурчала на ухо: «Мы вчера получили сердца четырёх. Не хотите?» Понадобилось время, пока я усёк, что мне предлагают ещё один советский деликатес: кинофильм «Сердца четырёх».

Я его помню хорошо, как и названия кинотеатров, улиц, площадей. Но они переименованы, троллейбусы идут по другим маршрутам, нет детской парикмахерской, где на стенах красовались картины на сказочные темы. Количество догоняющих жертву волков наводило ужас посильнее жужжания парикмахерской машинки. Исчезло и кафе, где краснощёкие официантки вместе с пломбиром в алюминиевых вазочках приносили сифон газировки с крюшоном. Туда принарядившиеся, как на бал, горожане отправлялись в воскресный вечер провести времечко.

У памяти, этого сварливого существа, глаза на затылке, смотрят исключительно назад. Но что поделать, нельзя же не заметить рекламу — «Пиво твоей Батьківщини» (то есть твоей Родины) — и то, что исчезло здание Театрального института. Десятилетиями оно было местом отдохновения видных деятелей украинской и русской культуры. Ныне на этом месте тупой асфальт.

Р. S. Какая-то неведомая сила влекла меня прийти к родному дому ночью. Может быть, чувствовал, что больше не увижу. Сквозь оконные переплёты подъезда виднелся тусклый свет на лестнице. Совсем такой, каким он был всегда. Потом узнал: дома детства уже нет. Снесли. Спустя несколько лет стало известно: на месте нашего дома выстроен храм¹.

Un cappuccino, per favore!

Римини — городок, каких много. Зачем стремился сюда? Для чего всматриваюсь в дома? Лучше сесть в кафе и взять капучино. Напрасно брожу по городу в поисках того, что видел на экране. Тут всё чужое, а в «Амаркорде» — моё детство в романьольском варианте.

Типы другие, но парады, шпики, дворовая шантрапа, явление вождя народу, первый снег... Гризетка, будоражащая воображение Федерико, — наша «историчка». На её уроках никто ничего не слышал. Все смотрели заворожённо на пышную грудь, которая располагалась на столе рядом с классным журналом. А когда в классе властвовала худющая Зиновья, учительница литературы, мы уносились куда-то далеко-далеко. На декабрьский Сенатский плац, в Тамань с контрабандистами, да куда угодно, на тот же Кавказ. Слушая её, мечталось об одном: не оказаться «лишним человеком».

Как тому юному итальянцу из фильма, мне мог привидеться на улице павлин на снегу или бык в тумане. О чём-то я ведь грезил, шагая в лютый мороз из школы без пальто? Мама открыла дверь и всплеснула руками — грабители! Ничего подобного: просто не заметил, что забыл одеться.

¹ Каждый год собирался поехать показать его сыну. Опоздал. Теперь, после специальных событий, видимо, уже — никогда.

Обо всём этом я вспомнил не на родине итальянского режиссёра, а на берегу Кинерета — Галилейского моря, по которому Он шёл аки посуху. Оставалось лишь восхищаться и завидовать служившему там священнику греческого православного храма, с которым меня познакомил друг. Мы любовались закатом, пили вино, и я старался меньше говорить, больше слушать. И ещё смотреть, как рядом с нами на раскидистом дереве располагались на ночлег павлины, нарушая благословенную тишину пронзительными криками.

А в Римини похоже кричали британцы и японцы, разрезая густоту южной ночи хвастливыми, яркими вспышками «Кэнонов» и «Никонов». Они наводили объективы на стены древней крепости, чтобы по возвращении на острова посмотреть, где же всё-таки были и что видели. Слепцы — как и я, — они решили на денёк заглянуть к Феллини.

Смотрите кино!

Un cappuccino, per favore!

На премьере

Первое действие пятилетний сын высидел в зале. На второе, устав от незнакомой речи, идти отказался. Ничего не оставалось, как взять его с собой, сначала к радисту, а потом за кулисы. Перед окончанием спектакля израильский рабочий сцены заверил: не волнуйтесь, можете спокойно выходить на поклон, я присмотрю за маленьким. Всё как всегда: ладоши о ладоши, цветы, поцелуи... И вдруг откуда-то голос: «Папа, а где мама?» Оглянувшись — со мною рядом на сцене... Арсений! Тут-то, в стране, в которой невиданный культ детей, и грянул сногшибательный обвал аплодисментов (кроме вековых семейных традиций, как мне пояснил один мудрец, это ещё и результат новейшей трагической истории: «Кто может сказать, что их ждёт?»).

Я, единственный из всех, кто находился в зале и на сцене, растерялся. А сын вполне освоился. Не дождавшись ответа, несколько не смущаясь, он сделал шаг к авансцене и обратился в зал: «Мама, где ты?»

Где ты?

Где бы моя мама ни была, с кем бы ни встречалась, мгновенно налаживала контакт с окружением. Бог наделил её талантом лёгкого контакта с людьми, и те с благодарностью отдавали Ирине Григорьевне должное. Не помню, чтобы она с кем-то ссорилась. По-своему удивительно: в маминой манере общения — в подчеркнуто выразительном произнесении слов и преувеличенных реакциях на события — сквозило много театрального, но вот — однако.

Заслышав колоратурное сопрано, призывающее меня и брата идти домой и садиться за уроки, тут же из других окон и с балконов начинали звучать меццо и контральто, загоняющие своих детей «немедленно домой».

Тайна её лидерства осталась для меня тайной. Ни властности, ни претензии на первенство, но она притягивала к себе людей. Соседки шли к ней охотнее, чем в Комитет советских женщин. С жалобами, за помощью, за советом. Принимать ли лекарство, которое выписал доктор? Продолжать ли дочке учиться или искать работу? Не много ли уксуса в маринаде? Что говорить о семейных консультациях, когда чей-то бегемот в очередной раз после полочки проваливался в болото.

От возможности помочь она получала удовольствие, как актёр от дыхания зала.

Перебивались от зарплаты до зарплаты, но, когда соседка заходила одолжить трёшку, мама спрашивала, может ли та подождать минут пятнадцать? Время требовалось

не для того, чтобы достать схороненные сотни. Спускалась этажом ниже, одалживала трёшку и вручала её Лиле, извиняясь, что не сразу. Та, похоже, догадывалась, откуда деньги, но таковы были правила игры жильцов подъезда, всего послевоенного роя. Отец иронизировал по поводу советов, которые мама раздавала по телефону, сердился из-за срочных вызовов к соседям. Возможно, даже слегка ревновал. Но гордился, определённо гордился. Его Ируся для всех незаменима — «скорая помощь», кулинарная книга и третейский судья.

Среди лепящихся к ним попадались случайные. Почему тянулись сюда, что общего? Разве что — у нас им было спокойно. Кого-то из них, по-моему, завмага, арестовали, его дружки-тузы слиняли, догадайтесь — кто носил ему передачи?

Что говорить о родительском участии к невинно пострадавшим. Нет, это не сопротивление — импульсивное противостояние жестокости.

Диктат государства, которое людям шагу не давало ступить по своей воле, бессознательно компенсировался тягой к общности. Одно, одно... Мама и её подопечные к бедам относились как к чему-то естественному. И это — беда. Спасение (как иначе выжить?), но беда. Она передалась каждому из нас.

«Мы диалектику учили не по Гегелю...» Жаль, та, которую отец изучал для сдачи партминимума, — утеха рабов. Хозяева учили их утешаться диалектикой как умением всё объяснить и всё оправдать исторической необходимостью. Смирение, принятие навязанных условий бытия вызывают злость, обиду на них и за них.

Состав вот-вот подадут, стриженных пацанов набьют в вагоны и отправят служить. Крики, плач, мат, гармошка, смех и слёзы, водка из горла... Родители пытаются узнать — куда. Какой-то сердобольный майор открыл маме: всю партию новобранцев, с которой уходит брат Валерик, отправляют на Дальний Восток «в Морфлот» — значит, не три, а четыре года службы.

«Забирайте сына и, пока есть возможность, линияйте отсюда (ну, стало плохо с сердцем). Не страшно, получит в военкомате втык, а через неделю уйдёт со следующей партией, но уже в полевую часть, и недалеко», — подсказал нам реальный офицер.

Отец молчал (наверное, предвидел ответ), а я пытался изо всех сил убедить маму последовать здравому совету. Бесполезно. Слышать не желает, нет, и всё тут... В результате брат прослужил на Русском острове не четыре, как положено по закону, а почти пять лет. Просто не отпустили раньше.

Много слёз она пролила. Можно ли жить честно в бесчестном государстве? Можно, но очень, очень, очень трудно.

Жест

Если бы кто-нибудь сказал, что мама, прожившая с отцом более пятидесяти лет в любви и согласии, не поедет к нему в больницу, не поверил бы. Она вела странную игру с собой. Так гнала мысль о его уходе, что со стороны чудилось — не осознаёт происходящего. Мы с братом, возвращаясь от врачей, старались подготовить её к худшему, но она словно не слышала.

Отец десять дней находился в забытии. Лишь однажды открыл глаза и, глядя на меня, спросил: «Ты ел?» Это были последние слова, что я слышал от него. Случилось ночью. Мы решили не сообщать маме до утра, представляя, какой день ей предстоит. Дождались рассвета, позвонили к ней в квартиру. Открыла дверь, увидела нас...

Казалось бы, — ясно, мы замерли в ожидании её реакции. Однако не всё, как в театре. Ни крика, ни всплеска рук, ни ожидаемого жуткого — ЧТО? Увидела нас,

не проронив ни слова, вернулась в комнату, легла в постель и... почти до глаз натянула на себя одеяло, словно защищаясь от вести, которую мы озвучим.

Отец был шепетилен и легко раним. Не забыть обиду, что по глупости нанёс ему. Об этом не для оправдания и не для назидания.

В дни Олимпиады-80 Таллин имел странный вид. В школах живут милиционеры из Белоруссии, улицы безлюдны. США и страны Европы объявили бойкот, африканским как-то не до регаты.

Магазины полны финских товаров, и всюду кока-кола, будь она неладна. Мальчик, бывший с нами, попросил её, и отец быстрым шагом направился к киоску. Он на пенсии, я не хотел, чтобы тратил деньги, опередил его и купил. Обернувшись и увидев глаза папы, я понял: произошло что-то не поддающееся исправлению. Нет ни одного его фото в детстве, но в тот миг я увидел, каким он был в три года. Такой детской обиды я больше никогда не встречал.

Обратно покойника везут!

Детский возглас, подслушанный Чуковским, обаятельно смешон неточным употреблением слова. Помню, как, заслышав похоронный марш, бросал учебник и кидался к окну. Полуторка, открытый красный гроб, женщины закутаны в чёрные платки, венки из бумажных цветов (или из жести, если провожают военного). Легковушки не обгоняют процессию, а любопытные прохожие останавливаются, стремясь разглядеть нечто большее, чем видят. Выискивают близких, чтобы оценить, насколько глубоко они переживают утрату. Шествие, порой из нескольких десятков человек, медленно пересекает город. Первый ряд провожающих, тот, что сразу за машиной, сохраняет линию, люди поддерживают друг друга, а дальше от гроба — каждый плетётся сам по себе, вопреки чеканной, тяжёлой поступи шопеновских аккордов. Они плывут над городом, и люди замирают, когда машина проходит мимо их дома. Но вот трубы и валторны звучат уже на соседней улице, окна захлопываются, а я, довольный (успел всё-таки, не пропустил момент!), возвращаюсь к нудным урокам.

Тогда я знал, но не понимал, что обратно их не везут.

Значение слова никогда понимаешь?

Страшную операцию производит иезуит из «Кабалы святош», чтобы вывести у Мадлены Бежар, жены Мольера, тайну. Она поняла, что значит *никогда*, — и больше на сцене не появится. Булгаков прав. Тому, кто всё понял, в пьесе, как и в жизни, нечего больше делать. У него и сам драматург, прозрев, умирает.

«Вон из Москвы! Сюда я больше не ездох...» — и пора давать занавес. До сих пор мы сострадали Чацкому, возмущались, негодовали: неужели не видит, что за штучка Софья, не чувствует, что своими гневными речами он не попадает в противника, просто сотрясает воздух... Наконец, дошло — занавес, все по домам!

Скучному умнику зритель предпочитает умного дурака. Всё понимающий Горацио не волнует, а Гамлет... Или бедняга Отелло... Кому верит? Кого слушает?

Помните, было три сына, двое умных, а третий...

В отличие от третьего из сказки, наши герои не побеждают. Подобно чудаку, укатившему вон из Москвы, мавру или Арбенину, они под занавес осознают слово *никогда* в его первоизданной сути. Поздно. Не вымолить прощения, не исправить, не переиначить. Не дано прожить начерно, затем набело.

«Понимаю!» — вскричала Мадлена. И сошла с ума.

Никогда

Предстояло пойти в мамину квартиру и взять платье для похорон. На долю брата выпала тяжесть невесёлых хлопот, и было понятно, что его не надо ещё грузить. Я открыл родную дверь, ударило запахами, навсегда связанными с ощущением уюта, защищённости от бед. Намеревался пробыть пару минут, сколько просидел на кухне, — не помню. О чём думал, вспоминал? Ни о чём. Всё на местах: салфетки, солонка и перечница, кофейный сервиз, который я им привёз из Праги. По жёрдочкам в клетке как ни в чём не бывало прыгает жёлтая птица. Оцепенение. Вот так бы играть актёру. Никаких размышлений, никакого внутреннего монолога. Только ты и пространство, из которого улетела душа.

Мальчишка

Прадед, состоятельный человек, сочувствовал левым и помогал большевикам. После революции, уже в почтенных годах, он отличился, плюнув в рожу председателю Одесской губчека. Не успев узнать, зачем его вызвали, возмущился обращением на «ты»: «Мальчишка!» И плюнул.

Расстрел на месте?

Ничего подобного. Чекист до того удивился, что утёрся и лишь взял под стражу безумца. Дети (чеховский комплект — три дочери и сын) кинулись к тем, кому отец помогал до семнадцатого.

При новой власти они занимали высокие посты, и с их помощью дней через десять удалось отца освободить.

Однако, по семейной легенде, больше Адольфа Тульчинского в городе никто не видел. Не смог вынести позора заточения в тюрьму, заперся, не выходил из дома и вскоре умер, будучи, как утверждали домочадцы, вполне здоровым человеком.

Три сестры...

Дочерям Тульчинского пришлось искать какие-либо средства к существованию. Занимались чем придётся. Тося (она же Таня) — в госпитале санитаркой. И другие сёстры трудились сутками. Бедствовали, но были обеспокоены тем, чтобы отец этого не ощутил.

Приближался его день рождения. Девушки жили впроголодь, откладывали гроши из своего заработка, чтобы чем-нибудь его порадовать. Купили отцу новые брюки и туфли. Утром знаменательного дня они торжественно вручили подарок папе. Он, недоуменно глядя на тёмные брюки и жёлтые туфли, долго молчал, а потом изрёк: «Дочери мои! Как не стыдно! Вы что же, вообразили, что ваш отец будет носить эти туфли с этими брюками?»

Таня рассказывала, что им удалось сдержаться, ни слова не проронить, но, выскочив в коридор, три сестры горько рыдали.

...И брат

Дореволюционные приятели прадеда спасли и его сына. В начале тридцатых один из них, большая шишка, по старой памяти сообщил: дела плохи, мотай, пока не поздно. Тот недолго думая сел на пароход и оказался на другом континенте.

Видимо, тосковал, в тридцать седьмом (!) надумал вернуться, но догадался сначала прислать туристкой американскую жену. Та побродила по столице, побывала на 2-й Мещанской у сестры мужа. В результате вместо Москвы брат очутился в Мехико, где со временем стал известным адвокатом. Занимаясь мексиканским правом, как видно, потерял чувство реальности: слал приглашения родне погостить у него. Ответов не получал, утих, и годы о нём не было слышно.

В начале шестидесятых известие: еду в Одессу навестить сестру. Тося бросила ключ всей родне. Встречаться с богатым двоюродным дедушкой, которого не знаю? Увольте! Не поеду! К удивлению, вызвался дядя Павлуша. Похоже, ему захотелось увидеть живого капиталиста и в очном поединке сразиться с ним.

Брат остановился в гостинице «Лондонская», посетил сестру в комнатёнке подвальной коммуналки, где кроме тахты были стол, этажерка и несколько стульев. После визита брат, как сказала Таня, вздумал купить ей квартиру. Она с гневом это отвергла, пояснив, что ей и так хорошо. Отвергла и дерзкое предложение мексиканца приобрести ей мебель и прочий хлам. Великодушно согласилась принять лишь телевизор из валютного магазина с нежным именем «Берёзка». Надо же знать, что творится в мире!

Павлуша вернулся домой довольный. Заморский родственник оказался прогрессивной личностью: «Ему в нашем посольстве за пару дней выдали визу, знают по процессам в защиту профсоюзов». И всё же в поведении гостя он обнаружил слабости: отмалчивается, уходит от острых вопросов.

Папа говорил, что адвокат, испугавшись дядинного напора, с которым тот хотел втянуть его в дискуссию о преимуществах социализма над капитализмом, тихо спросил: «Кто он такой?»

Но главную идеологическую победу одержала Тося. Рассказ о ней входил в том избранных повествований моей мамы.

У брата к сестре была одна просьба: приносить ему по вечерам кефир. Когда скопилось много пустых бутылок, он напомнил, что пора их сдавать. «Не поняла?» — подняла бровь Тося, не вынимая изо рта «беломорину». Брат улыбнулся: «Как мне стало известно, бутылка у вас стоит дороже, чем её содержимое».

Взяв листок бумаги, он прикинул, сколько денег ежегодно теряется, если выбрасывать бутылки, сколько за пять, за десять лет... Сестра пристально на него смотрела: «Тебе надо, иди и сдавай».

Он поправил: «Не мне надо, а вам». И добавил то, что добавлять не стоило: «Понятно, почему вы так живёте».

Татьяна Адольфовна задохнулась: это он про одесситов! Набрав в лёгкие побольше воздуха, она выдохнула: «Говнюк!» У дверей остановилась и присоединила пару крепких фраз.

Брат, судя по всему, не забыл тонкостей русского языка, ибо с тех пор в гости не приезжал и к себе никого не звал.

Регулярно удаляю из компьютерной почты сообщения о том, что где-то кто-то оставил мне огромное наследство. Чёрт возьми, будь это правдой, а не разводкой, установил бы на приморском бульваре, рядом с Дюком Ришелье, памятник Тосе.

Что-нибудь в шагаловском духе. Окно вровень с землёй. За тусклым стеклом решётка. Пара покосившихся стульев, ветхая тахта, этажерка с книгами, повсюду разбросаны пачки папирос и много, очень много пустых бутылок из-под кефира.

А над всем этим парит в небе Тося в стоптанных босоножках.

Другой памятник

Это многофигурная композиция. Каждая фигура отдельно могла бы участвовать в конкурсе «Герой прошлого времени», но тогда картина распалась бы и лишилась объёма. Они, как в моей памяти, должны быть непременно группой разноликих людей, сбившихся вместе не то от страха, не то от радости.

Высота пьедестала — не важна. Ещё лучше — совсем без него. Лучшие памятники — на траве, земле, скамейках, как говорится, среди людей, рядом.

Сообщество жильцов нашего подъезда можно расположить на ступеньках крыльца. Они с двух сторон спускались бы от парадной двери, будто предвидя время, когда те, кто вынес войну и тяготы послевоенных лет, разбегутся в разные стороны.

А можно на небольшом цементном возвышении (только надо подстелить что-нибудь), напоминающем пьедестал для награждения спортсменов, пришедших к финишу. Сидят эти многоборцы (или марафонцы), тесно прижавшись друг к другу, лузгают семечки, а над ними россыпь подсолнухов победного салюта.

О том, кто сидел не на крыльце

Его имя произносили шёпотом, чтобы дети не задавали вопросы об арестованном до войны дяде, находившемся неизвестно где. Поэтому я сразу настораживался и превращался в слух, когда родители, понизив тон, произносили таинственное имя — Гиля.

Такое имя я не встречал ни у кого, кроме брата отца. Это добавляло загадочности всему тому, что просеивалось сквозь сито семейного умолчания. Когда я открыл для себя Гиляровского, то принялся отыскивать что-то общее у людей с довольно редко встречающимися созвучиями. Оказалось — есть всё-таки!

Фамилия дяди Гиляя происходит от церковного канонического имени Гилярий, по-гречески — «весёлый». А Гиль — имя еврейское, в переводе с иврита — «радость». Выходит, есть общее — кипучая жизнерадостность натур. Не оттого ли им доводится повидать на своём веку больше, чем предназначено большинству.

Этот рассказ я запомнил так хорошо, что могу взять в кавычки.

«Меня окатили холодной водой и бросили на цементный пол. Сами пошли не то обедать, не то ужинать или завтракать. Я потерял счёт времени. Придя в себя, решил: они вернутся — и подпишу всё, что требуют. Сил больше нет.

Ясно, что каждое из их немислимых обвинений: участие в троцкистской организации, подготовка взрыва моста под Казанью, передача чертежей нового самолёта иностранным государствам и прочее, — расстрел. Но что делать? Подпишу. Любое освобождение от пыток — избавление от боли и унижения.

В комнату заглянул один из околышей, бывший при допросе, но не участвовавший в истязаниях. Прикрыл дверь, подошёл вплотную, доверительно, совсем по-человечески успел сказать: «Имей в виду, если ты подпишешь...»

В это время дверь открылась (вернулись палачи), и он ударил меня с такой силой, что я отлетел в угол. Но этот удар и все последующие уже не имели значения. Тихое предупреждение вернуло меня к жизни. В будущем, сколько ни довелось пройти тюрем, допросов, никогда ничего не подписал.

Когда «тройка» зачитала приговор о пожизненной высылке в Норильск, я стал орать: «Фашисты!» Нет смысла сдерживаться. Один из конвоиров, волокущих меня, ткнул прикладом: «Молчи, мудака. Ты сегодня первый, у кого не вышка».

Кем он был, этот загадочный спаситель Гили, чем движим? Инквизитор, проникшийся симпатией к жертве? Оппозиционер, тихой сапой действующий среди своих? Ясно одно: профессионал! Точно уловил момент, когда у человека исчезла воля к сопротивлению.

След неизвестного сотрудника НКВД затерялся в необъятных просторах его империи. Дядя не знал и не мог узнать, что с ним случилось. Он даже имени его не знал. Дожил ли до реабилитации жертв сталинщины или сам был распят?

Так или иначе, но образ этого смельчака врезался в мою память, став в ряд с героями трофейных фильмов. Только одно: про «железную маску» и Зорро, оставлявшего всюду знаки, я мог бы говорить долго и подробно, а об истории Гили остались в памяти лишь отдельные эпизоды, которые удалось ухватить.

Жена Гили, моя тётя Мария Степановна Ахмадулина, — самый молчаливый человек из всех, кого я знал. Когда дядю реабилитировали и он разъезжал на «Волге», она, убирая после новогодней ночи салаты и деликатесы, указала мне на аккуратно прикрытую салфеткой хлебную корку на пианино. Потом позвала за собой. По всей квартире — на верхушке буфета, в кухонных шкафчиках — кусочки хлеба. Одни — чёрствые, превратившиеся в сухари, другие — свежие, спрятанные недавно. Муся развела руками — с этим уже ничего не поделаешь.

Так же молча и терпеливо она открывала двери комнат, когда кто-нибудь закрывал их за собой. Гиля не переносил закрытых дверей.

Его взяли на Волге. В Казани. На авиационном заводе, где они с будущей женой работали, в одном из цехов случился взрыв, пошли аресты. Дядя с друзьями написали Сталину, приложив чертежи: это не вредительство.

Письмо быстро вернулось. Техническая документация не открыта, на письме рукой вождя выведено, как вырублено: «Не верю. Не знаю».

Отец ринулся в Казань, когда брата арестовали. Простаивал в очередях для справки, но добиться ничего не мог. Ему повезло: стоя у ворот, увидел брата — не то в выходящей колонне арестантов, не то во дворе тюрьмы. Увидел и потерял сознание. Очнулся в незнакомом татарском доме. Отец говорил — ему было стыдно, но люди, подобравшие его, успокоили: «Не смущайтесь. Тут каждый день такое».

Кто был тайным экспертом генералов невидимого фронта, Гиля узнал в норильском лагере. Читал газету «Правда», и в списке новых лауреатов Сталинской премии в области науки и техники наткнулся на фамилию малоприметного работника их конструкторского бюро. Из «Правды» явствовало, что он удостоен лауреатства за то самое открытие, которым занималась вся их группа.

В живых из её состава остались только двое: будущий лауреат, который *туда* написал, и тот, кто *там* ничего не подписал.

К лету 41-го дядя узнал многое: в каменном мешке стоят не шевелясь, пока не лопнут вены на ногах, а в «камере тишины» — изоляция от шума. Часовые в мягкой обуви, на допрос вызывают шёпотом. Зэки сходят с ума.

В одной из таких камер им раз в две недели давали для чтения краткий курс истории партии или что-нибудь подобное. Я по незнанию представлял возмущение от изощрённого издевательства. Оказалось — ничего подобного. Он с жадностью набрасывался на книгу, чередование букв отвлекало, перечитывал много раз, к концу второй недели знал на память и не мог дождаться новой (что-нибудь вроде биографии вождя). Много подобных трудов он изучил к тому времени, когда конвоир вызвал его «без вещей».

Означать это могло то, к чему надо было быть готовым в любой день. Но нет, его накормили, посадили в самолёт и... в Москву.

Никто не знал, зачем их свезли из разных лагерей, но радость от того, что можно мыться в душе, а таков был первый приказ, перекрыла другие чувства.

Затем всех завели в большую залу, вдоль которой на жердях висели костюмы разных цветов и фасонов, рубашки, рядом шляпы, галстуки, даже запонки. Им велели выбрать себе одежду по размеру.

Гиля запомнил миг, когда они, оставив свою — с номерами, переодевшись, посмотрели друг на друга и поняли, кому это всё принадлежало. Они уже хорошо знали, что не только времена не выбирают, но и вещи, но всё равно стало жутко.

Начальник с широкими лампасами объявил: им предоставляется возможность искупить вину перед родиной, работая для победы над фашистами.

Гиля рассказывал о встрече с Туполевым. Конструктор шёл в телогрейке между станков, давая указания. Дядя не сразу увидел конвоира и хотел броситься к Андрею Николаевичу. Тот заметил его порыв и опередил изъявление чувств, взглядом показав — не афишировать знакомство. Так и разошлись.

Туполева взяли за шпионаж, приговорили к пятнадцати годам. Затем пришли за сотрудниками авиазаводов. Многие из них во время войны оказались в Особом техническом бюро НКВД, позже названном туполевской шарагой.

Ни родители, ни мой отец не знали, где находится их сын и брат. «Без права переписки». Не передать сведений о себе. «Золотая клетка», — усмехался дядя.

Ходил в штатском и (тут я ничего не понимаю) мог раз не то в неделю, не то в месяц посетить с сопровождающим ресторан (с запретом брать спиртное). Возникали курьёзные ситуации. К столику подсаживался боевой офицер, с фронта. Заказав водки, он, ясное дело, наливал стопарь Гиле. Сопровождающий жал под столом ему ногу. Можно представить гнев разогретого офицера при встрече с тыловиками, не желающими пить за победу.

А кончилось это светопредставление с концом войны. Следовательно вызвал Гилю, и между ними состоялся такой диалог.

С л е д о в а т е л ь (*любезно*). Мне надо вас (или тебя?) допросить. Но, чтобы не терять время, я сам заполнил протокол на основании предыдущих допросов. Если нет возражений, подпиши.

Дядя читает протокол. После каждого из тринадцати пунктов обвинения аккуратно выписано: «Нет. Не виновен».

С л е д о в а т е л ь. Согласны?

Дядя. Да.

С л е д о в а т е л ь. Тогда подпиши.

Дядя. (*Беря ручку.*) Это подпишу. (*Подписывает.*)

С л е д о в а т е л ь. Уполномочен сообщить, что на основании статьи номер (*цифры и дата*) вы отправляетесь в Норильск для продолжения ссылки.

Всё это Гиля однажды рассказал ровным, спокойным голосом, не прибавляя расхожих словечек типа «бред», «сюр», «Кафка».

С улыбкой он вспоминал и своего первого следователя. Тот долго морил голодом и отсутствием курева. Через две недели вызвал и галантно предложил бутерброды. «Я не голоден». Всё равно по звонку внесли на пластмассовом подносе бутерброды. Изверг ел и похваливал. Потом предложил папиросы. «Не курю». — «Как так?

Ведь ты курящий!» — «Бросил.» — «Когда?» Дядька назвал дату своего ареста. «Ах, ты...» — мат-перемат — и понеслось.

В конце допроса, ничего не добившись побоями, после последнего «признавайся» следователь брал пистолет, подходил к окну, рукояткой разбивал стекло и, направив дуло на дядю, вопил: «При попытке к бегству — расстрел на месте...»

На другой день окно было застеклено и всё повторялось точь-в-точь: пистолет, звенит стекло, «при попытке к бегству — расстрел».

Не представляю, что испытал Гиля, вновь приближаясь к краю земли. Не остыла память о первом «путешествии» по маршруту Красноярск — Дудинка. Даже спустя годы лицо чернело, приобретая несвойственное ему ожесточение.

Их, политических, месяц везли в трюмах, с уголовниками. Охранников там не было, только спускали с палубы баланду. «Социально близкие» взяли в свои руки её раздачу, а «врагам народа» не давали приблизиться. Короче (это не я тороплюсь, Гиля избегал подробностей), потерявшие от голода рассудок эки...

Охрана вниз не спустилась, велела лишь выдать трупы (для отчёта, видимо).

Второй подъём по Енисею был легче. В Красноярске Гилю с товарищем посадили на пароход, сунули пару рублей на двоих, запретили общаться с кем-либо и сказали — «вас встретят». Конвоира не приставили, на пароходе было кому следить. Как ни экономили, рубли кончились. Старались не двигаться, беречь силы.

Они голодали, пока ладно одетый человек с орденом на пиджаке не спросил: «Ребята, вы ели?» Ответу не поверил, оглянулся, выругался, велел идти с ним. С того дня они ели ежедневно, второй спаситель не отпускал их ни на шаг.

В Норильске он открыл набитый деньгами ящик стола и протянул дяде пачку. Таких денег он и до ареста не видел, да и зачем? Суть в том, что начальник рудников (кажется, так) пользовался особой властью. Нуждаясь в кадрах, он искал нужных ему специалистов и создавал им щадящие условия. Этот толковый мужик забрал Гилю к себе. Кем? Не знаю. Но он мог ходить в увольнительные и скоро получил право жить вместе с обычными норильчанами, то есть на поселении.

Название Норильск произошло от «норило» — шеста для ловли рыбы, однако горожане называли город — Норка. А ещё — Нарыльск, поскольку, куда ни пойдешь, ветер дует «на рыло» (это уж смахивает на творчество блатных).

Посёлок, лишь через почти двадцать лет получивший статус города, создали в 1935-м для строительства никелевого комбината.

Спустя три года из десяти тысяч его населения девять — заключённые.

В 1939-м привезли уголовников, и вскоре Норильск зажил по их правилам.

В мае 1953-го политические выдвинули свои требования, а потом лагеря восстали. Что тогда делал дядя — не знаю. Но однажды он обронил: «Я бы мог рассказать, как расстреляли лагерь, поднявший красный флаг». И не рассказал.

О бунте в Заполярье писал весь мир. Советские газеты молчали. Даже местная газета «Сталинец» не ведала, что начальник караула открыл огонь, убив и ранив более десятка эков. Тут-то каторжане захватили зону и подняли флаги.

По всем сведениям флаги были чёрные — траур по погибшим. Лишь посередине красная полоса. В памяти дяди знамёна окрасились в красный цвет.

Сталин отдал концы, люди требовали вызвать комиссию для пересмотра дел, наказать виновных за расстрелы, отменить пытки, ношение номеров, снять решётки с барачных. В июле — дело Берии. С воздушного змея полетели листовки: «Берия будет навеки проклят нами и нашими семьями! Мы верим, что советское правительство ликвидирует последствия преступлений».

Первая комиссия ограничилась снятием номеров с одежды и решёток с окон. Гиля смеялся — начальник лагеря ввёл гостей в кабинет, а над столом, как раньше, красовался Берия. Ээки шутовали, а начальник грохнулся в обморок.

Вторая комиссия не ехала. Где-то решили бунт подавить. Штурмовали войска МВД и отряд заключённых-уголовников. Убили около ста человек, многих ранили. Заводилам восстания дали новые сроки, разбросали по лагерям.

Об этой трагедии сейчас нетрудно узнать больше. Сам не понимаю, зачем пишу, но иначе не могу, не выходит. Воркуту удалось видеть, но, как ни стремился в край вечной мерзлоты, о котором — хотите верьте, хотите нет — с теплотой вспоминал Гиля, почему-то срывалось. Остаётся всматриваться в фото памятников.

«Полякам, погибшим во время сталинских репрессий...» «Норильску от прибалтийских народов...» «Евреям — жертвам Норильлага» (есть и снимок этого памятника после осквернения в 2009 году)... «Японским гражданам — заключённым норильских лагерей...» Вот «Звонница в память о погибших в Норильске». И «Последние врата». Их центральная часть — раздвигающиеся плиты «отворённых врат» со сквозным изображением креста.

Надеюсь, сын, начавший учить древнегреческий, когда-нибудь поклонится этим местам. На одном из памятников по-русски и по-польски: «И если бы о них забыл, то Бог на небе забыл бы обо мне».

Все слышали о жёнах декабристов, следовавших за мужьями в сибирскую ссылку (иногда с роялем), о шуме, с каким их провожали в московских салонах.

А тётя Мария Ахмадулина, секретарь партийной организации (кажется, цеха), бросила родную Казань и, рискуя жизнью, поехала туда, куда отправили врага народа и террориста. Они не были в ЗАГСе, никакие законы, кроме кантовского, не довели над ней. Она отправилась к нему тихо, без рояля.

Мария Степановна поселилась возле лагеря. Обо всём, что они пережили, мне неизвестно, но они пережили. Постепенно режим стал посвободнее. Гиля «вольный поселенец», держась за канат, брёл во тьме на работу, за ним двигалась тень (он говорил — «попка»). Вот где сюр — выпусти он канат, шаг в сторону, и лишь весной нашли бы ещё одного «подснежника». Как они выжили, — загадка.

В 1956 году — реабилитация, полное восстановление в правах, справедливость восторжествовала. Живи и радуйся! Партбилет взять обратно дядя отказался, как и компенсацию за годы издевательств. У них родилась дочь. Они с Мусей решили не возвращаться на «большую землю».

Привёз Мусю познакомить с роднёй. Дед долго смотрел на невестку — у неё были голубые глаза, а лицо в следах жестокой оспы — и сказал: «Она — наша».

Летом норильчане с дочкой сначала приезжали к нам, потом — к тёплому морю. Так бы всё и шло, если бы ночью у их дверей не раздался детский плач. Выглянули на лестничную клетку — и внесли в квартиру свёрток с дитём. В том, что ребёнка подкинули, — сомнений не было, подобное часто случалось (город-то особый).

Тётя Муся в момент, когда дядя взялся за телефон, чтобы сообщить о находке, предложила повременить... И спросила: не оставить ли нам девочку?

Так у меня появилась ещё одна двоюродная сестра.

Предстояло немедленно покинуть город, и так, чтобы никто не знал, куда едут (причины ясны). Бросили квартиру, всё нажитое, взяли то, с чем ежегодно уезжали в отпуск. И навсегда покинули север.

Если бы мне предложили поставить пьесу, в которой описана жизнь, подобная той, что прожил Гиля, я бы отказался. Много сюжета. Его повороты смахивают

на вымысел голливудских сценаристов. Государственная подлость словно специально тесно переплетена с благородством отдельных людей.

Нет, не взялся бы. Много места занял бы сюжет, а он должен быть кратким, как у Грибоедова. Вернулся из странствий, не сразу понял, что любимая с другим, что со дня его отъезда всё изменилось. Когда осознал, — в отчаянии вылил всю досаду, крикнул «сюда я больше не езду» и укатил искать по свету...

XX век — мастер головокружительных сюжетов. Как ни старались родители и государство (одни — чтобы уберечь нас, другое — ради приличия) оградить нас от собственной истории, не вышло. Даже скудных сведений о судьбе семьи достаточно, чтобы заглянуть в тёмный омут светлого будущего.

Эти знания — часть душевного опыта, проникавшего в спектакли.

Они не позволили мне обрести ту лёгкость, которую зрители ищут в театре. Не мог, не хотел вынести опыт поколений за скобки, или переплавить в постмодернистскую иронию. Истоки нашей «тарарабумбии» — в чебутыкинщине: «Одним бароном больше, одним меньше — какая разница?»

«Не ищите интонацию!» — кричали педагоги по мастерству актёра, будто происходило что-то постыдное, неуместное в театре. «Если найдено верное действие, интонация будет точной». Неужто верили? Или борьба с формализмом напрочь их оглушила? Те же, кто слышал, похоже, не доверяли собственному слуху.

В интонации — и действие, и смысл. Измени тональность, фраза приобретёт иной характер. В старину искали «тон роли». Нашёл — значит, роль в кармане.

Интонация — само содержание. Когда одних выдавливали, других высылали, а третьи бежали, в учебной программе телевидения Олег Ефремов так произнёс «одних уж нет, а те далече», что впору было его немедленно высылать.

В Клейста или Набокова трудно вникнуть, не найдя ключ к их музыкальному строю. Современная драматургия сильна узнаваемой, словно записанной на магнитофон интонацией. Плохо помню спектакль «Наедине со всеми», где тот же Ефремов был начальником стройки. Из-за несоблюдения норм безопасности там погиб его сын. Что-то вроде этого. Но в ушах крик: «Наташа, вернись!» — летевший вслед жене, бросавшей его. Она с чемоданом уже за дверьми. Он, сообразив, что это навсегда, резко: «Наташа!» Так кричит прораб на стройке, когда кто-то стоит под краном, который наклоняется и вот-вот сейчас рухнет.

У меня, как у всех режиссёров, накопился запас интонаций, которые что-то говорят о времени, стране, людях. Но однажды слышал *такую...* её не повторить.

До Нового года минут сорок. Почему мы с Гилей, который в последние годы на машине, оказались в набитом троллейбусе? А вообще, к лучшему — весело, ощущается приближение ночи. Обычно она у каждого своя, сегодня — общая.

Со времени возвращения с севера, дядя настоял, в этот вечер собирались у него. Он светился от удовольствия поить и кормить гостей. Любил этот праздник (а какой ещё мог быть ему по душе?). Танцевал, шутил, под утро гости дремали, а он произносил тосты. Сейчас Гиля побаивался, что получит трёпку, — стол у ёлки накрыт, ждут нас. До курантов уже не сорок, а каких-нибудь тридцать пять минут.

Пассажиры торопили водителя, а ему куда спешить? Судя по скорости, он предпочитает встретить Новый год не в пустой машине, а вместе с нами.

На остановках больше никто не входил, только выбегали.

Исключение — два амбала. Они ввалились с шумом, с матом. Сперва их будто не замечали, потом прорезалось возмущение, но, когда стало ясно, что те ищут драки, все умолкли. Жёны шептали: «Тебе что, больше всех надо?»

Сверкающие фиксами «сынки» (ох уж эти добрые старушки!) всё больше расходились. В том, что кроме фикса во рту у них в кармане финки, — сомнений не было. Сидящие вжались в кресла, стоящие прятались за спины друг друга. А ироды вконец обнаглели: приставали к женщинам, оскорбляли мужчин. Какой тут праздник, каждый думал о том, как бы доехать невредимым.

Прикованный вниманием к бандюгам, я как-то упустил из виду дядю и заметил только тогда, когда он бросился к ним.

Амбалы, на две головы выше дяди, опешили и вконец растерялись, когда он выдал редкую порцию блатной фени. Не все слова я знал, но дело не в них — в том, *как* он говорил, в интонации. Её не передать.

Ни прежде, ни позже я не слышал, чтобы так разговаривали (?) с людьми. Да и с животными тоже. Гиля словами будто размазывал нелюдей, распинал, бил, топтал, колол и, не давая прийти в себя, вновь наносил им удары под дыхало. Нет, не гнев, в его уничижительном тоне звучала угроза, к которой примешивались брезгливость, отказ этой нечисти в праве на существование.

Сначала он был неприятен, потом я стал бояться за него, за то, что случится. А вышло, что должно, когда *один* не думает о том, что он в поле не воин.

Блатные стали пятиться, как-то неуклюже отмахиваться от Гиля — ну чего, чего ты, чего, а чё, а чё такое? — и на первой остановке выскочили из троллейбуса. Двери захлопнулись, и я уже сквозь стекло видел, как они вяло грозили нам вслед.

Просится ремарка: троллейбус безмолвствует.

Пассажиры смотрели на дядю — но не подумайте, что с благодарностью и восхищением. С плохо скрытой укоризной. Его поступок, защитивший их, похоже, задел всех за живое сильнее измышательства амбалов. Мы вышли из троллейбуса, но я был твёрдо уверен: сейчас они примутся его обсуждать. И осуждать.

Номер

Что означает выражение «мороз по коже» я ощутил в израильскую жару.

Раздражённый ею и неудачной репетицией, зашёл в магазин купить что-нибудь на ужин, собрался выходить, как подошла женщина в летах.

Её явно тяготила скука, и хотелось общения. Я выслушал сообщение о том, что она живёт не тут, а в Южной Африке, что приехала повидать внуков. Узнал о том, какие они красавцы, до чего несхожи характерами, и о том, что старшенький пошёл в школу, но она познакомилась с учительницей, и та ей не понравилась. Магазин маленький, без кондиционера, а она болтала и болтала.

При этом быстро, в полной уверенности, что говорит по-русски, а из десяти слов русских только два, остальные — польские. Мне надоело, и я допустил промах: сказал, что пани не стоит подыскивать русские слова, может говорить по-польски — я понимаю и немного говорю.

Как раз этого нельзя было делать. Она оживилась, принялась частить о своей любви к России, что-то про Анну Каренину, а главное — беря с полки то одни, то другие овощи и фрукты, расспрашивать меня, как их звать по-русски.

Ка-ба-чки... Сельдерей... Помидоры... Терпение на исходе! Финики... Дыня... Спокойно! Шелковица... шел-ко-ви-ца... Я едва сдерживал раздражение.

Непомерно толстая, потная, щёки нарумянены, неряшливое платье с глубоким вырезом. В крупных цветах, с оборочками на рукавах... В зависимости от того, какой рукой, с энергией, не отвечающей теме разговора, она жестикулировала, платье сползало то с правого, то с левого плеча, обнажая розовые бретельки.

Я проклинал всё и всех: себя за согласие ставить у Арье, его театр «Гешер», в многозначном названии которого (по-русски — «Мост») для меня в тот момент виделся лишь раздражающий, как это неделями безоблачное небо, оптимизм. И «Трёхгрошовую оперу», которую я репетировал, и душную лавку, и сельдерей, и даму, как банный лист прилипшую. Про себя я костерил её по-русски на чём свет стоит.

Пока я обдумывал план бегства, продолжая автоматически отвечать — клубника... голубика... — она потянулась за лотком на верхней полке, рукав платья сполз, рука оголилась, и... Я замер.

Номер! Синий номер!

На руке был номер заключённой концлагеря.

Впервые не в кино, а наяву я увидел клеймо на человеке.

Женщина уловила мой взгляд и, вскинув брови, удивлённо спросила: «Pan rozumie co to jest?» — «Так, pani... rozumie».

Что дальше — не помню. Как попрощался? Не помню.

Совсем ничего не помню.

Только стыд и мороз по коже!

Не придумаете

«Покаяние». Художник выбрал для съёмок кладбище на батумской горе, — даже не подозревая, что там покоится прах отца Автандила Махарадзе, сыгравшего в фильме роли Варлама и Авеля.

Он был дитя, когда остался один с матерью, заботы о них по древней традиции взял на себя брат отца. Авто (так обращались к нему друзья) познакомил меня в Батуми со стеснительным человеком, с первого взгляда вызывающим доверие. Меньше всего можно было вообразить, что однажды увижу его в богемной сутолоке московского Дома кино. Да ещё на показе три года пролежавшего на полке фильма Абуладзе.

Я радовался за Автандила и, не очень доверяя слухам, ждал подробностей, но первое, что мой друг сообщил при встрече, было: «Я привёз дядю».

Авто сразу почувствовал: вот фильм его судьбы. В день начала съёмок, перед ударом киношной хлопушки, он поднялся к могиле отца и поклялся... не помню, как дословно — перевод с грузинского, который ему пришлось для меня сделать, звучал пышно, а смысл простой: всего себя отдать картине.

И отдал. До конца. «Покаяние» перевернуло его жизнь. До этого он, один из ведущих артистов славного театра Руставели, уже снялся в десятке фильмов (среди них были незаурядные), но тут — общепризнанный успех, всемирная слава. Восторженные эпитеты, слившиеся с именем Автандила Махарадзе... Гран-при, полученный картиной в Каннах, — это особь статья, перевалочный пункт на пути в историю кино.

А потом Авто исчез из моей жизни.

Я винил себя, заикленность на собственных делах, передавал ему приветы. Он молчал. Постепенно становилось ясно: мои недоумение и обеспокоенность разделяют многие.

Сообщали — ушёл из театра. Причину никто не мог объяснить. Это порождало кривотолки и самые банальные толки. Но я-то видел: Авто — ходячая сенсация — на гребне успеха избегал в Москве лишнего внимания к себе. Волновался он об одном: как оценит его работу дядя.

Нужно ли объяснять: когда талантливый, успешный артист внезапно бросает не только любимый театр, но и навсегда сцену, — это ни на что не похоже. Каков бы ни был к тому толчок.

Я не мог уйти от мысли, что происходящее с Автандилом как-то связано с перепадами в сознании людей после резкого изменения погоды в стране, распавшейся на отдельные климатические зоны. У одних давление поднялось, у других упало, кто-то страдал от постоянных скачков, многие слегли.

После показа нашим театром в Берлине брехтовского спектакля Хайнер Мюллер пригласил к себе, помню — под утро, покидая его дом, я подумал, что впервые видел истинного марксиста. В девяностые он сделал неожиданное признание, что мог писать лишь при тоталитаризме.

Какие же метаморфозы произошли с Махарадзе — с того момента, когда он стоял у могилы отца, потом снялся в первом кадре «Покаяния», и дальше, до московской премьеры? И ещё дальше — до нашей неустойчивости в 2012 году? Он приезжал на три дня на кинофестиваль, но меня тем летом не было в Москве, не свиделись.

Смотрю на фотографию — и не узнаю.

Ничто не напоминает в Автандиле Ивановиче неспешного, наивного, круглолицего, с широко распахнутыми глазами, улыбочивого, гладко выбритого друга, которого мы с лёгкой руки Чхеидзе¹ звали Автошка (мы — часто, Темури — всегда). И вправду, крупный, с мягкими манерами, он походил на героя мультфильма про Антошку, который не желал копать картошку.

В ожидании самолёта в Ригу друзья коротали со мной время в аэропорту. На завтра должен был состояться важный для Тбилиси футбольный матч. Мишико Чавчавадзе² решил погадать, выиграет ли «Динамо». Подбросил спичечный коробок — и все возликовали: он упал на ту сторону, которую загадали на победу. Возвращая ему коробок, Авто попросил узнать: «С каким счётом?» Тишина. Все оторопели, а Чхеидзе спросил с интонацией Иа-Иа: «Что — с каким счётом, Винни-Пух?»

Ласковые обращения отвечали тому обаянию детскости и наивности, которыми он отличался в нашей компании.

Ещё и ещё всматриваюсь в фотографию Автандила Ивановича. Даже если на кого-то или что-то обиделся (таких легко обидеть), почему так резко изменил свою жизнь? Лицо уставшего, много пережившего человека. Похудел, седая бородка, в глазах грусть-тоска. Ничего не ждёт. Шлёт нам послание, но я не могу его прочесть.

Я не знаю, как он прожил эти годы, но предполагаю, что всё случившееся с ним не элементарно (слово, раньше любимое грузинами).

Что-то кроется в истории создания фильма, ещё вероятнее — в самой его сути, триумфе и спорах об участии «Покаяния» в установлении гласности. Во всей этой лихо закрученной интриге изрядная толика загадочности. А она, загадочность, всегда была при Автандиле. Не тамада, больше слушал, чем говорил, редко шутил. Политических тем, насколько помню, не касался. Всегда серьёзен, юмору предпочитал тихий, проникновенный пафос. Но вот сыгранные им роли... Они неожиданны. Искромётны, яркая форма, трагический гротеск, парадоксальное воспроизведение обыденных вещей и остро социальных.

«Почему во всех сообщениях об этом гениальном актёре забывают его три роли в спектакле “Ричард III”? Там он сыграл Короля, Епископа и Шута! Кто знает, где он сейчас? Я знаю, что его нет в Грузии», — такое я нашёл в соцсетях.

Нет, не знаете, — он в Грузии. Автандил Иванович в своей стране, той, в которой, опередив соседей, сняли его «Покаяние».

¹ Темури Чхеидзе (1943—2022) — грузинский и российский, советский театральный режиссёр и актёр. Народный артист Грузинской ССР (1981) и Российской Федерации (1994). Лауреат Ленинской премии (1986). — *Прим. ред.*

² Михаил Чавчавадзе (1944—1995) — грузинский, советский художник-постановщик. В 1967—1982 гг. — главный художник театра им. Шота Руставели (Тбилиси). Заслуженный художник Грузии (1981). — *Прим. ред.*

Режиссёр, давая актёру сценарий, предполагал, что он сыграет Авеля. Но в Махарадзе так вцепилась роль диктатора Варлама (в Библии схожее имя: Валаам — «губитель народа»), что он захотел играть обе роли: отца и сына. Для него такие штуки не впервой, но — в театре, по воле режиссёра, а тут по собственной — и в кино.

До чего же скромный, щепетильный Авто был опалён темой, если после знакомства со сценарием решился озвучить мэтру Тенгизу Абуладзе своё желание. Тут какая-то тайна души, предчувствие.

Те три года, пока фильм оставался под запретом (конфискованы все копии и изъяты кассеты), Авто хранил молчание. Как и в дни страшной трагедии, случившейся во время съёмок: Гега Кобахидзе, игравший внука диктатора, был арестован и расстрелян (за участие в захвате самолёта, летевшего из Тбилиси в Батуми). Обыски, уничтожение снятого материала, доносы в столицу: в Грузии снимается антисоветский фильм.

Готовые сцены пришлось переснять.

Авто был молчалив и накануне показа в Доме кино, когда мы с его дядей сидели в ресторане гостиницы «Украина». Похоже, боялся спугнуть удачу, в которую до конца не верилось. То, что каким-то чудом удалось привезти копию фильма в Москву, а Элему Климову — запустить фильм на самый верх, и что его разрешил лично Горбачёв, — я узнал не от Махарадзе.

На следующий день взбудораженный рой столичной элиты только об этом и талдычил. В переполненном зале лишь один зритель не перекрикивался, не перешёптывался, не переглядывался и не вертелся по сторонам — батумский дядя. Он ждал начала сеанса, как грузины ждут, пока накроют стол, не суетясь.

Случается, какой-то эпизод (скачущая по лестнице коляска с ребёнком) оставляет такой яркий свет в памяти, что другие растворяются в его тени.

В некогда культовой ленте «Коммунист» герой своей самоотверженностью подавал пример несознательным элементам. Рубил деревья, валил, отсекал ветки и распиливал, не человек — персонифицированный лесоповал.

На «Покаянии» зал немел: девочка на привезённых товарняком и готовых к распилке брёвнах пытается найти имя отца. В том, откуда их привезли, сомнений нет — сплавлялись по далёким северным рекам.

По словам Тенгиза Абуладзе, в основе — быль. В Чохатаури разгрузили прибывший из Сибири поезд с брёвнами. На них заметили вырезанные, выцарапанные, вырубленные надписи на грузинском. Так политзаключённые передавали на волю весть близким о том, что ещё живы.

Писали, что «Покаяние» изменило общественное (читай — советское) сознание миллионов людей. Если бы! «Архипелаг ГУЛАГ» не смог, куда уж фильму. И всё же — сам факт его появления дарил надежду на будущее. А название напоминало о возможности поступка. Подталкивало генетических молчаливников к артикулированию слов, от которых они недавно шарахались.

Кадры с брёвнами, превращающимися в опилки и щепки (кому не ясна метафора?), сняты в реалистическом, даже в документальном ключе.

Самая эмоциональная сцена «Покаяния» запомнилась и тем, кто не готов был к пониманию режиссёрского языка. Религиозная символика, библейские параллели, отсылка к живописным и музыкальным шедеврам — всё говорило о том, что создатели фильма стремятся к более широкому диалогу со зрителями, чем о разоблачении сталинщины.

Об этом же говорил и финал фильма.

Появлявшаяся в последних кадрах старомодная старуха с чемоданом и рюкзаком за спиной, узнав, что улица, по которой она бредёт, не ведёт к храму, недоумевает: «Зачем нужна дорога, которая не ведёт к храму?»

Не получив ответа, поворачивается и, унося с собой недоумение, продолжает свой путь — в гору по узкой, петляющей тифлисской улочке.

Бессмысленны споры — опоздала картина или опередила своё время. Ни то, ни другое у нас невозможно. Ведь при закладке фундамента будущего стали использовать цемент, применявшийся для скрепления кирпичей прошлого общественного устройства. Землетрясение, которое его разрушило, в расчёт упорно не принимается, так — случайность, недосмотр, козни соседей.

«Покаяние» ново не как суд над сталинизмом, — справедливо заметила Ольга Седакова, — а как суд над его воровским, «не сталинским» продолжением. Над тем, что нечто спустили на тормозах — и жизнь стала мёртвой». Седакова утверждает: Авель лжёт в своей сновидческой исповеди мёртвому отцу. Он не перестал отличать зло от добра. «Что-то о зле он знает, и что-то главное — без него ему не жить. Он всегда будет защищать зло. Он знает, что оно его продолжение. Отречься от зла значит для него отречься от себя самого: это буквально конец».

Разные мнения о необходимости и реальности покаяния (общественного, государственного, индивидуального) сталкивались даже за дружеским столом в доме Нелли Измаиловой и Вити Дубровского, куда пришёл Абуладзе со своим «мозговым центром».

Застолье, как всегда после премьеры, а тут ещё такой долгожданной, было грустным. Гости отвечали на наши расспросы не то чтобы нехотя, а с верой, что друзьям не надо подробно объяснять, с чем авторы встретились в работе над картиной. Евгения Леонова так взволновал фильм, что он весь вечер молчал, изредка вставляя слово-другое в разговор. Похоже, все думали не столько о прошлом, сколько о будущем.

Автандила с нами за столом не было. Остался с дядей.

Стараюсь представить Авто на съёмках «Покаяния», догадаться, что его так ранило, когда он заглянул в омут, на дне которого очутились герои фильма. Три поколения одной семьи расплачиваются за грехи отцов.

Ничтожность Аравидзе-отца (буквально с грузинского — Никтодзе-отца) или людей, насытивших его образ своими чаяниями? С какой готовностью творили из *никого* земного бога? А коли так: артист, раздвоившись между двумя образами, перевоплощаясь в людей по названию разных, но по сути тождественных державных формаций, ужаснулся: дело не в отце, а в сыне. Авелю прикажут — всё стерпит, прикажут — разоблачит кумира, прикажут — возвеличит. Народ — это в эпосе, налицо — население.

Зрители искали и находили в фильме подтверждение правоты собственных тихих ожиданий: диктаторы и их подручные должны принести покаяние. Но создатели фильма недвусмысленно давали понять: не стоит обольщаться, это лишь мечта. На самом деле так точно попавшее во время «Покаяние» — фильм-притча.

Знал ли Автандил Иванович до съёмки, что мелодия Верди из оперы «Набукко», звучащая в фильме, — гимн евреям, идущих на казнь?

Фантастичной игрой и уходом в себя после невиданного триумфа Махарадзе поразил друзей и приятелей. Но подозреваю — прежде всего себя.

Мне не удалось повидать его в тот раз, когда впервые после долгого перерыва приехал в Грузию. В аэропорту поставили визу и что-то вложили в паспорт. Оказалось, открытка — Welcome to Georgia! Встречавший меня Темур Чхеидзе сказал: Автошку редко видит, он никуда не ходит, просил передать тебе привет.

Я тоже передал ему моё приветствие.

Хорошо было бы посидеть с Автандилом Ивановичем за грузинским столом, поговорить о разном — трудно ли жить после того, как в расцвете сил создашь такой актёрский шедевр, а ещё о старом и новом, о нас.

В кино нужно ввести нового героя. Сандро Баратели дорого заплатил за то, что не пошёл на сделку с совестью. Разрушена семья, разрушена древняя церковь, которую оберегал. Интересно — как Авто понимал тогда финал фильма?

Впоследствии его обсуждения превращались в яростные споры о будущем страны. Сегодня, из нашего дня, они выглядят как будто риторическими. На ближайшие лет двадцать всё определено, но не навсегда, верно?

Волнует: одна дорога к храму или несколько?

Нужна ли улица, которая не ведёт к нему?

Ведь такие кругом, а на них дома, квартиры, в них люди.

Махарадзе — друг. Не буду пытаться его расспросами. Я уважаю паузу, которую держит артист, не желающий больше выходить на сцену.

Пауза

Надо сказать о том, о чём я сам с собой избегал разговаривать. В месяцы, предшествовавшие закрытию театра, в недели, в день прощания с нашей сценой, никто из близких мне людей не объявился, не звонил. Аджубей звонил, Кирилл Лавров звонил, а мои — Наташа, Лиля и Семён, Юра, Толя, Серёжа... Не звонили, не писали. И когда я расстался с надеждой на тонких ножках — продолжить что-то в Риге и переехал в Москву, мы общались мало. Так мало, что и говорить не хочется.

С годами всё стало на свои места без лишних *как, что и почему*. Долгая пауза не омрачила наши отношения. Несколько лет, что она длилась, пролетели подобно смерчу, в который когда-то попал в саванне. Не успел понять, что катится навстречу, как мотор заглох, в пыльном облаке машина стала содрогаться, недоумевая и возмущаясь. Миг — и шар далеко позади скрывается за горизонтом. Мотор завёлся. Тихо — будто ничего не было. Можно ехать дальше.

И всё-таки, почему возникла эта пауза, что она содержала, что в ней происходило? Простятся справедливые, не избитые, что-то объясняющие, не рассудочные соображения о том, как новое время разделило людей. Помилуйте, но не таких умных, достойных, много видевших, как мои друзья. Тут другое...

Что-то смахивающее на шок. Если так, — разгладить морщины на лбу и не мучиться. Не о чем говорить. Это состояние не поддаётся простому анализу, находясь в нём человек не понимает — *что, когда, зачем и почему*.

Однажды поймал попутку с двумя пассажирами, сел сзади, и вскоре — скрежет, лязг — нас смяла другая машина, тоже летевшая на скорости. Дверца выпала, я за ней, но чудом зацепился рукой за спинку сиденья шофёра. Рядом с головой крутился волчком булыжник, затем всё замерло. Тут и началось интересное. Грузный дядя, сидевший впереди, выскочил и, бросив портфель, кинулся наутёк, другой — хохотал. Таксист, вскричав, как на суде: «Я виноват!» — осмотрел то, что когда-то было машиной, стремглав бросился назад и... выключил счётчик. Я, шупая ноги, про себя бубнил: «Жив, жив». Срочно сообщить в театр, что всё обошлось. У телефонной будки остановился — зачем? Там ведь ни о чём не знают. Вернулся. Нет, предупреджу — репетиция состоится. Так и ходил, от машины к телефону и обратно, вновь к телефону. Хотелось сообщить всем, что я в порядке.

Кажется, многовато машин въехало на одну страницу. Таково свойство памяти: вспомнишь одну — подъезжает другая. И вот уже целый парк.

Решение обосноваться в Москве в немалой степени было вызвано тем, что здесь они — те, без кого город — всего лишь географическое понятие. Я ехал к ним, а в результате много времени проводил на скамейках в скверах и палисадниках.

Нет, я не бомжевал. Вдали от парадных проспектов впитывал тихую красоту, душевность переулков, с которыми раньше не имел контакта. Приезжая сюда, наговорившись с друзьями, посмотрев новые спектакли Эфроса и Любимова, сделав бессмысленные визиты в министерство культуры, всегда рвался назад в Ригу. Там уютные кафе, пушистые гвоздики, а не завёрнутые в целлофан стебли со сморщенной красноватой завязью, там дарили одну розу, достойную натюрморта, а не веник усталых бутонов, которым не судьба распуститься. И там не было статуи Крупской в облике тургеневской девушки, около неё я теперь часто сиживал. Большая любительница объяснять народу, что позволительно читать и писать, а что вредно, ко мне была абсолютно равнодушна, ведь я тогда ещё и не думал что-то писать.

Не отпускали фантомные боли от потери театра. Во сне я пытался в него попасть. Что за чертовщина — не узнаю двери, они другие, непривычные. Звоню, стучу. Вахтёр не открывает. Надо же, всегда такой приветливый. Он не отдаёт мои вещи, вырезанную отцом из дерева собаку, которая раньше в театре никогда не была. Я кричу на несчастного так, что самому стыдно. Не пересказать все сны. Чем явственнее, тем хуже утро: прежней жизни не будет, а новая — во всём новая.

Спустя годы, шли с Лунгиной после «Милого лжеца», поставленного мною у вахтанговцев, говорили о Семёне Львовиче, покинувшем мир, и я не выдержал, спросил: куда же они тогда пропали? Единственный раз задал этот вопрос и впервые услышал от умницы Лилианы невразумительное объяснение — дескать, ты же не звонил, но мы постоянно говорили о тебе... Я сменил тему.

Наташе Крымовой

Давно, когда не знал, как приступить к писанию (будто теперь знаю), ты посоветовала: пиши мне письма обо всём, что хочешь рассказать. Потом разберёмся, что с этим делать. И, чтобы рассеять всякие сомнения, добавила: способ, проверенный с Мишей Туманишвили.

Затем вы с ним отсеяли лишнее, добавили недостающее, и получилась книга, которую даже молодые читают. Не помню, обозначено ли твоё участие в её создании. Впрочем, речь о другом.

Жалею, не воспользовался подсказкой, вспомнил теперь, когда мы уже не рядом. Хочется сказать вслед тебе что-то сокровенное, значимое. Ведь в последние годы ты ушла в себя, и мы не сумели толком поговорить. Договорить.

После ухода Эфроса ты при привычной внешней собранности была предельно напряжена. Особенно когда гости вдавались в воспоминания об Анатолии Васильевиче. Профильтовав слова и сюжеты застольного оратора, ты выносила не поддающийся апелляции вердикт: «Этого быть не могло». Дальше смельчаку оставалось только пить и жевать. Когда речь шла о чём-то дорогом для тебя, ты всегда настаивала на единственности своего суждения. Я часто этим восторгался, но, признаюсь, тогда посочувствовал без вины виноватому.

С годами желающих и могущих говорить становилось меньше, да и ты отгораживалась от них. Вряд ли помнишь, Наташа, минуты, когда среди общего разговора ни о чём, ты подседа, взяла мою руку в свою... вот и всё. Ни слова. Это была последняя встреча. Навсегда — твой вопрошающий взгляд.

Что у нас происходит? Не хочу волновать, скажу вот о чём: тебя вспоминаем. Я часто, но и другие проявляются. Читал кое-что из вновь написанного о журнале, очередной номер которого с нетерпением ждали театры страны, и не только они.

Пишут содержательно, главное — слова присоединяют друг к другу осторожно, словно боясь нарушить твой покой. Конечно, не обходится без дурных рассуждений о «шестидесятниках» и прочих обобщений, которые малого стоят.

Дорогого стоит то, что в должной (не скажу полной) мере оценивают сделанное журналом «Театр» в пору, когда вы сгрудились в талантливую и дружную компанию. Разумеется, пишут те, кто способен к сравнениям.

Публицистикой не пахнет. Никто не впадает, как говорил твой любимый Станиславский, в пафос докладчика. И без пленительного ретро. Мол, как молоды мы были, распивали чай в тесной редакционной комнате, уставленной канцелярскими столами, и хватались друг за друга, чтоб не пропасть поодиночке.

Всё больше тоскуют о профессиональном уровне, который был задан там, на Кузнецком мосту. О том, судя по всему, безвозвратном времени, когда критики и практики сцены нуждались друг в друге, когда понятие «движение» было применимо к театру. Скажу справедливости ради — эта музыка недолго играла.

Возможно, напрасно тереблю. Ты избегала сантиментов на эту тему. Слишком много радостного и горького связано с журналом. Но ты должна знать: помнят о нём и о том, что Наталья Крымова сделала.

Это важно сегодня. Неслучайно с плохо скрываемой завистью пишут о твоей бескомпромиссности, твёрдости в отстаивании того, что считала ценным в жизни и в искусстве. По тем временам это было редкостью, а уж по нынешним... пользуясь забытым словом, — дефицит. В общем — не хмурься. Признайся: всегда ведь хотела не просто оценивать явления, но и влиять на жизнь театральную?

Я разыскал письмо, полученное в те, шестидесятые, из той редакции «Театра». До чего же важно молодца вовремя одёрнуть. Какое письмо? Ну, написал молодой главный режиссёр в журнал по твоей просьбе какую-то статейку хитрую. А в ответ: «Надо и можно написать всерьёз, почти (!) не думая о цензурных установлениях. Как будто для того, чтобы сказать на копейку правды, нам надо выдать на рубль чепухи». После такой головомойки впору руки опустить, но в конце — повеление: «Статья нужна обязательно. Садись и пиши...»

Было ясно: твоя, многих раздражавшая, категоричность — не что другое, как определённая взлядов и вкуса. Те, кто ими не обладал, предпочитали обойти стороной простое понятие — взыскательность. В среде, которую принято именовать интеллигенцией, «да» и «но» вечно рядом. Удобно спрятать за спасительное «но» страх принять решение, занять позицию, расходящуюся с общим мнением. Вот чего ты не боялась, опрометчиво не боялась. И на друзей давила, не считаясь с обстоятельствами, требуя от них больше, чем можно.

Ты любила Вольдемара Пансо¹. С нежностью писала о нём. Признаюсь, я содрогнулся, когда при известии о том, что с Волей (как мы его звали) после очередного конфликта с властями случился инфаркт, ты изрекла: «Слабак!»

Наталью Анатольевну побаивались друзья и враги. И тем, и другим отказывалось в праве на так называемый объективизм, на пресловутое «не так всё однозначно». Враги мстили, друзья не выдерживали, становились бывшими.

Тебя это не смущало. Не знаю, возможно, за граничащей с жестокостью иронией по отношению к ним, бывшим, скрывалась горечь разочарования? Готовность прийти на помощь другим даёт право строго спрашивать со всех. Справедливо, да только не все рождаются сильными, верно? Представляю твою реакцию на такой риторический вопрос. Что-нибудь вроде «это их дело».

¹ Вольдемар Пансо (1920—1977) — эстонский, советский актёр, театральный режиссёр, педагог. Народный артист СССР (1977). — *Прим. ред.*

С какой энергией ты включилась в грузинские события. Когда всё распалось (я не про СССР, про человеческие связи) и никому ни до кого, кроме себя, не было дела, ты организовала сбор денег для тбилисских артистов, оказавшихся в отчаянном, бедственном положении.

Грузинское посольство, поздний вечер, за необычным столом, где много зелени, но мало мяса и тосты совсем дежурные, усталые, нам объясняют, что бессмысленно что-либо предпринимать через официальные организации, до людей ничего не дойдёт, советуют действовать исключительно через личные контакты. Так возникла мысль, чтобы каждый театр выделил несколько своих представителей, через которых можно передавать помощь. И пока все вокруг под прикрытием гласности негласно перестраивали собственные мозги, приводя их в соответствие с жёстким временем, благосклонным к крутым, ты рванула в холодный и голодный Тбилиси.

Пусть рассуждают о твоём эгоцентризме те, кто в дни перемен искал «ниши», заботясь об одном: не упустить момент, когда коммунальные квартиры можно с лёгкостью превратить в собственные. Не хотел говорить о них, а заносит.

Всегда восхищался твоим умением отделить главное от второстепенного. Придёшь, выдохнешь всё, что накопилось, и ждёшь. А ты таким ровным голосом: «У тебя сигареты лёгкие?» А потом: «Гречку будешь?» И после короткого разговора ни о чём: «Ну, давай разберёмся, что можно отложить, а что прежде всего».

Кажется, многие из тех немногих, кто приходил в ваш с Эфросом дом, преследовали тайную цель: обрести ясность.

Ты умела вникать в ход чужих мыслей. Оттого и доверялись режиссёры. Ждали твоего суда, как мазохисты истязаний. Иной хвалит, слова журчат, но вдруг понимаешь: к тебе это отношения не имеет. А когда критик говорит так, словно присутствовал на твоих репетициях... Хочешь — не хочешь, а прислушаешься.

Сейчас пришло время не статей, а заголовков.

Равнодушным оставляют писания, из которых явствует: критик не прочитал спектакль, не взгляделся, не способен разглядеть твои намерения. Он делится галлюцинациями, посетившими его в темноте зрительного зала. Изложить собственные фантазии можно, не утруждая себя походом в театр, не правда ли? Не знаю, как других, но меня репортёрские заметки, для остроты приправленные изрядной долей хамства по отношению к авторам спектакля, не больно задевают. Лёгкое раздражение наутро улетучивается с остатками дурного сна.

Одна из удач рижского театра, что с ним была Наташа Крымова. Знала его, постоянно встречалась с труппой, следила за ним, спрашивала с него, помогала и отказывала в праве на покой. Это больше того, на что может надеяться режиссёр.

Театр не состоится, не определив отношений с миром. Твоё участие помогало это сделать. Приблизительность — коварный враг искусства — отступала перед истинностью отношений, что сложились между тобой и труппой. Ничто так не вызывает доверие актёров, как способность читать их судьбу как свою.

Сначала актёры переглядывались. Поди докажи, что ничего не рассказывал Крымовой о том, как они шли к премьере. Что у неё такой талант: вникнуть в помыслы сочинителей, а уж потом оценить. Талант-то талант, но каково напряжение. После таких обсуждений ты была измочалена посильней, чем иной актёр после спектакля. Долго не могла отойти, вновь и вновь прокручивала — что случилось, а что нет, проверяла верность догадок, радовалась попаданиям и огорчалась, если не угодила в яблочко. Я всматривался и старался вникнуть в театр одного критика, он был не менее увлекателен, чем открытый для публики.

Знаешь, Наташа, твои славные телевизионные беседы замечательны этим напряжением. Словно наблюдаешь режиссёра на репетиции. Видно, как волнуешься, удастся ли вытянуть задуманное? Властно, но незаметно для несведущего зрителя подсказываешь собеседнику то, что он может и должен сказать, радуешься удачной

фразе, переживаешь, когда действие уходит в сторону, ищешь, как открыть другим то, что ценишь в Анджапаридзе или Раневской.

Эти передачи внушали почтение к театру и его людям. Ты передавала своё восхищение мастерами миллионам. Об этом вспоминаешь теперь, когда видишь, как в очередной телегостиной господа актёры, давась со смеху, рассказывают друг другу, кто, как и где перепутал реплику, опоздал на выход или с бодуна играл. Неужто не понимают, что это дурно. Всякое бывает, но не станет же мастер (в любом деле) бахвалиться своими промахами. Ведь в конце концов поверят — и уже верят: всё, чем они занимаются, по большому счёту — тарарабумбия.

Не бесталанные люди, что-то читали, всё смотрели, но до чего глупо хохочут каким-то особым клановым ржанием. Сально самодовольные, вне себя от своего, как они считают, юмора, собираются потрындеть, продемонстрировать раскованность.

Вот уж от чего ты далеко стояла. Было желание понравиться, не без того. Но чем? Тем, что не держишь открытия при себе, как безумный коллекционер, в одиночку наслаждающийся картиной. Ты открыла широкой публике Мильтиниса¹, Туманишвили², Пансо и Любимова, много имён. Использовала любую возможность просветить непосвящённых. Книжки, статьи, радио, на худой случай — телефон. В этом что-то от миссионерства, столь свойственного русскому сознанию.

У нас без направления театр — не театр, жизнь — не жизнь. Ты строго держала курс на художественный театр.

Вот как получается. Не хотел говорить о твоём даре открывателя, театрального писателя, блистательного стилиста, редактора. Тогда уж надо было бы и о твоём открытии дипломного спектакля вахтанговского училища «Добрый человек из Сезуана», с которого пошла Таганка, и книге «Яхонтов», ставшей сюрпризом даже для тех, кто что-то знал об артисте, о помощи Кнебель в деле возвращения наследия Михаила Чехова и о многом другом, что требует разговора неспешного, подробного, раздумчивого, такого, как ты умела вести.

И тогда уж, как хочешь, но на правах одного из персонажей, я бы сказал о статье в «Комсомолке», в которой впервые упоминались сразу три молодых режиссёра: Стуруа, Чхеидзе и Шапиро. Может быть, благодаря тебе наши будущие дороги на протяжении долгого времени странным образом пересекались?

Прости, Наташа. Сумятица. Слова, фразы и эпизоды мелькают, словно в окне на всех парах мчащегося поезда. Пары... Откуда они взялись? Совсем запарился. Нехитрый каламбур. Но каждый раз волнуешься, когда в том, что казалось, проглядывает смысл, который раньше в суете не замечал.

Какое-то собрание в клубе писателей. Подписывают письмо в защиту моей харьковской студии. Его передают из рук в руки, вот приходит к тебе. Нас знакомит Арбузов. Все что-то ободряющее лепечут, а ты — «закроют, надо быть готовым».

Рига. После выступления на жаркой театральной конференции вас с Эфросом просят зайти в ЦК партии и недвусмысленно дают понять: гостям предпочтительнее уехать домой. Точно знаю — сами они такое не придумали бы, это Москва соскучилась по вам, не нравится ей, что вы отдаляетесь.

На маленькой кухне в доме в Самотёчном тихо говорим о громких делах. Тихо — не из-за боязни, просто рядом спит Дима. А потом, на Тверской, где-то около десяти вечера — «прости, подожди, надо с Димкой перед сном поговорить». Ты из каких-то лоскутов сочиняешь штору, сын ласково прислонился к тебе.

¹ Юозас Мильтинис (1907—1994) — литовский, советский актёр, театральный режиссёр, педагог. Народный артист СССР (1973). — *Прим. ред.*

² Михаил Туманишвили (1921—1996) — грузинский, советский театральный режиссёр, педагог. Народный артист СССР (1981). — *Прим. ред.*

Поздно засиделся. Кончились сигареты. Решил выскочить на улицу, стрелкнуть у прохожих. Эфрос улыбается, как хирург, после операции разрешивший мне закурить в палате. А на лестничной площадке, у решётки — пепельница. Помню её, неказистую, но такую внимательную к гостям с дурными привычками.

Закат солнца у Красной Пахры. Ждём автобуса. Ты читаешь Пастернака. Будто и не было этого бредового совещания, где Фурцева пела об успехах в области балета (почти по Визбору) и о преимуществах самодеятельного театра перед профессиональным. (На одном из таких совещаний мхатовский Яншин спросонья задал ей вопрос: пошла ли бы она к самодеятельному гинекологу?)

Наташа, Эфрос и я на даче Арбузова в Переделкино. В коридорах на широких тарелках красуется резиновая жвачка всяких видов, видимо, для напоминания о разнообразии жизни во всех её проявлениях.

Любимов потешает байками о своём пребывании в ансамбле КГБ (все смеются), Радзинский — о Софронове (все возмущены). Кроме элегантного режиссёра с хорошей театральной родословной. Недавно он состряпал спектакль по пьесе редактора «Огонька» и с невозмутимым видом уминает мороженое. Обо всём происходящем в тот день Наташа бросала, как всегда точные и колкие, реплики, но никто в полемику с ней не вступал — себе дороже.

В Латвии покупается батик: «Франциск Ассизский». Понятно, с голубыми. Ты была счастлива, сказала, что это первая картина, которую вы с Эфросом приобрели. С годами краски выцвели, картина переместилась из комнаты в коридор, но мне по-прежнему радостно было видеть этого миротворца на Тверской.

В журнал прислали автора пьесы «Барабанщица». Черты твоего лица заострились, оно становилось всё озабоченнее. Новый редактор не похож на прежних. Те, при всей разности, понимали значение Крымовой, чьи статьи становились событием, для авторитета редакции. А этот с чёртиками. Заявил: главный редактор должен быть один. Не представить тебя без журнала. Пришлось.

Пансо выгуливает нас по, как всегда, сказочному Таллину, а Эфроса мытарят как хотят, перебросили в театр на Бронной.

Мы в Паневежисе в гостях у Мильтиниса. С близким другом режиссёром Бледисом они совсем по-семейному принимают нас. С любовью показывают комнаты, спальню. Уютно. Пока друг хлопочет у плиты, мы с Юозасом, время от времени посылающим короткие команды на кухню, за шампанским толкуем о всякой всячине.

Он улавливает наше исключительно советское смущение и, похоже, про себя посмеивается. В отличие от него, мы не учились у Дюллена и не жили в студенчестве в одной комнате с Луи Барро. В тот вечер Мильтинис рассказал, как с третьим квартирантом по снимаемой парижской квартире они «уступили» за ящик хорошего вина будущего великого Барро будущей великой Мадлен Рено.

Михаил Ромм показывает «Обыкновенный фашизм» в старом здании университета. Возвращаемся по тёмной Москве молча. Нет обмена впечатлениями. Как бы всё сказано. Кивком ты обращаешь моё внимание на Эфроса. Опустил голову, идёт, не замечая луж и колдобин. Уловив наши взгляды, он странно хмыкает и пожимает плечами. Мол, такие дела.

Запрещены «Три сестры». Мрак. Сидим на кухне. Анатолий Васильевич выходит в коридор и долго не появляется. Ты просишь посмотреть, что он делает. Выглядываю — стоит, рассматривает корешки книг. Спустя время заходит: «Может быть, “Любовь Яровая”, а? Для Яковлевой роль есть, Дуров — Швандя?» Ты сказала что-то резкое (шоковая терапия), Толя сел за стол, жуёт сыр.

Новый год. Родители Эфроса одеты соответственно событию. Отец в галстук, а ты в тренировочных брюках, подчёркивающих, видимо, домашность праздника. Слушали записи Брубека.

День твоего пятидесятилетия. В Риге. Днём и вечером вы смотрели обе части «Пер Гюнта» (на афише так и было: «Пер Гюнт. День» и «Пер Гюнт. Вечер»). А ночью праздновали твой день рождения у меня дома. Было весело несмотря на то, что над одним из лучших спектаклей Эфроса сгушались тучи. Не прощу себе, что не записал тогда его рассказ о том, как хочет поставить «Гамлета» с Калягиным.

Потом уехали на пару дней за город. Замёрзшая Гауя, снежные лесные тропинки и стук дятла на морозе. Эфрос время от времени читал нам за обедом гневные филиппики на рецензии о «Трёх сёстрах». Не мог успокоиться, будто предчувствуя дурное. Автор Нагорной проповеди советовал не метать бисер перед свиньями, чтобы те не попрали ногами и, обратившись, не растерзали вас. «Толе *надо* писать, — сказала ты. — Не волнуйся, он их не отошлёт».

Не забыть ночной звонок, когда возник, будь он неладен, сюжет с Таганкой. Ты начала с того, что «звоним лишь трём друзьям: Туманишвили, Юрскому и тебе». Чудом судьба не развела тогда. Наши оценки и понимание происходящего, кажется, впервые разошлись. Всё, проехали, не стоит. После «На дне», первого спектакля, если можно так сказать, эфросовской Таганки, ты выразительно глянула на меня и назидательно молвила: «Вот видишь». Следовало понимать: ты был не прав. Я промолчал. Что Анатолий Васильевич — великий режиссёр, я давно знал, поклонялся его таланту, остальное — игра времени.

Вскоре закрыли рижский театр. Когда мы впервые после тех дней встретились в московском Доме актёра, ты совсем по-крымовски приободрила: «Всё в порядке. Хорошо спину держишь».

А смысл всё-таки в том, что она, жизнь, ничему не учит. А учит расставание, как это ни горько. И жизненный опыт — это опыт потерь. И собственных ошибок!

Достал «Имена». Кажется, из тех, о ком ты в этой книжке пишешь, я остался один. И поэтому с особым волнением перечитал пространную надпись, сделанную тобой. Половина текста — слова Бунина, которыми ты венчаешь книгу. Могла бы, по известной манере большинства авторов, отослать меня к ним — смотри стр. 229. Но ты старательно переписала их своим летучим почерком:

«В сущности все мы, в известный срок живущие на земле вместе и вместе испытывающие все земные радости и горести, видящие одно и то же небо, любящие и ненавидящие в конце концов одинаковое, и все поголовно обречённые одной и той же казни, одному и тому же исчезновению с лица земли, должны были бы питать друг к другу величайшую нежность, чувство до слёз умиляющей близости и просто кричать должны были бы от страха и боли, когда судьба разлучает нас, всякий раз имея полную возможность превратить всякую нашу разлуку, даже десятиминутную, в вечную...»

Давид

Мы виделись в разных компаниях и обстоятельствах: на выставках, премьерах, юбилеях и приёмах. Какой-то ни к чему не обязывающий перезвон, пересечение. Встречались, но не встретились. Встреча с Боровским, великим театральным художником, произошла позже, чертовски поздно, но навсегда. В работе над «Вишнёвым садом». Долго примеривались, а решились враз, в фойе МХТ. С этого часа пошёл отсчёт времени, отведённого нам для общения.

Встреча на пьесе о мимолётности жизни стала для каждого из нас возвращением в прошлое. Чехов не только позволял осмотреться вокруг, но провоцировал оглянуться на минувшее. Оно представало в обличье украинского «життя». Молодость Давида прошла в Киеве. К его наблюдениям о той, прошлой, жизни, пояснения не требовались.

Воздух, которым он дышал в юности, по составу был схож с тем, что пьянил меня — пусть не в тогдашней, а в бывшей столице.

Звёздные ночи, каштаны, уцелевшие курбасовцы, протяжные выкрики точильщиков ножей и «шурум-бурум, старьевщи, старуюбувь покупаем», дворники, подснежники, «белые» и «чёрные» семечки, гематоген, пиджаки с колодками орденов и вкус картофельного супа, заправленного жареным на сале луком, — любимого блюда театральных пожарных, по утверждению Боровского.

Его рассказы, как декорации, отличались лаконизмом. Многих персонажей — добрых знакомых — я потом встретил в книжке Давида. Таких не забудешь.

Артельщики, хлебнув сиреневого денатурата, запивают его глотком воды из колонки и закусывают серебристой тюлькой из газетного кулька...

Профессор в синей выцветшей телогрейке отдыхает с метлой в руке на венском стуле, прислонившись к стене института, где до отсидки преподавал...

Женщина мчится домой с колечком чёрной целлулоидной плёнки, случайно запечатлевшей её покойного мужа...

Сиреневый спирт, серебристая тюлька, чёрный целлулоид, синяя телогрейка — всё это он называл «заготовками». Если имел в виду то, что под этим понимают сапожники, то в сшитой из них обуви можно отправляться в дальнюю дорогу.

Библейское имя Давид подходило его облику: выразительная форма головы, сосредоточенность на грани угрюмости, молчаливость, надёжность...

Его можно было представить в античных Афинах, во Флоренции Медичи и на Святой земле. Руки ваятеля. В работе — когда резал, чистил, измерял, затачивал, сшивал, крепил, клеил и прилаживал — его выверенные движения знатока своего дела вызывали восхищение. Не то одесский портной, не то киевский сапожник.

Боровский ценил рукотворные вещи. И натуральные материалы — дерево, бязь, шерсть, льняное полотно, — передающие теплоту. Неслучайно считал великими пастернаковские слова о том, что поэзия не в небесах, а под ногами.

Как не вспомнить, что пророки у художников Возрождения выглядят довольно прозаично. Никакой оторванности от земных забот.

Про умение прощать другим слабости, не требуя ото всех твёрдости, отличавшей его поступки, про редкую для наших дней незамутнённую репутацию — говорила вся московская элита. Но каким ветром Давида занесло в театр?

Признаюсь, предвидя этот вопрос, я заготовил было пару эффектных фраз.

Удивление вызывало, что этот всеми признанный мудрец предпочёл надёжной бочке с прочными обручами — театральную карусель. В её безумной круговерти он выглядел раввином на сборище неисправимых наркоманов.

Но вспомнил, что Любимов так звал Боровского — *ребё*, — и сник.

По рассказам свидетелей, художник однажды вошёл в комнату в момент, когда руководитель Таганки давал наставления начинающим коллегам: «Смотри, ребё, вот я сию, как Иисус в окружении своих апостолов. Как считаешь, чего не хватает?»

Боровский ни на секунду не задумался: «Хорошо бы, чтоб вот эти двое встали за вашей спиной, сложили руки перед собой и, как положено у евреев, качались бы, восторженно цокая языком и восхищённо причмокивая...»

Если бы кто-то поставил цель принизить роль Боровского в успехе Таганки, ему бы это не удалось. Не позволили бы сами сценографы, при жизни признававшие его лидером, старшиной своего цеха. Редкий случай единства в творческой среде — бессрочный пропуск в храм истории искусств.

Боровский совершил переворот в сценографии, превратив её из сценической иллюстрации в самостоятельный вид искусства. Он начинал в годы, когда достижения русского авангарда после долгого затворничества вновь были на виду.

От этих художников к тому, что делал Давид Львович, тянется связующая нить. Но не будем отбирать у искусствоведов хлеб. Сам Мастер не питал слабости к декларациям и числил себя конструктивистом. При том что его мышление и владение различными способами выразительности куда шире.

В сценических решениях Давида нет показной дерзости. Их исключительно выразительная пластика становится основной метафорой спектакля. Он не модернист, и не подмигивал мейнстриму, но, чтобы ни делал, — все части его работ уравновешены, внутренне связаны, покоряют логикой. Проникновение в предысторию, в то, из чего и как всё развивалось, — классический почерк.

Сергей Бархин считал Боровского первым художником театра XX века. И не ошибся. По работам Давида легко представить, каким был недавно театр. Его макеты — прообраз будущего спектакля, поэтому они — свидетельство, не мечтания, а документ. От режиссёрских построений — остаются слова, а тут всё наглядно. Это не описание места событий, декорации активно участвуют в них. В таганковском «Гамлете» несут основной смысл и, по сути, едва ли не главное действующее лицо.

В макетах актёр — фигурка, вырезанная из бумаги, подсказывающая соотношение масштаба человека и среды. Но внимательные исполнители могли найти у Боровского ключ, которым открывается пьеса. Дальше — терпение.

Богатство его идей не обнаруживается при первом взгляде, а раскрывается по ходу спектакля. Воздействие знаменитых находок, многократно увеличивалось, когда играли актёры, готовые их подхватить. Ныне найденное им тиражируется, но без той радостной серьёзности, с какой несли шесты-берёзки, венчающиеся скворечниками, часами с кукушкой, избами величиной со скворечник на Таганке. Известно, но не упомянуть — равно что говорить о поэте, не вспомнив его стихи.

Кстати, сам он сравнивал своё дело со стихосложением. И привнёс в язык сцены новые понятия: вещесложение, вещесочетание, — доказав их право быть.

Боровский ценил умельцев. От природы было дано, от родителей? Или потому, что в жизнь вошёл не с парадного подъезда? Юноша из художественной школы должен был помочь семье — в послевоенную пору жили скудно. Дэвик (так звали в детстве и друзья) подался в театральные маляры.

Ему везло. Киевский русский, наподобие всех хороших театров, славился мастерами. Не только теми, кто на сцене. Бутафоры, мебельщики, реквизиторы — и по ним судят об уровне театра. Встреченные юношей в декорационном цеху чудаки-умельцы не променяли бы причастность к театру ни за какие деньги.

В своей книжке он уделил им едва ли не столько же места, сколько Любимову, Параджанову, Аббадо и самому Шнитке. И я, следуя его уроку, помешу сюда же старика Булгакова, научившего пацана переводить эскиз на большой холст, разбивая его на квадраты. И бывшего разведчика Павлусевича, который мог бы о многом рассказать, но открыл секреты изготовления вуалек для дамских шляп (как-никак тоже маскировка). Начальник декорационного Савва показал, как длинными кистями писать «задник», и познакомил со стихами Есенина и с мирискусниками. От него Дэвик заразился сочинением декораций.

А вообще-то, неблагоприятное дело гадать, у кого, что и как художник взял. Он не берёт, он впитывает. Важно то, что запомнилось, где и как аукнулось...

Возможно, столяр Смоляр, чинивший кресла и бравший трёшку за любые «левые» работы независимо от сложности, стоял за плечом, когда делался макет «Деревянных коней» Абрамова. А бухгалтер Ракита, дающий «визу на мыло только по требованию», участвовал в «Обмене» Трифонова. Тогда выходит, что библиотекарь, очаровательная Чара Ильинишна, — булгаковская Маргарита?

Запахи, цвет и свет — подробности тогдашнего житья — Давид выхватил зорким взглядом. Хлеб, сало и чеснок на верстаке, кусок пола, обитый жестью в курилке, заточка стального жала для рубанка, зелёный крахмал для клёна и ярко освещённую сцену из темноты рабочего мостика под самой крышей.

А если спуститься на землю, — он поражал трудяг знанием их забот и причуд. Его принимали за своего, отвечали взаимностью на любовь. То же и с актёрами.

Литвинова в начале работы над «Садом» известила меня: художник по костюмам у неё свой. Но одной встречи с Боровским было достаточно, чтобы Рената отказывалась идти к портным, даже на дежурную примерку, без Давида Львовича.

При внешней замкнутости, даже хмурости, он был очень домашний. Не в тяготении к уюту, а в желании чувствовать себя среди своих. В этом смысле у нас с Давидом было сходное прошлое, связанное с годами служения одному театру. По случайности отмеренное одной той же цифрой — тридцать лет.

Можно ли рассказать, о чём мы молчали при встречах? Можно, но не нужно. Ему хватало знания о судьбе театра, где были ценные им Китаев и Фрейбергс. А я не хотел его тревожить расспросами. Хорошо знал: нельзя не тосковать по театру, который строил и который был вторым или первым домом.

Давид избегал разговоров о «Таганке». При этом не скрывал любви к прежней способности театра жить по законам крепко сбитой артели.

Как иначе, если он творил в неразрывной связи с ней?

Всё так, но позднейшая история любимовской команды стала для её сценографа-философа доказательством: запас «любовного напитка», которым театр жив, не бесконечен. Театр делают люди, а у каждого свой запас прочности.

Служители превращаются (или их превращают) в служащих. Многих искушает поповская свора, закладывающая душу за успех. Давид как-то назвал его вялотекущей гангреной, но есть одержимые, готовые отдать конечности, пусть без них, но на вершине. Иные оценили доход от целесообразных поступков. Стихия разъединения прокатилась по театру, изменив его строение, само устройство.

С возрастом (а тут ещё распад страны) всё поляризуется. Или плотнее друг к другу, или параллельно. Разность отношения к людям, устремлений, привычек — сказалась. Юрий Петрович — блестящий лицедей, политик, импровизатор, не представлял дня без сюжетной остроты. Он менял маски, как одежду: итальянский галстук, джинсовый костюм, или весь в белом, кашне шоколадного цвета... А Давид контрастным тонам предпочитал рабочую одежду, мятые кепки или шапки, избегал публичности и эффектных поз, не удивлял занятыми выходками.

Давид Львович Боровский никогда не суетился, в нём поражала спокойная уверенность человека, который уже осуществился — осуществил себя.

Любимов — Боровский... Десятилетия выдающиеся театральные личности работали в связке. Без Боровского не состояться бы Таганке в том виде, в каком она вошла в историю, а без Любимова трудно представить судьбу Боровского.

После Таганки он жил плодотворнее, чем сообщество без ребе. Ведь кроме пламенного мотора театру нужна совесть. Без неё он вертится шумно, но вхолостую.

Давид ходил зимой в потёртой заячьей шапке и не любил славословий в свой адрес. Будучи в центре внимания, тушевался, как школьник, вызванный к доске. Запоминающиеся картины: после бездарного спектакля к Давиду подбежал довольный собой сценограф и с подъёмом «ну, что скажете, мастер?» — тот развёл руками *«нет слов!»*.

В другой раз, сообразив, что ему не избежать отзыва об архитектуре нового здания, сооружённого в стиле раннего Лужкова и позднего Церетели, смущённый Давид Львович честно признался сопровождающим: *«Такого я не видел!»*

И мне, признаюсь, не по себе, когда представляю — вдруг Боровский увидел бы написанное мною и развёл руками: «Нет слов. *Такого* я не читал».

Из работы над «Вишнёвым садом» больше всего запомнилось обсуждение у макета движения шехтелевского занавеса с чайкой, множество положений, в которых он может предстать, и как по-разному готов обрамлять сцену...

Через два года в этих декорациях, при застывшем занавесе будут прощаться с Давидом Боровским. Такого поворота не предполагал никто.

О нашем «Саде» я непременно напишу. Сейчас о том, что не отпускает, подобно отдалённому, точно с неба несущемуся звуку лопнувшей струны.

Важнейшая для Давида и для меня работа, которой мы занимались, осталась навсегда нереализованной. И тут уж совсем неуместно декларирование намерения, надо сказать. Я обязан это сделать. Больше некому.

Шли, как потом оказалось, последние месяцы, дни его жизни.

Поэтому для меня в этой истории всё одинаково важно: высокое и низкое, случайный эпизод, жест, намёк, существенная фраза и проходная.

На Большой Ордынке есть особняк, с посещения которого всё началось.

Я оказался там после неожиданного звонка: председатель Российского еврейского конгресса хочет увидеться, поговорить. Пришёл, прошёл, осмотрелся.

В приёмной встретил Андрея Могучего. Он, как и я, терялся в догадках, зачем мы понадобились. Хозяин дома, на стенах которого висели хорошие картины в отличных рамах, объяснил: в Киеве осенью отмечается годовщина событий Бабьего Яра. От нас нужны идеи и осуществление наиболее интересной из них.

Ответили — подумаем. Прощаясь, Андрей сказал мне о занятости срочными делами, а я пребывал в смятении.

Бабий Яр — и этот богатейший офис, вальяжный тон лощёного хозяина — и демонстративная грубость, когда помощница, по его мнению, не так поставила на стол чашки с кофе, настойчивое акцентирование присутствия на планирующейся вечере глав государств и его короткого знакомства с ними. Всё было чуждо.

И главное — в самом начале разговора возникло напряжение. На мой вопрос: как будет отражено разнообразное поведение местного населения? — хозяин поморщился, будто обнаружил в чашке муху: «Никак!»

Скорее всего, «никак» всё бы и кончилось, если бы из офиса не прислали для ознакомления видео празднования освобождения Освенцима в прежние годы, а главное — три больших тома записей уцелевших свидетелей, в них долго скрываемые (от семьи советских народов) подробности творившихся зверств.

Эти записи, несмотря на всё известное, обожгли. Ночь наполнилась окриками полицаев, командами на всех языках, детским плачем, выстрелами, предсмертными криками и чьим-то хохотом.

Бабий Яр — пробный камень нацистов. Удостоверившись, что всё прошло более чем гладко, насладившись энтузиазмом толп местных подонков, они двинулись дальше, хотя, казалось бы, дальше некуда. Выяснилось, есть куда, — ведь мир застыл в предательском молчании. О чём до сих пор вспоминает нехотя.

Собрать бы в Киеве дирижёров, музыкантов и поэтов из разных стран. Тех, кто не может и не должен молчать. Представьте: звучат стихи на разных языках, на сцене огромный сводный хор, отдельно — детский, музыканты симфонического оркестра зажигают на попитрах свечи... И надо без актёров с их поставленными голосами и заученными интонациями. Тут одна фальшивая нота — и стыдоба.

Нет, всё-таки к двум стоит обратиться: к Богдану Ступке, который способен подняться до эпического звучания, и к Шмуэлю Ацмону, с ним работал в Израиле. Он хорошо говорит на русском и польском и вообще настрадался. Нетрудно предположить, что их участие привнесёт какой-то важный смысл в действие.

Пусть будет спектакль-плач о тысячах невинно убиенных. Музыканты и поэты. Читающие стихи возвышаются над оркестром. Слова будто рождаются музыкой и вновь уходят в неё. Если оркестр олицетворяет полифонию мира, то скрипичная группа — символизирует его еврейскую часть.

«Пусть в какой-то момент скрипачи, а за ними все музыканты, наденут на фракки жёлтые звёзды», — подхватил Давид. Он включился сразу, без разговоров.

Оказалось, Боровский присутствовал на том приснопамятном собрании киевских литераторов, на котором Виктора Платоновича Некрасова шельмовали за попытку обратить внимание громадян на то, что тридцатиметровый овраг, заполненный костями, власти мудро решили засыпать и построить на этом месте стадион, таким образом подведя черту под неприятным инцидентом.

И ещё оказалось: великий сценограф начинал свой путь с работы над «Екатериной Измайловой» в том же оперном театре имени Шевченко, где нам предстояло работать. Правда, вместо его имени на афише, вполне в духе тех лет, красовалась фамилия художника Климентьева. Хотя не только в театре, в городе знали, кто автор декорации. О ней восторженно писали критики, особо отмечая эффект от «наглухо запертой» сцены, напоминающей мрачный тюремный двор.

И в нашем спектакле-поминовении должен был доминировать Шостакович. И Малер, и Шёнберг, и, конечно, Пендерецкий. Его известная во всём мире трагическая оратория «Освенцим» могла бы стать лейтмотивом вечера. А вот в сценической картине ничего столь же эмоционально скрепляющего действие пока не находилось. Да — одетый в чёрное оркестр, да — обрамляющие его белые полотнища экранов, однако оставалось слишком много «но».

Мы смотрели у меня дома видеозапись встречи бывших узников Освенцима и разных официальных делегаций в Польше. Вдруг Давид спросил: «У тебя есть книжечка с моими декорациями?» Раскрыл на эскизе к спектаклю «Эшелон» Рощина в Художественном театре: «Смотри!» Всё, что в Польше делал модный гламурно-попсовый московский художник, невозможно назвать впитыванием, это просто было содрано у Боровского.

— Так нельзя, ты должен подать в суд!

— Да нет, к чему? Лишь бы он не называл меня своим учителем.

О том, что не стоит обращаться к документальной хронике, мы сговорились сразу. Все кадры затёрты и выхолощены телевидением. Их вдоволь насмотрелись за утренней яичницей с ветчиной. Надо сказать — и в театре нечто неприличное происходит при прикосновении к большим темам. Когда человек с лоснящимся от жира лицом выходит на сцену в телогрейке с номером и выводит «а я простой советский заключённый, и мой товарищ — серый брянский волк», во мне рождаются плохие чувства: вот бы его туда, к товарищам. Стремление к визуальной натуральности в этих нечеловеческих ситуациях — спекуляция или кощунство.

В конце концов я ухватился за идею Боровского: чтобы на протяжении всего вечера на экранах непрерывно сыпалась земля, — и мы стали эту идею разрабатывать. Пришли к тому, что надо снять с самой нижней точки, как бы с той глубины, откуда никто не возвращается. Зловеще поступательное движение от белого к чёрному можно было синхронизировать с музыкой.

Постепенно экран беспросветно темнел, к финалу мог стать полностью тёмным. (Мы до конца не успели обсудить, отложили решение до первой пробы.)

Однажды поздно, совсем поздно вечером — звонок. По голосу Давида ясно: что-то серьёзное. «Знаешь, мы не должны брать деньги за эту работу. Ты согласен?»

Логично было продолжить предыдущую строку, но я отступил. Так этот вопрос (по сути, решение) звучит отдельно, не соприкасаясь с необязательными словами. Это тот случай, когда что-то исключительно частное приобретает вселенское измерение, а отношение к нему красноречиво говорит о самой личности.

По тому, что я обнаружил причину бессонницы Боровского, нетрудно догадаться, согласился ли я. Чтобы не ранить Давида, мне пришлось скрыть от него то, что прошедшим днём слышал от хозяина роскошного особняка: «Для меня это бизнес». Фамилии «заказчика» не называю по единственной причине: я её забыл. Наверное — к лучшему. Что до имени, помню: на одной стороне его визитной карточки было написано — Вячеслав, а на обороте — латиницей — Мойша.

Всемирно известные дирижёры и музыканты, чьи концертные графики утверждены на годы вперёд, принялись, несмотря на понятные издержки, которые они несли, менять свои контракты, чтобы осенью оказаться в Киеве. Среди них маэстро Зубин Мета.

Я занялся сценарием, подбором музыкального и текстового материала, предстояло прописать роли Ступки и Ацмона, которые тоже откликнулись не медля. Давид Львович между тем разыскал оператора, которому доверял, и стал продумывать с ним технику съёмки.

Сроки поджимали. Вечер был намечен на 27 сентября.

С киевской Оперой сговорено: в середине апреля мы приедем, встретимся с администрацией и техническими работниками для проработки всех далеко не простых проблем, связанных с реализацией задуманного.

Но до этого Боровскому предстояла поездка в Колумбию. Ему предложили сделать выставку его работ на международном театральном форуме в Боготе. Он отнекивался. Если бы не услышал от него самого, никогда бы не поверил: у сценографа, работавшего на самых известных сценах, которого сопровождала слава «гения предметного мира» (почему только предметного?), художника-мыслителя, покорителя бесконечности, никогда не было персональной выставки.

Не хотел. Отказывался. Предпочитал выставляться с коллегами.

И сейчас долго раздумывал. Смушал утомительный дальний перелёт, разница во времени, смена климата, всё-таки сердце... Но постепенно как-то сжился с мыслью, заинтересовался, даже увлёкся, начал готовиться к выставке.

Последний разговор за день до отлёта. Поздним вечером. Он просил на 16 или 17 апреля заказать билеты на самолёт в Киев. Я возражал — невозможно. Надо отдохнуть после Колумбии, я там несколько раз бывал, сказал что-то о высокогорье, об одышке после нескольких лестничных маршей, о кислородных масках за кулисами и т.д. Он ответил: «Пару дней хватит. Бери на семнадцатое».

Р. S. Завершилась гражданская панихида в Художественном театре. Никогда прежде наш занавес не был столь неподвижен. Оцепенел вместе с нами.

Потом мы с Кузьминой поехали на кладбище в машине Димы Крымова. Добрались раньше гроба с телом и сопровождающих. Солнечный день. Тишина.

Неподалёку от входа группа ожидающих людей. Среди них...

Лев Абрамович Додин с коллегами прилетел из Питера. Не то самолёт задержался, не то чего-то не рассчитали, но в Шереметьево поняли: в театр не успевают, решили

ехать сразу на кладбище. Лёва отозвал меня в сторону и потянул к машине, на которой они приехали из аэропорта. Попросил водителя открыть багажник. В нём красивые розы, упакованные в картонную коробку нездешним фирменным манером. «Смотри! Это мы купили в Петербурге!» Я не видел ничего примечательного, цветы и цветы.

«Смотри, смотри! Мы сами это только в Москве заметили!» — настаивал он.

Тёмными буквами на коробке: Colombia. Bogota.

«Давай!»

Выходя из зала после прогона «Мефисто», публика бросала любопытные взгляды на сидящего в ложе Табакова. Похоже, понимала: ещё относительно недавно он бы сыграл роль Хёфгена как никто в русском театре. Пропустил. Для меня это было само собой разумеющимся. Кажется, и для Олега Павловича. Не скрывая волнения, он принялся здесь же, в ложе, проигрывать путь героя романа Клауса Манна.

Стеснительная улыбка провинциала мгновенно сменилась обворожительной улыбкой восходящей звезды, осознающей свою неотразимость, лукавство лицедея, прикидывающегося простаком, — плохо скрываемой насмешкой над сильными мира сего. Вздёрнулся подбородок, прищурился глаз — ясно: решил играть по-крупному. Ставки росли, неудержимый азарт уживался с осмотровым расчётом. Плутовские искры в глазах провоцировали маслянистую угодливость. Успех, признание — лицо расплылось от удовольствия. И вдруг — помрачнел, за триумф надо платить, и цена высока. Углы губ опустились, щёки обмякли, но вновь стали надуваться — есть в запасе козыри, ещё поглядим, кто кого.

Впечатление, что Табаков перелистывает альбом фотографий, сохранивших переломные моменты жизни героя. Блистательный спектакль одного актёра. В такие минуты жалеешь, что тебе дарят то, что должны видеть тысячи. Хёфген Табакова, сыгранный им, не вставая с кресла, вертелся в ситуациях, которые ему подкидывала жизнь. На минуту показалось: завод иссякает, вот-вот кончится, но прилив энергии, неведь откуда взявшийся вопреки известным законам, не иссякал. Свой импровизированный показ Олег сопровождал потешными и грустными комментариями. «Мне ведь Ельцин предлагал кресло министра культуры, я отказался», — ухмыльнулся кот Матроскин.

Любуясь многоликостью образа, я ждал, как Олег представит момент, когда герой осознаёт: за ломберным столиком жизни обыграл не других, а себя. Табаков не мучился — по-детски сложил губы трубочкой и издал не самый приличный звук.

В его игре что-то внятно физиологичное. Оттого легко читается зрителями. Табаков не стремится поразить эффектными неожиданностями. Радует зал тем, чему публика с удовольствием аплодирует, — узнаваемо!

Актёр фиксирует самый простой момент состояния человека, но по тому, как он проживается, видно, что за штука и чего от него стоит ждать.

Он на сцене не адвокат. И не прокурор. Свидетель. На первый взгляд положение на суде времени выглядит пассивным, но лишь на первый. В позиции «я свидетельствую!» — заключено многое: боль, сострадание, защита и обвинение.

Комната перед кабинетом руководителя МХТ. На стене фотоколлаж из не всех, но многих ролей, сыгранных актёром. Видимо, сделан к какому-то юбилею. Панорама десятилетий, представленная Олегом в до боли родных типах. Среди них обаятельные несмышлёныши и птицы высокого полёта, хищники и травоядные, гиены, олени, змеи. Но не скажешь, что каждой твари по паре. Выражение отдельного личика,

физиономии, рожи, морды неповторимо. Абрис фигур графически точен, типы предельно выразительны и впечатываются в память. Возникает ощущение, что обитатели этого зоопарка — твои добрые и не добрые знакомцы. С одним дружил, с другим спорил, третий учил уму-разуму, а вот этот вызывал на ковер и распекал, распекал, распекал... Разглядываешь — и непроизвольно с интересом и не без опаски ищешь среди них себя.

Второй акт «Последних». Утренняя (что противнее?) ссора Коломийцева с женой. Её упреки задевают полковника не столь сильно, как невозможность спокойно выпить чаю. Под стенания жены об участи их детей, он смачно прихлёбывает и пытается доесть печенюшку, которая ему особенно приглянулась. Это занятие для него сейчас важнее всего, в вазочке отыскалось что-то ещё достойное внимания, а жена бубнит и бубнит... Ну не свинство? Не выдержав, муж, любящий порядок, словно в полицейском участке, стукнет по столу так, что чашки подпрыгнут. Раз уж утром нет покоя, будем выяснять отношения.

Я лишь попросил поставить вазочку с печеньем. А Табаков горазд на сочинение таких микросюжетов, заземляющих конфликт и комически оттеняющих его изрядной долей житейской чепухи.

Пластический рисунок роли — такое Олег не вымолвил бы. Эта заумь не для него. С первой читки схватывает сущность персонажа, его исключительность. Группа крови у каждого своя. Китайские врачи по походке, движениям, позам и голосу пациента ставят диагноз. На героев Табакова им хватило бы минуты.

В «На дне» при появлении Луки в ночлежке сразу ясно: сидел. Экономные жесты, опасливая повадка эка — не привлечь внимания. Неторопливо устроился на отведённой ему скамье, при этом чувствуется: своего места не отдаст никому, пусть не зыркают. Хозяин ночлежки сразу просёк: беглый.

Коломийцев врывается в дом обиженный — не встретили на вокзале. Он вышагивает по комнатам, как по плацу, будто случайно распахивая шинель, открывает ордена, — всё выдаёт страх жандарма. И вот это представитель власти? Боится бомбистов и суда домашних. Мелодраматические позы смешны и жалки. Речи ничтожны, неловко слышать. В финале он потрясён не смертью брата — жена прервала его пафосную речь. Заложив руки за спину, выпятив грудь, он покидал сцену, как провинциальный трагик, которого город не понял.

Мольер из «Кабалы святош» — это скользящие, будто по натёртому паркету, шаги великого комедианта на аудиенциях с Королём Солнцем. Табаков навстречу покровителю двигался вкрадчиво и кокетливо-независимо. При этом он ещё умудрялся, хотя под испытующим взглядом Короля душа улетала в пятки, молодецкато подпрыгивать. Как у него это выходило... Ну, на то он — Табаков.

Бутон, которого Олег играл в первом варианте «Кабалы», не просто слуга Мольера, как обозначено в перечне действующих лиц, он — эталон амплуа. Когда-то антрепренёры так и писали: «Требуется актёр на роль слуги». Это не «кушать подано», таких пруд пруди, а генетический.

Разгильдяй и проныра, развинченностью походки и пофигизмом манер Бутон Табакова демонстрировал независимость, готовность в любой момент покинуть хозяина. Дескать, мочи нет надоели придирки. И чем наглее, на грани фола, он фланировал по сцене, тем яснее становилось: ни за что, никогда. Его Бутон — слуга генетический.

Исповедальность — это не про Олега Павловича. Она даже претит ему. Глубоко личные мотивы в его ролях по-плутовски замаскированы («маски») смешными минами, характерными интонациями, шутовством.

В Бутоне Табаков передавал сложнейшую гамму чувств: влюблённость в хозяина, преданность, мечту оторваться от него и осознание связанности навеки. Ворчливую обиду на необузданный нрав Мастера и преклонение перед талантом.

Когда я предложил Табакову эту роль (это была наша первая встреча в работе), он поинтересовался: кто Мольер? Я ответил: Ефремов. И добавил: возможно, ещё один актёр (вариант с дублёром рассматривался). Олег, словно в образе Бутон: «Буду. С Ефремовым. Зачем другой нужен?»

Тогда не оценил всей взвешенности мгновенной реакции. Для этого надо было увидеть перекошенное от боли лицо Табакова в финале спектакля.

Тело Мольера ещё за кулисами.

Лагранж: «Почему вы не идёте к нему?»

Бутон, глотая слёзы: «Не хочу».

Мне выпало прощаться с двумя руководителями Художественного. Каждый из них был по-своему дорог. В утро похорон Ефремова — звонок: придите до начала панихиды, «соберутся свои». У входа в театр Швыдкой, тогда министр культуры. «Мы осиротели», — сказал и обнял. «Кого-то ждёт», — решил я.

У гроба Олега Николаевича и впрямь свои. Хорошее, тихое расставание... Вдруг шёпот, шиканье, типа «посторонитесь», «в сторонку»... Размахивая левой рукой, правая — прижата, на сцену влетел новый президент. Замер у гроба, удалился. Его стремительность впечатлила. Кто знал, что вообще-то он надолго?

Без шиканья, таинственно, как Шарон у Булгакова, у гроба Олега Павловича возник старый новый президент. Постоял, пожал руки близким, присел рядом с вдовой... Юра Рост кивнул: за нашей спиной и у порталов стояли чудо-качки. Охрана Короля Солнца в нашем спектакле им в подмётки не годилась.

В глубине сцены, с экрана на происходившее с прищуром глядел Бутон Табакова и, казалось, в который раз «прибегнув к хитрости», кричал: «Ничего не случилось. Почему непременно что-нибудь должно случиться? Я беседовал с господином де Мольером и крикнул: да здравствует король! Имеет Бутон право хоть что-нибудь кричать? Он и кричит. Да здравствует король!»

В день похорон Ефремова шло «На дне». На поминки мы не могли пойти. В антракте подошёл Табаков: «Давай сделаем то, что хотел Олег?» Я понял, о чём речь: «Давай». Когда Олегу Николаевичу стало тяжело играть Мольера, он не раз предлагал, уговаривал меня передать роль Лёлику (так в «Современнике» звали Табакова). Я не соглашался: тогда надо сочинять новый спектакль. При всей любви к Ефремову до сих пор не уверен, что это стоило делать.

А уж в те напряжённые дни, когда другой Олег приступил к руководству Художественным, — точно не следовало. И время, и обстановка не помогали.

Стук, грохот, скрежет.

Олег Павлович с азартом переустраивал сцену, цеха, службы, всё, что можно перестроить. Это предвещало серьёзные перемены во внутренней жизни МХТ.

Машков, вернувшийся из Голливуда, предусмотрительно застолбил в контракте верхний зал и спокойно репетировал «№ 13».

А я с новым директором (О.П. Табаковым) в поисках места для Булгакова мотался с «Кабалой» по углам и фойе, спасаясь от шума, как от инквизиции.

А куда деваться? Оля Хенкина, помощник Олега, сидит неподалёку, её стол в центре Зелёного фойе. В помещении дирекции тоже ремонт, большая пертурбация. Олег не сентиментален — кабинет Ефремова не узнать, всё новёхонькое.

Артист в заботах, звонках, встречах, доставании, совещаниях. Подъём, испытываемый Олегом Павловичем, и... драма одиночества последних лет булгаковского Мольера. Поневоле вспоминался Олег Николаевич...

Табаков всегда удивлял разнообразием талантов, у него (кульминация жизни!) — стройка, репертуар, банки, цеха, деньги, спонсоры... Я допустил непростительный для режиссёра промах: вошёл в его положение. Добиться, чтобы он отключился от дел, — нереально. Значит, не считаясь с понятным желанием Олега начать жизнь в МХТ именно с этой роли, стоило отложить премьеру.

Да и Наташа Гундарева, приглашённая на роль Мадлены Бежар, перед выпуском заболела и вышла из спектакля. Всё так, а всё-таки...

Кивать на обстоятельства — негоже. Но и самокритика опасна: к твоим ошибкам с охотой добавляют не существовавшие. Забегая вперёд, скажу: у Табакова были сильные сцены. Объяснение с Мадленой (Ольга Яковлева), обед у Людовика, сердечный приступ после запрета «Тартюфа», переходы от упрёков друзей в предательстве до такого же искреннего признания в любви. Всё так, и всё же...

Что-то внутри не случилось. Артемьев написал чудесную музыку, Хариков придумал новое сценографическое решение, а разбор, отношение к тексту, посыл залу остались прежними. Между тем, вокруг (и в нас самих) за годы, прошедшие с первого спектакля, многое изменилось. Слишком многое.

Дворец пионеров — ГИТИС — училище. Табаков упорно вёл учеников к новому театру. При всей деловитости и умении Олега рисковать, не теряя осмотрительности, — пока не выгорало. Власть, насторожённая, как сторожевой пёс, не узаконивала студию: «А если в Брянске или Подольске»?

«Казённо-полицейский режим мог обласкать актёра Табакова, любоваться его эскападами и уморительными трюками, но позволить ему начать собственное театральное дело не хотел. Его лицедейская хватка с идеологической точки зрения доверия не внушала. Помню то тревожное, не характерное для Олега Павловича состояние крайней озадаченности и какого-то даже изумления, когда московская власть отвергла его челобитную по созданию студии. Победитель по природе, он не ведал самого этого чувства отвергнутости», — замечал Анатолий Смелянский.

Такое довелось наблюдать у Олега под конец жизни. Он уже был болен, но стойко защищал новых, дерзких режиссёров. За этот грех и за, как считали, сдачу почвенных традиций, на него пошла в наступление шпана из националистов, ревнителей веры и просто подонков. И взялись полоскать Олега, как могли, точнее, как им кто-то позволил. Выскакивали на сцену во время спектакля — ни дать ни взять штурмовики. Когда подкинули под стены театра свиную голову с глумливыми фразами, он растерянно развёл руками: «На меня двинулась “чёрная сотня”».

Если актёру трудно из одного состояния сразу войти в другое, призываю его действовать как в цирке — с трапеции на трапецию: «А вы вместо захватывающего дух прыжка — опускаетесь, перебегаёте арену, чтобы вновь подняться». Сам же сейчас ищу связи между кусками. Знаю ведь: надо немедля переброситься в «Табакерку» 90-х годов. Там все раскованны и рады друг другу.

Табаков мчится по узкому коридору. Бухгалтер едва успевает ловить цифры, которыми он сыплет. В маленьком кабинете сбрасываются принесённые подарки; деловой разговор по телефону (никогда не слышал, чтобы он трепался); выпит морс; что-то объяснено приоткрывшему дверь графоману; найден текст роли; и вот он уже в репетиционной, как раз напротив кабинета.

Большие дела надо совершать в скромном пространстве. Оно их оттеняет, придаёт ту атмосферу нереальности, что сопутствует рассказам о рождении чего-то незаурядного. Как хотите, но комнатёнка в деревянном флигеле, где Чехов написал одну из самых загадочных пьес, больше будоражит воображение, чем шотландские замки на скалах, мрачные залы с бойницами и пушки с ядрами.

В «Табакерке» всё по-семейному. Маленькие гримёрные, буфет и фойе, где гостей встречает мама Жени Миронова. Предлагая программки, она, как о добрых знакомых, рассказывает об актёрах. А маленький зал, где стоять можно лишь у одной из стен, полон. Так кажется. Не ясно как, но администраторы рассадят и расставят ещё столько же знаменитостей и студентов, которым удастся прорваться. Эта теснота — напоминание об общности интереса, которую ничем не восполнить.

Христиания — провозглашённый вольным городом уголок хиппи-утопизма в Копенгагене, кибуцы, где цвели цветы в пустыне, и задуманный на берегу Амура город Молодёжи — эти места дарили людям, пусть призрачную, но надежду.

Среди всеобщего разъединения, озлобления, жестокости, когда одни не хотели оставлять проигранные позиции, а другие безбашенно шли напролом, невзирая на жертвы, «Табакерка» была местом, где сохранялось тепло.

Благодаря таким местам девяностые помнятся «лихими» не только в отрицательном смысле слова. Разве не лихо, что в эти годы возрождались тяга людей к свободе, что они заботились, выручали друг друга, делились, чем могли?

Название «Табакерка» родилось у актёров, и его подхватили москвичи. Среди заключённых в нём смыслов возможен и такой: табакерка — вещь, с которой не расстаются, нечто исключительно своё. Штука простая, но она может быть и волшебной. Кто курил, кто знает, почём фунт лиха, знает цену понюшке табаку.

Весной 87-го Олег со своей студией выскочил как чёрт из табакерки. Бывший угольный склад ученики расчистили, отремонтировали и превратили в место для игры. Более резкой альтернативы казённому театру не придумать.

История студии настолько отражает время, что велик соблазн окунуться в неё с головой. Но ещё больше увлекает сам Олег.

Несмотря на убеждение, что человек, по сути, не меняется, он остался в разных ипостасях — на Чаплыгина и в Камергерском. Объединяет оба облика его неизменная забота об учениках, о тех, кто рядом с ним, и неотразимое лицедейство Табакова, придававшее характер игры всему, чем бы он ни занимался.

Неслучайно, набрав телефонный номер, особенно VIP-персоны, он неизменно рекомендовался: «Это артист театра и кино Олег Табаков».

Во время разговора с Лужковым по телефону искоса поглядывает на меня, единственного зрителя. Демонстрирует чудеса изворотливости. Тон ласковый, дружеский, а от избрания в городскую Думу всё же увильнул.

В паузах репетиции внимательно разглядывает браслет на руке. То ли давление подскочило, то ли ждёт, когда спросим о японской новинке.

Со вкусом ест обожаемых раков, с толком расправляясь с каждым и давая понять, что мы, неучи, недостойны прикасаться ни к клешне, ни к шейке.

Сидящие за столом едят что-нибудь заморское, а он — гречневую кашу. Гурьевскую! Вообще-то граф Гурьев ел манную. С годами гурманы волонтаристски изменили рецепт. Олег так смачно ест гречку, что впору снимать рекламу.

Придя на занятия с американскими артистами, почему-то приветствует их, произнеся несколько фраз на немецком.

Вообще Табаков, сидящий за письменным столом как в зале ресторана, с салфеткой на груди, — это картина.

На «Кабале святош» сцена приёма у Людовика затягивалась надолго. Настолько, сколько требовалось, чтобы Олег обглодал последнюю косточку. Я просил за кулисами: давайте меньший кусок, а он укорял ответственных за съедобный реквизит: что это за ножка?

Одно время он держал в зубах курительную трубку. Это не походило на ностальгию бывшего курильщика. На что же? Так я и не понял.

Принимая какое-нибудь предложение — пьеса, артист, сценограф, композитор, — неизменно поощрительно произносит: «Давай».

Если рисовать шарж (дружеский!) надо бы так: синяя жилетка в мелкий цветочек, красный галстук-бабочка и кулёк с семечками.

Или: голубая тройка, красный леденцовый петушок на палочке.

На какую-то официальную комиссию под председательством президента заявился в спортивном свитере. Это запомнил не только я.

«Вишнёвый сад» мы «давали» вместе с Боровским. Макет готов. Пора вести из мастерской в театр, цеха ждут. Давид не хочет, пусть Олег приедет и посмотрит на месте. В договоренный день и час он появился. Сразу же начал торопить: времени мало, — и сел перед макетом. Давид, чтобы лучше видно было, положил на стул несколько книг, усадил Олега как надо и... отодвинул картонку, имитирующую занавес. За ней... десяток венских стульев с пюпитрами и... аж три лампы, спускающиеся сверху. Но нашего визитёра на кривой козе не объедешь. Он включился в игру. Долго, очень долго рассматривал пустой макет, приближался и отдалялся, менял ракурс, склоняя голову то к одному плечу, то к другому, и, наконец, после долгого раздумья вымолвил: «Давайте!»

Вот таким артистом театра и кино был Олег Табаков.

Премьера «Последних» в Берлине. Он уже в костюме, ждём третьего звонка. Вдруг велит администратору срочно найти фотографа: «Снимите толпу у кассы». Ещё непонятно, как немцы примут спектакль, но ему ясно — победа!

Придя в МХТ, кризисный менеджер, как он себя называл, объявил войну полупустым залам. Играть три дня в неделю, но при полных! Великий ход. Так и шло полгода, до новых премьер. Благодаря сметливости, энергии, чутью и умению сориентироваться, новый директор быстро поднял театр на ноги.

Вкусив успеха, труппа поддержала все начинания Табакова — от буфета без спиртного до репетиций сразу нескольких ролей. Как иначе? Она оценила его заботу о живых и память о мёртвых — внимание к могилам и помощь актёрам с детьми, больным и ветеранам. Вот и все дела, — как любил говорить Ефремов.

Олег Павлович, великий искуситель, вывозит театр на гастроли, вручает значки, премии, устраивает праздники — начало сезона, старый Новый год, конец сезона, юбилеи... Ему по душе пиршества, с капустниками, талантливыми импровизациями... Не так ли когда-то начинался «Современник»?

Нет, не так. Там был восторг слитности со страной, в которой блеснула надежда на «социализм с человеческим лицом» (термин чешский, а суть общая). Ныне — капитализм с нечеловеческим лицом. Не обольщаясь насчёт лика власти, понимая механизмы новой системы, он всю использует их для процветания Художественного театра (естественно, исходя из своего понимания этого явления культуры). Не скрывая, что в достижении цели ему присуща, как он говорил, жуликоватость (и ещё однажды подыскал свежее слово: бульдозерность).

По мере реализации Табаковым всех планов, очередь в кассу при продаже билетов увеличивалась. Параллельно росло какое-то ощущение неуютности.

Отвечая на вопрос о жизни театра, он начинал с роста заполняемости зала. Да, состояние МХТ в годы, когда он его принял, было плачевно. Однако цифры, приводимые Табаковым, не волновали. Сами по себе возникали забытые советские чиновники, сравнивающие свои успехи с положением дел в 1913-м.

Из наследия основателей Олег любил цитировать слова Немировича о том, что в театр бедные и больные не ходят. Значит, курс на здоровых и богатых?

Исповедуемая им вера в успех как в определяющий факт значимости театра — смешна. На премьере «Чайки» публики негусто было, а на «Ревизоре» у Мейерхольда — ползала, зрители не каждый вечер его аншлагами баловали.

Впечатления не подсчитываются, зато живучи. Альфреду Шнитке дали зал Рижской филармонии на Рождество. Думаю, не забыв, что его в Латвии празднуют. Ясное дело, два-три ряда зрителей. Василий Синайский после концерта зовёт зайти к Шнитке, отнекиваюсь, позор, представляю его состояние! Мы застали великого музыканта... сияющим от счастья: *дирижировал своей музыкой*. В Москве строгий запрет на исполнение, тут, сейчас, он впервые услышал её в оркестровом звучании.

А множество футбольных тренеров на вопрос, довольны ли они сегодня игрой, не моргнув отвечают: «Игра забывается, а очки остаются».

Примеры из мировой практики спорят, а я всё же не уверен, что соединение в одном лице продюсера и художника — лучший вариант. В Табакове то один, то другой брал верх и диктовал решения. В случае с «Вишнёвым садом» мне это сыграло на руку. Не убедись он, что спектакль приносит одни аншлаги, не шёл бы столько лет. Рассмотрел в нём вызов на диалог. Ну не на дуэль же?

Олег разделял заботу Немировича-Данченко о «летнем спектакле» — так В.И. звал лёгкое, весёлое зрелище для публики. И не любил напоминаний о том, что Станиславский воспринимал эту традицию как отрывку старого, отступление от общих идеалов. Для таких случаев К.С. знал одно слово: «Караул!»

Но известная катастрофичность его сознания не имеет отношения к Табакову, культивирующему в себе и учениках чувство победительности.

И всё-таки: успех не скроет разноречивой репертуаре, стиле и манере игры. Издержки плана или модель театра, в основе которой ублажение разного зрителя?

Сравнение театра с супермаркетом так вошло в обиход, что один театральный директор догадался отдать его авторство Станиславскому. Но, если серьёзно, «мир как супермаркет» — это Уэльбек. Об этом напомнила Наташа Игрунова и прислала цитаты с сайтов и из газет. Оказалось, заключение писателя транспонируют на театр многие коллеги, даже Главреж драмтеатра Восточного военного округа.

Меня всеядность смущала. Под одной крышей психологический реализм, модерн, эстрадная пошлость, постмодернизм... Это театр переходного периода? Не знаю, но факт: Лёлик создал театр, отвечающий его пониманию времени.

«Олег, отчего не передашь “Табакерку” кому-либо из молодых режиссёров?» — ему можно было задать рискованный вопрос. Он: «Кто же такой кусок отдаёт?»

Я сделал отступ, чтобы не описывать шок от его ответа. Он часто лукаво повторял: «Я жаден до денег», — но тут иная интонация, рушащая то нежное, что связывало Олега со студией. Шуточка? Может, врут, что в них всегда доля правды?..

Жаден тот, кто всегда (без лишних слов) приходил на помощь? Многие бывшие студенты, которым он помогал выжить, об этом наперебой рассказывают. Или тот Табаков, который, услышав по радио, что ребёнку нужна срочная операция, немедленно поручил Хенкиной перевести крупную сумму своих денег?

Да, природа наградила его коммерческой жилкой (жилищей!). Он следовал купеческому правилу: живи и давай жить другим. Невесть откуда возникавшая прижимистость, антрепренёрская хитрость в делах (и меня однажды обманул) была не невесть откуда. Не реванш ли за унижение нищетой в послевоенном саратовском детстве? Я знаю, что это сказывается, порой в мелочах.

С Олегом всегда была его детская — половина перегородженной мебелью комнаты, где ютились они со сводной сестрой Миррой. Боюсь, не передам точно, слишком близка к той детской — половине перегородженной комнаты, в которой росли мы с братом. Его рассказы о житье в родном городе возникали неожиданно — при сдаче макета, анализе текста, в связи с Мольером и Комеди Франсез.

«В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов»? Для него — это центр мироздания, а актёр, приехавший оттуда, — безусловно талант. Недогадливые абитуриенты проваливаются в мхатовское училище. Пожили бы на Волге пару лет — и в Москву на экзамен. На них бы иначе смотрели.

Театр-студия Табакова для гастролей арендовал помещение у директора МХТ Табакова — это сюжет, достойный кисти Айвазовского. Но хотелось понять: он просто неудачно пошутил о «куске» или почувствовал в моём вопросе подвох, которого не было? В первое время в МХТ Олег душой был в «Табакерке».

Там ученики, с которыми начинал путь к своему театру. Он звал их по-дворовому, школьному: Мишка, Серёга, Андрюха. С ними он любил играть на сцене, любил смешить их на репетициях, рассказывать байки.

Ученики знали его родню, могли пересказать, какой тонкий слой теста и толстый — мяса был у пирожков бабы Ани и запах свинины с черносливом у бабы Оли. В «Табакерке» он легче прощал людям недостатки — с близкими можно расслабиться. А театральная империя, в которую превращался МХТ, диктовала условия. И, как каждая империя, не могла не расширяться. Цена ошибки в ней дороже. Художественные и коммерческие интересы сталкивались, и часто менеджер брал верх над артистом. Менеджеру приятно, артисту — больно. Наверное, больно.

«Знаете, я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера, ну, у меня постоянно деньги свои и чужие, и я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. Иной раз, когда не спится, я думаю: Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами...» Это из второго действия «Сада».

В последнем, прощаясь, Петя советует купцу отвыкнуть от привычки размахивать руками: «Как-никак всё-таки я тебя люблю. У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста...» Ну, и про душу тоже.

После «Вишнёвого сада» (о нём позже) наши отношения потеряли прежнюю лёгкость. Олег догадывается — я не в восторге от многого в МХТ. И ещё — обиделся на несколько моих отказов от постановок (пьесы не задевали). Один, по телефону, особо запомнился. Речь шла о постановке с ним пьесы «Последняя любовь» по Зингеру, которую я когда-то репетировал с Ульяновым.

Из-за болезни Михаила Александровича работу не удалось завершить, позже я сделал её в Израиле. Короче, для меня эта пьеса — заигранная пластинка, а Олегу, видимо, хотелось сыграть выигрышную роль. Вновь звонит и тянет голосом кота: «Я так думаю. Давай начнём, порепетируем, а там посмотрим». И, не чувствуя должного отклика, добавляет: «Что, тебе жалко пару дней для меня?»

Я едва не засмеялся — ведь знает, хитрован: начну — не брошу. Олег Павлович как-то сказал, что у него есть разные голоса на разные случаи. Видимо, если *этот* не прошёл, решил тему закрыть, но на время повеяло холодком.

Но это пустяки. Я благодарен Табакову, что он вскоре живо откликнулся на моё желание поставить «Мефисто» по Клаусу Манну. Впрочем, я ему признателен и за Горького, и за «Вишнёвый сад», и за «Обрыв», и за «Мольера».

Раньше казалось — он не больно ценит режиссуру. Похоже, так и было. Пару раз пришлось столкнуться с ним из-за Эфроса. Как-то нехорошо говорил о режиссёре, который увековечил, как он крушит мебель в фильме по Розову. Желаящему понять, что за чудо ранний Табаков, стоит посмотреть фильм «Шумный день». Совсем не к лицу выросшему школьнику, когда-то болезненно реагирующему на несправедливость, посмеиваться над Анатолием Васильевичем, вообще над режиссурой, мол, не слишком ли на многое претендует.

Я долго не спорил. Артист, которому достаточно было улыбнуться, чтобы зал разразился аплодисментами, имеет право чувствовать себя единственным магом.

Олег родом из «Современника». Уникальный ансамбль, изменивший в «оттепель» театральный климат, поисками режиссёрских форм не увлекался.

Ладно, но придя в МХТ, Табаков уверенно заявил, что этот театр всегда был прежде всего актёрским. Как так? Да, здесь были великие актёры, но такими славны и Малый, и Александринский театры, даже антрепризы. В историю мировой культуры Художественный прежде всего вошёл как *первый режиссёрский театр*.

Теорию по боку. Олег Павлович своими действиями разрешил спор, который я мысленно с ним вёл. Или я чего-то не доглядел, или он существенно подкорректировал взгляд (возможно, всё вместе), но бесспорно: никто так не помог развитию режиссёрского дела в постсоветском театре, только Табаков.

Отбросив то и дело всплывающую сенсацию о гибели режиссёрского театра (в последний раз звучала где-то в 90-е), Олег Павлович, внимательный к театральной практике, осознал роль режиссёра в качестве силы, определяющей его путь.

Сам он интереса к занятиям режиссурой не проявлял, авангардистов плохо знал, рассказы об их поисках выслушивал, снисходительно улыбаясь, дескать, знаем-знаем, видели. Но моментально вставал в стойку, если слышал, что в каком-то театре возник неординарный режиссёр или драматург.

Тут же просил разыскать того, о ком шла молва. При встрече — никакой ознакомительной беседы. На ходу, на лету, принимался, почуял талант и — «давай!». Пару раз промахнулся, молва подсунила ему не пойми что, режиссёров-однодневок, удачно пиаривших себя. А вообще-то он редко ошибался, чутьё звериное.

Мотивы поступков интереснее самих поступков. В этом смысле, говоря о Табакове, трудно остановиться. При всей открытости, демократичности общения, умении установить короткий контакт с разными людьми и прессой, он часто дурачился. Объяснял поступки издевательски-элементарно или облекая уход от ответа в цветисто-шутливую наряд. Его просят уточнить, почему поддержал «Крым наш», ждут ура-патриотических излияний, а он: «Во мне течёт русская, украинская, мордовская и польская кровь. И этим всё сказано». Как понять? Собеседник, попав в ситуацию, описанную в «Голом короле», не решается узнать: что же сказано?

Заглянул в ежедневник 2015 года и обрадовался. 16 апреля, первый показ «Мефисто». Осталось описание, я о нём уже упоминал — как Олег Павлович раскололся и после окончания, меняя маски, проиграл путь коллеги Хёфгена.

Его импровизация потрясла и на день отдала напрашивающиеся мысли. Ведь он взволнован, а это дровишки в костёр режиссёрского самодовольства.

Но вот 17 апреля записано. Предпремьерный спектакль. Перед началом за кулисами шушукались: в зале Табаков! Он очень редко смотрел повторно спектакль на следующий день (пусть отстоит).

Финал. Все участники перед закрывшимся занавесом. Алексей Кравченко выходит вперёд. Он — Мефистофель.

В борьбе со всем, ничем не насытим,
Преследуя изменчивые тени,
Последний миг, пустейшее мгновенье
Хотел он удержать, пленившись им.
Кто так сопротивлялся мне, бывало,
Простёрт в песке...

Пошатнулся, молчит. На сцене, в зале напряжение. Нет, Хёфген не забыл текст. После паузы, как бы про себя, он произносит:

...С ним время совладало.

Аплодисменты. Поклоны. Занавес. Всё, как в театре: слова и поцелуи. Ещё не успев уйти со сцены, увидел Олега Павловича. Сказав что-то хорошее, обидно — не запомнил, он произнёс то, что не забыть: «Я думал, ты меня на сцену вызовешь».

Разгорячённый поздравлениями, я растерялся: «Ну, ты бы сказал. Я бы...» Он вновь, с прищуром: «Думал, ты меня вызовешь...» Тут уж я не знал, что сказать, а он вновь повторил с растяжкой, уже вопрос: «Что же ты *меня* не вызвал?..» Всё мастерство, интонационное богатство Олег использовал, чтобы до меня дошло, что он имеет в виду. Когда же убедился — наконец-то, — сразу: «Пошли на банкет!»

Эпизод так впечатлил моего друга, с которым я им поделился, что тот скоро уверил себя, что был свидетелем. Теперь, пересказывая его, он своими словами озвучивает Табакова. Но было только — «что же ты *меня* не вызвал?». И это куда тоньше и драматичнее открытого признания своего тождества с героем Манна.

Олег никого из участников спектакля не предупредил (ведь не премьера), но нас ждал накрытый стол. Он был оживлён, часто вставал, поздравляя каждого... Рядом сидел Дима Крымов, и Олег с теплотой стал говорить об Эфросе (что раньше редко случалось)... Недавнего разговора на сцене словно не было. Однако — он был! Предельно краткий и самый пронзительный за годы нашего общения.

То, что Табаков принял предложение ставить «Мефисто» (на четвёртый месяц после 2014 года), — поступок. Я бы не погрешил против истины, сказав, что не рисунок роли, а свою жизнь он прочертил, когда после прогона показывал Хёфгена, но это слишком элементарно. Все мы немного лошади.

Так я хотел завершить заметки о нём — великолепном артисте, комсорге, профорге и парторге «Современника», создателе «Табакерки» и руководителе МХТ, но вдруг прочитал вот это:

«По сути дела, с детских лет я вынужден был иметь двойную, а то и тройную нравственную бухгалтерию... Длительное время существовала разработанная, разветвлённая система, разделявшая общество на два лагеря: одни стучали, а других увозили. И тем сложнее давалась мне жизнь в этом обществе, чем более я был обласкан, востребован и благополучен».

Ушёл Дрейден

Получив эту весть, от внезапности и растерянности беззвучно закричал: с кем я буду разговаривать?..

Спустя время — устыдился своего эгоизма. После короткого размышления — не согласился с собой. Это не эгоизм, не жалоба на сиротство. Ведь не о репетициях или спектаклях, идущих или давно не существующих, кричал. О том, что прерван разговор, который мы вели около тридцати лет. Он длился до, во время и после

репетиций, до, в антракте и по окончании спектаклей. И между театром, не прерываясь, продолжался три десятилетия, придавая годам осмысленность.

Растерянность не проходит.

О чём говорили? Само собой, о театре. О книгах, случайном прохожем, чем-то поразившем, о дураках, финском лесе, о своих родных и Брэдбери, которым мы увлеклись, о грибах, чиновниках, архитектуре и о людях, которыми дорожили.

Похоже, я ему рассказал почти половину того, что есть в этой книге, а он — очень многое из того, что видел, но не успел записать или зарисовать. Ведь он — мой друг Сергей Дрейден — был рождён не только уникальным актёром, но и незаурядным художником. Кому-то жизнь девать некуда, а ему нескольких не хватило бы, чтобы себя реализовать. Мне жаль слов, которые он не успел произнести.

О чём же мы говорили? Сейчас этот вопрос почему-то напоминает торжественное застольное обращение: за что пьём?

За искусство жить, не умирая при жизни. То есть за то, чтобы жить деятельно, даже когда всё против. За это нужно выпить.

Помню миг, когда до меня дошло: в мире не осталось никого, кто говорит, играет, думает, смеётся, шутит, как он. Другие — оттого и другие, что всё иное (или — как все). Много неожиданного, могущего приносить радость людям, вроде сыгранных Дрейденом учителя музыки, обнаружившего за шкафом окно в Париж, или маркиза де Кюстина, угодившего в Эрмитаж, уходит навсегда вместе с ним. Раньше была чистая благодарность, теперь вместе с неизбывной тоской.

Студентом, на практике у Акимова в Театре Комедии, я стал свидетелем лома публики на спектакль «Концерт для...». (Открыл этот секрет, и на лице Сергея мелькнуло редкое выражение: доволен.) В центре спектакля молодой Дрейден. Хотел сказать — начинающий, но запнулся. Появляется на сцене личность, и начинающими выглядят опытные партнёры.

Через каких-то четверть века — знакомимся. Я ищу исполнителей для «Леса» Островского. В БДТ премьера — «Отец» Стриндберга. После спектакля ясно: Несчастливцев — Дрейден, и никто иной.

Изменение тона в сторону предопределённости нашей встречи вызвано словами о ней самого Сергея Симоновича. Он всегда чурался высоких, лишних фраз. Но, поскольку сам произнёс, повторю.

«Он был на премьере. Я до сих пор помню это рукопожатие. Мы не были знакомы. Но по рукопожатию я понял, что-то произошло».

Произошло то, что начался наш долгий разговор, который теперь кажется до боли коротким. Не договорили... а иначе быть не могло.

Суть в том, что о многом Серёжа не любил судачить. Нет, не только свойство характера. Он занял такое мудрое, но непростое — а может, счастливое — положение в пространстве жизни и театра: не говорить о том, о чём говорят все. Не слышал от него об изменении климата, коррупции, о перестановках на вершине власти, поспе, циркулярах министерства культуры, об Израиле, росте цен, очередных выборах-перевыборах, о сенсационных разводах и о свадьбах в катафалке.

Хотя... Говорили обо всём. Но у Дрейдена это не походило на рефлексию интеллигента на чинимые вокруг мерзости. Партийцы оправдывали их неизбежность «текущим моментом». Он думал не о моментах, каждый из которых ещё звался «историческим», а о добре и дьявольщине, культуре и жлобстве, о библиотеках и подворотнях.

Сергей Симонович отдалил и политические, и светские, и любые клановые игры от себя на расстояние, откуда они не могли влиять на него. Я разражался гневными филиппиками по поводу кого-то или чего-то, он не останавливал, слушал внимательно, сочувственно, с пониманием, но не подхватывал и не развивал тему.

Ни разу не видел его в том состоянии возмущения чьим-нибудь поступком, когда форма выражения справедливого гнева ставит тебя на один уровень с объектом возмущения. Потом стыдно. Очень.

Зло провоцирует эмоции. Завоёвывает человека, заставляя постоянно думать о себе, то есть находиться в поле его действия. Требует уважения. Сергей знал: самый страшный вызов злу — презрение. Пренебрежение, нежелание тратить на него силы.

Пожалуй, в этом секрет обретения им свободы.

Дикари, мы не храним всего, что говорим друг другу. Если бы восстановить все разговоры, все эсэмэски, была бы замечательная, не нуждающаяся в комментариях книга о Дрейдене. Пригодилась бы каждому, чтобы осознать, с какого уровня личностью он встречался.

При этом сам Сергей Симонович не смотрел на людей свысока. Он наблюдал за ними с такой высокой точки зрения, откуда некоторые особы выглядят насекомыми, но свысока — никогда.

Одна из приключившихся с ним историй.

Зашёл в парадное и на лестничной клетке увидел, как он сказал, солдатику. Тот справлял малую нужду, видимо, не нашёл другого места. Повернулся и, забыв, чем занимается, расплылся в улыбке: «Окно в Париж!» На что Дрейден, словно услышав пароль, отозвался: «Окно в Париж!» Парень — а они, по признанию Серёжи, были в тот вечер под близким градусом веселья — стал хлопать себя по карманам, достал какую-то важную корочку: «Напишите мне что-нибудь!» Серёжа с ходу написал: «Не ссать в подьезде!»

Эпизод, о котором он рассказал с безусловной симпатией к солдатику, просится в фильм. Раньше он виделся лишь смешным, а теперь думаю — настолько же и серьёзным. Ведь это напутствие. Юноше, солдату, важно запомнить то, от чего Сергей его предостерег. Иначе весь дом превратится в... ну, да!

Фамилия впервые встретилась на обложке книги «В зрительном зале — Владимир Ильич». (Не говорил Серёже, но я это читал.) Её автора, Симона Дрейдена — выпускника Тенишевского училища, секретаря Чуковского, видного театрального критика, историка — после отсидки реабилитировали. Мало того — чудеса: восстановили давние «аннулированные договора». Может, одним из них был труд о Ленине в зале (не всё же на броневики). Ладно, хватит ёрничать. И не такое напишешь, окажись сразу «сокрушителем основ социалистического реализма» и «врагом отечественной классики».

Чтобы избежать дурного влияния отца на восьмилетнего Серёжу, в 1949 году за заведующим литчастью Камерного театра Таирова, оказавшимся безродным космополитом, прислали «чёрный ворон».

Когда сына спрашивали, где папа, он отвечал: «В Кремле!»

Не хочется верить в детскую неосведомлённость. Для меня в ответе маленького Сергея Симоновича заключена острота, образность, правда, парадоксальность, ирония — без всего этого будущего актёра не представить.

Общее у всех его сценических созданий одно — их автор Дрейден. Он не просто играет роли, а затевает то, что для меня с годами стало самым интересным в театре: игру с игрой. Герой играет роль, которую выбрал в жизни (или навязанную судьбой), а актёр играет с героем, с персонажем. Это придаёт действию искрящуюся театральность.

Её блеск неотъемлем от комедийной стихии, но Дрейден наделяет ею и драматические образы. Всё, что он делает на сцене, освящено поэзией и фантазией.

Его легко представить в блоковском «Балаганчике» и невозможно — в рамках подножного реализма.

Его герои в спектаклях, над которыми мы вместе работали, — будь то персонажи Брэдбери и Пиранделло, король Лир, Несчастливцев или Гаев, — совершают алогичные (с точки зрения житейской логики) поступки, оттого и кличут их людьми не от мира сего.

Все эти паганели, не желающие спускаться с эмпирических высот в низины бытового процветания, отчаянно одиноки. Все артистичны и в сложных отношениях с миром. Их прошлое сокрыто от нас. В анкетах заполнены один-два пункта. Сведения о личной жизни скупы, а чаще отсутствуют. Не превратности судьбы определяют их одиночество, а позиция (для серых — поза), занятая по отношению к окружающим, к тем, которым понятие пользы заменило красоту, дескать, «надо дело делать», остальное — леса, сады, чайки, пьесы... — от лукавого.

В молодости, с редкой для возраста определённой, он избрал сложный путь в мир масок и лицедейства. Он пролегал вдали от дорог, ведущих напрямик к государственным наградам. Художественная независимость была дороже.

Дрейден — неутраченная тяга к импровизации.

Ему скучна горизонталь, интересна вертикаль, устремлённая в прозрачную или облачную высь.

Кумиром его молодости был и навсегда остался Марсель Марсо.

Он рвётся в этюд, чтобы своими словами, жестами, без слов, промыслить, сыграть то, что автор прописал в междометиях.

Подкрепите слово жестом — как-то услышал от одного педагога. А вот у Дрейдена не надо было подкреплять. Он виртуозно владел словом и движением. Для него, мастера, жест — это беззвучное слово, а слово — невидимый жест.

Репетиции с ним — чистая радость. Ему не жаль времени на повторы сцены, поиск деталей, новых вариантов... Не слышал, чтобы Дрейден сказал, даже намекнул — мол, пора кончать репетицию. Он таков, с этим надо считаться.

На чудиков, подобных Симону, как называл его один глубинный актёр, не только в театре взирают с подозрением, в лучшем случае — с усмешкой землян над пришельцами из других галактик. Так смотрят алкаши на книжников, цензоры на писателей, антисемиты на евреев, халтурщики на энтузиастов: что, больше всех надо? И вообще — чего лыбишься? Откуда вы, блин, такие взялись, блин?

Он был велик, когда репетировал легко, будто подпрыгивая, пританцовывая, оправдывая фонетическую игривость фамилии, два слога которой приплясывают: Дрей-ден, Дрей-ден...

И велик, часами дотошно повторяя сцену, сочиняя внутренний монолог, оттачивая жест, мизансцену. Вспоминается фамилия его матери, под которой он долго снимался и выступал. Два слога звучат глубоко — и ещё напоминая колокольный звон: Донцов, Дон-цов...

Надо бы рассказать, что один его дед до революции владел типографией, другой был старшим дворником Казанского собора, но боюсь увлечься — интригующая тема.

А растила Дрейдена мама. Зинаида Ивановна была, как значилось раньше на афишах, — мастер художественного слова. Читала с эстрады стихи и прозу.

Тут все вспомнят тихий, тёплый голос её сына, не сильный, но способный передать почти неуловимые интонации.

Радиозаписи, телепрогулки, комментарии к фильмам — доверительный контакт со слушателями. Сергей говорит так, будто знает их, голос его улыбчивый.

В 1954-м отец вернулся из лагеря, но совместная жизнь родителей не задалась. Сергей мало об этом говорил, но достаточно, чтобы понять... То, откуда артист вышел и как шёл по земле, помогает ощутить объём смыслов, приносимых им в спектакль. Люди из пьесы и актёры вступают в разнообразные отношения, и зритель ощущает полифонию прошлого и настоящего.

Когда-то, выбирая актёров, мучил их просмотрами, теперь предпочитаю выпить вместе кофе, поговорить. И меньше ошибаюсь.

Ладно, в один абзац, без хронологии.

В начале пути Дрейден где-то пару месяцев выдерживал, где-то — четыре. От Райкина ушёл невесть куда, после успеха у Акимова — в шофёры, развозить ночами хлеб. Дизайнер в Институте морского флота, печатник в типографии... Меньше полугода в «Современнике». Оттуда никто не уходил, а он вернулся в Комедию. Там задержался подольше, чтобы уйти и больше не служить в гостеатрах. Белый клоун в паре с Вячеславом Захаровым, а потом блестящий «Мрамор» Бродского, сыгранный с Николаем Лавровым в галерее «Борей». Моноспектакли и камерные, три сезона в геологической партии в Сибири. С Аллой Соколовой — мастерская драматурга и актёра. И ещё много неординарного, пользуясь модным словом, — эксклюзивного.

Бунтарство Дрейдена вызвано не только горьким опытом отца. Его молочная мать — Ирина Всеволодовна — дочь Мейерхольда. Друзья юности — Петя Меркурьев и Сергей Довлатов. Он часто возвращался к летним дням с мамой в Доме творчества, прогулкам с Товстоноговым, к урокам, которые ему преподавал Акимов, и к тому, как его, сына врага народа, исключали из пионеров (кстати, в той же школе, где учился будущий нобелевский лауреат Бродский).

Впрочем, бунтовал — это слишком красиво. Он отстаивал себя и жил жизнью, не вмещающейся в прокрустово ложе, которое ему, как и всем согражданам, было уготовано. Он не любил, когда жмёт.

По словам Сергея, он «открыл для себя возможность уволиться». Напоминает старинное свободолобивое — служить бы рад, прислуживаться тошно. Когда-то было кодексом чести, ныне — в тумане предлагаемых обстоятельств.

Сложный человек, Дрейден в поступках завидно ясен.

Он решительно отказался заниматься тем, что его не интересует. Исключив из круга своих интересов привходящее и необязательное, он обрёл в нём, своём узком кругу, широкие возможности для сохранения творческого самочувствия.

Всё это без деклараций и позы. Естественность его эксцентричных поступков уникальна. Отказавшись связать себя одним театром, взял и сам разыграл «Ревизора» за всех гоголевских персонажей.

Сколько их, актёров, решившихся на эксперимент по выживанию вдали от известных структур и зрелищных учреждений?

Вместо ответа — немая сцена.

Шестнадцать лет Дрейден приезжал в Москву играть чеховский «Сад» и «451° по Фаренгейту» Брэдбери. От предложений пойти на какое-нибудь шумное столичное событие вечно отнекивался. Однажды сбежал после первого акта и оправдывался передо мной, как человек, вынужденный нарушить режим. Это что — увидев фото модного режиссёра, отказался идти на его спектакль. Всегдашняя боязнь — очутиться среди чужаков.

У Сергея Симоновича — абсолютное понимание себя, нечасто встречающееся у актёров. Оттого нет случайных ролей, фильмов, которых лучше бы не было, интервью с бормотаньем о том, кто же знал, что так выйдет, сценарий вроде был хороший... Он, в отличие от многих собратьев по сцене, никогда не попадал в ситуации,

вызывающие вопрос — ему-то зачем это нужно? Интуиция и знание своей природы, позволяет ему сохранять себя в любых ситуациях.

При вручении приза «За талант и народное признание» на «Фестивале фестивалей» ведущий никак не мог взять в толк, отчего с каждым его словом в зале нарастает смех. «Стыдно за наше руководство» — смешок, «...ни комитет по культуре Ленинграда» — смех, «ни Министерство культуры» — смех сильнее, «не нашли в себе силы» — хохот, «этому замечательному артисту присвоить звание» — бурный хохот, «а это так важно для творческих...» — аплодисменты.

За спиной оратора Дрейден разыгрывал пантомиму «Эх, пропала жисть!». Хныкал, утирал слёзы, заходил в рыданиях, напоследок вознамерился было выплакаться в рукав ведущего. Тот стушевался и — совсем наивно: «Наши горячие аплодисменты — это чтобы немножечко тебя поддержать, Серёжа...»

Дрейден был во всём исключительно избирателен. Что до работы — тут избирательность особого свойства. Может запросто всё бросить, если потерял интерес. Доводы о производственной нужде, ещё глупее, о профессионализме — не помогут. У него это понятие было сопряжено с ощущением первичности происходящего и на репетиции, и на спектакле. Он просто не в состоянии был заставить себя что-то делать на сцене без художественной первоосновы.

И общаться с теми, кто не по нему, — не может. Рождение спектакля — душевная, интимная часть жизни. Спрашиваешь, хорош ли фильм, в котором он снялся, — начинается рассказ об атмосфере на съёмках. Для меня Дрейден стал чем-то вроде лакмусовой бумажки, по нему зашоренный делами и командным положением режиссёр, имеет возможность понять истинность выбранного пути.

Перед началом работы он всегда предупреждал: не буду, не хочу подписывать, порепетируем, посмотрим. На «Вишнёвом саде» долго приглядывался к Литвиновой. Пытался отгадать, что особого в актрисе, которую ему сулят в сценические сёстры. То, что Дрейден с неподдельным (с другим бы не смог) вниманием отнёсся к работе с Ренатой, симптоматично. В отсутствии у неё театрального опыта он увидел возможность нового движения. По мере того, как она этот опыт набирала, теряя интерес к постоянному тренажу, обеспечивающему долголетие спектакля, Серёжино любопытство угасало.

Вообще он ценил партнёров. А тех, кто его раздражал (они об этом не знали), он жалел. Порой стремился мне помочь и толковал смысл моих замечаний, но, когда и это не помогало, разводил руками и произносил совсем свежую фразу: «Они не осваивают роль собой».

Похоже, Дрейден решил взращивать артистическую самость, разгадав в себе талант рисовальщика. Отдельная линия его жизни — от художественной школы до персональных выставок, от первых зарисовок до запоминающейся графики. По его работам видно, насколько он погружён в события и впечатления, которые продолжал осмысливать вплоть до последних дней. Они требовали выхода и отразились в его живописи так неповторимо, как в театре.

Воссозданные Дрейденом картины, где смещены планы, масштабы, перспектива, — фантастический спектакль. Их поддержал Акимов, другие ценители искусства — неплохой заряд на годы.

Не знаю лучшей автобиографии, чем та, которую красками написал Сергей Симонович. Это шедевр. Удалось передать и чувства действующего лица (то есть свои), вступающего в жизнь, и состояние художника, которому не дают покоя давние события.

Он любил и блестяще читал по радио хорошие книги. Не помню, записал ли толстовское «Детство. Отрочество. Юность». Кажется, нет. Обидно, он мог это сделать, — думаю я, разглядывая рисунки.

На открытии в галерее «Борей» его выставки, отвечая на вопрос, кем он себя числит: художником или артистом, — Сергей внёс ясность: он не играющий художник, а рисующий артист.

На первые репетиции приходил в костюме, подобранном им для своего героя. Иногда этот костюм целиком или частично переходил в спектакль. Для Гаева раздобыл пыльник. Его силуэт Давид Боровский сохранил в окончательном варианте костюма, и ещё — мятую шляпу, с которой Дрейден-Гаев не расставался.

Для Лира невеста где раскопал живописное рваньё, для Профессора Фабера в Брэдбери перепробовал множество шапочек из тех, которые сам носил. Для пьесы Пиранделло «Это так, если вам так кажется» привёз из Питера светлую шляпу с чёрной лентой.

Отношения с новым хозяином шляпы складывались непросто. Сергей показывал много набросков дядюшки Лаудизи, но не находилось единственное решение. А тут пошли болезни (кончилось операцией на сердце), и он не успел собрать воедино все пробы.

Репетировал, преодолевая себя. Позже его мучило сознание чего-то недоделанного на выпуске спектакля. Но он не был бы Дрейденом, если бы впоследствии не продолжил работу уже на зрителях.

Пиранделло — его автор. Дрейден психологически оправдывает самый фантастический вымысел, доведя до зримой ясности. Видеть недоумение партнёров, не успевающих за его ходами, — это театр.

Спустя годы. Готовимся к вечернему спектаклю. Предлагаю Сергею, которого по роли горожане не понимают, нарисовать им на стенке комнаты таинственную синьору, о которой он говорит.

Актёры замерли — на белой декорации под рукой нашего Лаудизи возникал предмет его воображения. К концу репетиции мы стали фантазировать, где ещё можно использовать этот приём, и Дрейден предложил: «А давайте я весь спектакль буду рисовать?»

Осталось только воскликнуть: «Ну, почему так поздно?»

Говорить о неуёмной фантазии Дрейдена — всё равно что отделить от целого ту часть, без которой его жизнедеятельность непредставима, как сердце без подачи крови. Вот слова Фёдора Федотова, успешного молодого петербургского актёра, а когда-то студента. Это тем более уместно, что Сергей относился к нему с нежностью.

«Мы репетировали наш первый в жизни спектакль — “Вино из одуванчиков”. Сергей Симонович играл полковника, потерявшего на войне руку. Он прятал её за спину и сидел так целый акт на кресле. Репетируя, Дрейден увлекался монологом настолько, что давно потерянная рука устремлялась вслед за здоровой в полёт, Адольфу Яковлевичу Шапиро стоило больших усилий напоминать другу, что руки нет. Однажды Дрейден пришёл на репетицию с идеей: давайте я буду играть в спектакле на банджо. Да, сказал Шапиро, это будет очень хорошо, но у вас одна рука, Полковник...»

Молодые Полковника звали Машина Времени — сколько он всего видел! Дрейден играл вояку, у которого мотор едва стучит. Не слышит, не различает гостей, помнит солдат, а какой был флаг... забыл. Но точно знает: «В войне никто не выигрывает, все проигрывают».

Он не выходил из дома годы. Почуввав близость конца, звонит далёкому другу, уговаривает выставить телефонную трубку за окно, хочет услышать шум города.

Сиделка нашла телефон, убрала подальше: «Вам нельзя волноваться», — и ушла в магазин.

Полковник Дрейдена оглянулся — времени мало! Прикинул расстояние до телефона — не дойду. Надо! Проверил себя: плечи на месте, чёрт — ноги не свои, рассердился на них, бьёт, — и в отчаянии рухнул в кресло. Очнулся — собрал силы и отжался от сиденья. Встал! Ценой невероятных усилий добрался до телефона: «Соедините с Мехико!.. Хорхе, в последний раз — шум улицы». Дрейден так произносит это *в последний раз*, что отказать нельзя.

Город ожил: квакают клаксоны, звенят гитары, крики зазывал. Полковник, закрыв глаза, впитывает безумную какофонию, для него она — сама гармония. Сквозь шум и треск прорывается «Бесаме мучо». Дрейден слушает телом, кожей, костяшки пальцев отбивают ритм по подлокотнику. Вот и ноги зашевелились, нарастающие волны неумирающей песни вытягивают больного из кресла.

И вот уже Полковник входит в странный пляс. Так на поминках, бросая вызов смерти, вбивают в половицы каблук. С весёлым отчаяньем он вцепляется в жизнь. Она несётся на ускоренных оборотах, как в немом кино. За несколько минут от молодости — чеканный шаг, высоко поднятая нога — до последнего танго с незнакомкой. Рука зафиксирована на талии, ноги скользят по паркету. А между этим — и гарцевание на коне перед строем, и лихой бросок лассо, чтобы заарканить животное. Всё промелькнуло быстро, как сама жизнь. Оглянулся — один, пустота.

Последний парад. На крутой пандус трудно забраться, но Дрейден поднимался на него церемониальным шагом. Отсюда, будто с горы, видно всё: сцену, партнёров и зрителей. Полковник вскинул руку: adiós amigos!

Adiós coronel! Аплодисменты были особенные. Не те, когда хлопают в ладоши от радости, что не зря потратились на билет. Кто не понимал, тот почувствовал — только что пропета ода жизни.

Дрейден ушёл, а прощальный взмах руки его Полковника с нами.

У него были говорящие руки. Не забыть, как профессор Фабер брал у Монтага уцелевшую Библию и объяснял уникальность Книги. Листал её трепетно и нежно. Так энтомолог касается редкой бабочки, боясь стереть пыльцу с крыльев.

А на репетициях особенно нравилось, когда Сергей Симонович протягивал вперёд обе руки и, слегка покачивая кистями вверх-вниз, — не то успокаивал тебя, не то выражал понимание, не то просил слова.

Но руки у Дрейдена были не только красивые, талантливые и умные. Ещё — умелые. В финской Иматре, где у него был домик, я, словно из партера, заворожённо наблюдал, как ловко он обрубает сухие ветки, пропалывает траву, выкидывает бурьян, прилаживает что-то к чему-то, отбрасывает мусор с дороги, мастерит по дому. В такие минуты видел его и шофёром грузовика, развозящего хлеб по ночам, и геологом, раскалывающим камень и открывающим железный колчедан (в детстве мне казалось, что он важнее золота).

В Иматре ему нравилось всё: и маленький домик, не похожий на дачу, поленья, сложенные во дворе, озеро, грибной лес, и соседи, та изобретательность, с какой они, прирождённые дизайнеры, украшали фасады домов, расписывали цветными рожицами камни во мху. Последние годы я только и слышал: сыграю — и в Иматру. По возвращении мне вручалась баночка грибов. На упаковке, придуманной им, значилось место, дата сбора и забавные слова. Как не вспомнишь «Вино из одуванчиков». Старьёвщик Джонас спасал больных консервированным воздухом Арктики, смешанным с апрельским ветром и полоской тумана с берегов Исландии.

Он принял идею сделать «Робинзона Крузо». Но на выпуске — «Норма» с Герзмавой и сдача макета к «Самсону и Далиле» в Большом. Время уходило,

а Сергей Симонович вошёл в тему, прочёл много всего о Дефо и его книге, просвещал меня, делился фантазиями, подолгу обсуждали с ним детали. Готовились...

В 2022 году Иматра — место отдохновения — превратилась в место убежища от дурных новостей, бед, несчастий, — всего, что обрушилось на страну и на таких, как Дрейден, самостоятельно мыслящих людей.

30 декабря, в канун злосчастного 2023 года, такое сообщение: «...Кстати, мне приснилось, что Вы, Адольф Яковлевич, предложили МХТ текст роли Гаева распределить в феврале между вводимыми артистами на роли Трофимова и Ани. А я во сне Вам предложил ещё революционной ход: текст Раневской передать прохожему... Проснулся в поту и напугал собаку, спавшую в ногах моих».

2 февраля не насторожила надпись на рисунке, где в воздухе зависли два причудливых человека, тянущих друг к другу бокалы с вином: «Два призрака профессор Фабер и Ламберто Лаудизи желают актёрам сил, храбрости, разума в поисках настоящей ИГРЫ!!!»

14 апреля (оставалось 23 дня). Он сыграл Брэдли, Пиранделло не мог. Теперь кажется — в прощальный жест Полковника вложено что-то близкое по смыслу к последней эсэмэске. Слова совсем не Серёжины: «Мужества + берегите воображение».

Почему я тогда не замер?

Анатолий Цирульников

Миграция

Моя 25-летняя дочка рассказала, что была на свадьбе у 23-летней подруги Надежды, которую нынче зовут Аделинда. У нее теперь 37-летняя жена, с которой они жили и до этого. Свадьбу вел по Zoom'у распорядитель из Америки, было много гостей с обеих сторон, пришла и мама подруги. Бракосочетающиеся были в пижамах, в отличие от ведущего, который предстал при полном параде. Все было здорово организовано, рассказывала моя дочка, слава богу, вышедшая недавно замуж за молодого человека, айтишника, и уехавшая за ним в Грузию. Веселая свадьба по-американски российской студентки Нади-Аделинды, коротко стриженной, с ежиком на голове, выкрашенным то ли в зеленый, то ли в красный цвет, и ее 37-летней невесты, тоже с родителями — пир накануне, возможно, чумы. 80 миллионов мигрантов за два года только из трех стран мира, включая Украину и Сирию, потоки беженцев и переселенцев, эксперименты в разных видах искусства, в театре, литературе, глобальная цифровая трансформация в контексте шпионажа, доносов, взрывающихся беспилотников — что это все напоминает? Акунинский¹ кинороман с масками «Дети луны», поставленный на сцене жизни подростками? Серебряный век с изломами стиха и кисти, эпоху импрессионизма и Пикассо, предсказывавших и вламывавшихся в новое?

Начало XXI века в чем-то повторяет начало XX. Наше столетие не копирует предыдущее, скорее собирает в иной композиции фрагменты предшествующего опыта, разбросанные в истории; ведь это уже было: остров Лесбос, венецианский карнавал, кошмарные войны, потоки беженцев и переселенцев, опасные изобретения и открытия, неистребимая жажда нового...

Тема миграции — неотъемлемая часть общей картины истории и не может быть понята без нее. Какие тектонические сдвиги рождают это явление? Что толкает отдельного человека на те или иные поступки, совпадающие с общим вектором или прямо ему противоположные?

Точно не помню, когда именно пришла мне в голову эта тема. Вероятно, после отъезда младшей дочки, которую я очень люблю, с которой прожил счастливую жизнь в ее детстве. А когда она выросла, с ней повторилось то же, что некогда со старшей, — она уехала в другую страну.

Цирульников Анатолий Маркович — ученый и писатель, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник Федерального института развития образования РАНХиГС и страстный путешественник. Вот уже много лет его очерки в «ДН» позволяют нашим читателям не только странствовать по самым отдаленным уголкам России, но и знакомиться с самыми разными системами и новациями в педагогике.

¹ Минюстом РФ внесен в перечень экстремистов и террористов, объявлен в розыск и заочно арестован как Григорий Чхартишвили.

В это же время мы с женой начали процедуру репатриации. Инициатором был я, потом под влиянием происходящего передумал, засомневался, стал выяснять, советоваться, оценивать риски, но в конце концов мы прилетели в Бен-Гурион и получили гражданство.

Израиль в этот раз был как-то по-особому ласков. Даже январское новогоднее море не было холодным, а солнце несколько часов грело, как весной, не обжигая. Я почувствовал себя как дома первый раз за многие годы моих поездок в Израиль...

Когда мы возвратились назад, я понял, что хочу понять страну, ее историю и культуру, говорить на ее языке, и стал читать книги по истории, Тору на русском, изучать язык, чтобы хотя бы почувствовать его дух, смысл, синтаксис, структуру...

И начал свои записки. Вначале «библейские», потому что понял: те, вышедшие из ковчега после Всемирного потопа, и были первыми мигрантами. И не только они — саха-якуты, двигавшиеся в нынешнее место своего обитания из западной Монголии в период войн Чингисхана по старым монгольским дорогам, на плотах по Лене, с семьями, со скотом; предки калмыков — ойраты, или черкесы-адыгэ, из своих сожженных во время русско-кавказской войны аулов, сброшенные в море, доплывшие до Турции и потом рассеявшиеся по всему свету, — все это мигранты. Миграция началась не сегодня. Она как река с притоками: один входит, другой выходит. Своеобразное зеркало, через которое можно взглянуть на человечество.

И еще. Углубляясь в культурно-исторические пласты, я понял, что этого недостаточно. Что нужны личные истории разных людей, по каким-то причинам и обстоятельствам оставивших прежнее место обитания и ищущих, и находящихся новое. И что надо записать их истории.

И, осознав это, я понял, что нашел тему.

* * *

Откуда я брал героев своих записок?

Вылавливал из собственной памяти. Но этот ручеек быстро иссяк. А я чувствовал, что это река. Но как в нее войти? Обратился к старым добрым знакомым с просьбой помочь связать меня с разъехавшимися по свету, не только в последнее время, соотечественниками. Благодаря им и далее по цепочке я переходил от одного человека к другому. И так, к своему удивлению, мне удалось за относительно недолгий срок записать очно и заочно шестьдесят личных историй людей (не хочется называть их мигрантами) из двух десятков стран.

Но начну издадека.

Русские, евреи, американцы

Последний белогвардеец

— Вы москвич?

— Да.

— Москва сохранила певучий говор.

— А у вас какая речь! — восхищаюсь я. — Сейчас такой не услышишь. Давно в Москве не были?

Он смотрит на меня ясными голубыми глазами.

— С тысяча девятьсот семнадцатого.

Разговор этот происходил в декабре 1991 года в Русском генеалогическом обществе в Нью-Йорке. Собеседник, Вадим Петрович Крюков, представился мне так: «Последний белогвардеец».

Довольно бодрый, гладко выбритый, отчасти даже сохранивший выправку. Другой мой собеседник — князь Щербатов, вице-президент Русской академической группы¹ — тоже из тех времен. По случаю знакомства ветеран армии Врангеля разливает в высокие бокалы старое французское вино. Князь замечает: «Вот... уезжали из Петербурга и вернулись в Петербург» (он имеет в виду конгресс соотечественников, открывшийся в том году в России).

Эмиграцией теперь никого не удивишь, но встретиться с представителями первой волны особенно интересно: с Трубецкими, Шереметевыми, Голицыными, Хлебниковыми, Хомяковыми, Родзянко... Большинство говорит с акцентом, но по-русски. Их праправнуки еще ходят в Свято-Сергиевскую гимназию, что между 9-й авеню и 82-й стрит, это как воскресная школа. Гимназические журналы не тронуты временем: те же виньетки, пасхальные приветствия, ученические стихи...

Русских школ, университетов было немало в 20—30-е годы по всему свету. В Афинах, в Париже, в Сан-Паулу... Существовали Международное педагогическое бюро, разные «белоэмигрантские» союзы — русских инженеров, кооператоров, земледельцев... Надеялись: рано или поздно России потребуются интеллигентные квалифицированные силы в большом количестве. Разоренная и обездоленная, она будет искать их повсюду.

Теперь остались только архивы и какие-то общества вроде этого — с папками родовых гербов и двуглавым орлом, распластанным на стене. В домах — старинная мебель, портреты, фотокарточки. Мне показывали: «Это отец моего деда, адмирал Небольсин, во время Цусимы он спас “Аврору”». Стоило ли? «Это моя бабушка в молодости, княгиня. Ее расстреляли, когда ей было восемьдесят два года, в тысяча девятьсот двадцатом...»

Последние белогвардейцы, старики, как ни странно, мягче, снисходительнее внуков и правнуков. Те эмоциональней, резче.

Чем они могут нам помочь? Открыть кадетский корпус в Лефортово? Или школу подготовки сантехников со знанием французского, как предлагал председатель Союза русских инженеров из Парижа?

На Рождество по русскому обычаю в домах собирается много народу. Тут услышишь слова, в России нынче редкие: «милостивый государь» или «не изволите ли». Молодоженам подносят на блюде рюмки и поют венчальную. На одной такой вечеринке я увидел весь свет: князя, очаровательные княгини, адмиралы, графы. Компания оказалась пестрая. Пили, пели, делились мечтами-планами. Какие у них в отношении нас планы? Конечно, хотели бы помочь, но надо иметь в виду, что в большинстве своем они, по американским меркам, люди небогатые. Сами себя вытащили за волосы, но русская ли это черта или эмигрантская? Мы вот все хотим, чтобы кто-то нас вытащил.

Да, и еще. В разгар вечеринки раздался звонок в дверь, и вошел... внучатый племянник государя императора. Меня подвели к нему. Длинный такой, совсем не старый. Я стоял рядом и все думал, о чем бы его спросить. Наконец додумался:

¹ Русская академическая группа представляла собой объединение российских деятелей науки и культуры, живущих в США, которое имело своей целью сохранять и развивать русскую академическую науку.

«Простите, а у вас какая профессия?» Он ответил высоким голосом: «У меня нет определенной профессии», — и посмотрел на меня как на идиота.

Ну да, глупо. А о чем еще спрашивать?

Дым отечества

Первые слова, которые я услышал от дочки в аэропорту Бен-Гурион:

— Тише, не говори по-русски. И не кури, пожалуйста, этих сигарет.

Ах, этот едкий дым отечества! В Америке по нему один меня вычислил и громко продекламировал: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Я возмущаюсь: вот тебе твой Израиль... А ее ли он?

Последняя на тот момент алия (начала 90-х) — исход из бывшего Союза, полмиллиона человек за два года — самая большая в истории Израиля. Ее составляли не сионисты и диссиденты, а обыкновенные люди, впервые получившие право выбора. Дался он им непросто, и объяснить, почему они так сделали, многие не могут.

И вот приехали. Нормального жилья пока нет, только 17 процентов работают по профессии, кандидаты наук подметают улицы... Эмиграция никогда не была сладкой. Но *эта* ведь называется «репатриация», возвращение на родину, в свой дом. Почему же он не слишком приветлив? Почему люди стесняются своего языка, истоков... Может быть, Вика драматизирует — все-таки двадцать лет, молодо-зелено? За год она стала совершенно взрослым человеком. Как и ее девятнадцатилетняя подруга. «Хотели найти тут родину, — сказала она, — да не получилось».

Но и обратно не загонишь. Растет особое поколение: ни там, ни здесь. А программа жизни до удивления проста, психологи-консультанты ни за что не догадаются: «Нужны две вещи: иврит и деньги».

В рассуждении молодых есть логика. Почему к вновь прибывшим «олимам» в быту относятся прохладно? А как бы отнеслись в России к вдруг нахлынувшей массе людей, в общем-то без средств, которые называют себя русскими, при этом по-русски не говорят ни слова и чего-то требуют? Вот заговорят, встанут на ноги...

Нормально это или нет? Смотря чем мерить: еврейской историей, высокими идеями сионизма или реальным бытом и бытием, вечной судьбой эмиграции, которая ломается, проламывается, вырастает... Прибывшим в Израиль дают анкету, один из вопросов: «Сколько раз в день тебя знобит, проступает холодный пот?» В первые дни многие недоумевают, смеются. Поздней начинают понимать.

И это притом, что нигде в мире репатрианты не получают столько законных благ¹. Но абсорбция происходит не столько в официальных учреждениях и службах, сколько в жизни, к которой никакое учреждение не подготовит, смягчит — да, но все равно будет жестко и больно. Обыденность не укладывается в схему. Бывает и весело. Звонят в дверь. «Здесь живет Моше? Я пришел отдать долг — эти деньги мой дед брал у вашего деда в тысяча девятьсот двадцать шестом году».

Одни соседи относятся к тебе как к «дочке». А другие смотрят, как на нахлебницу. Принимая на работу, приветливо спросят: «Откуда ты, девочка?» И, услышав ответ, скажут с усмешкой: «Слишком сильный акцент для нашего бара».

Ладно. Пройдут и это, отслужат в армии, где все равны и рядовой называет генерала — Йося («А все равно, — сказал мне один солдат, в прошлом ленинградец, — и в армии находится сволочь, которая шипит...»), получают образование, нормальную

¹ Разве что последние годы, после распада СССР в Финляндии и Германии.

работу. Но какими они станут, те, из 90-х годов, и нынешние, из 2020-х, «русские» в Израиле? Обыкновенные молодые люди, пока не знающие, зачем приехали. Их много. Так много, как не было никогда прежде. И есть какая-то «критическая масса», способная объединиться в самостоятельную силу. Не абсорбироваться. Выработать свою программу. Хорошо, если только «иврит и деньги». А если «русский Ливан»?¹

Разумеется, у меня нет доказательств, я не проводил исследований. Только частные наблюдения. Девушка, обидевшись на что-то, заявляет своему другу, что у них ничего не выйдет, потому что она не любит израильтян. И друг, вытаскивающий в ответ пистолет.

Хотя, с другой стороны, какая уж тут абсорбция, если человек двадцати лет от роду, живя в Израиле, не знает, что такое Шоа? Ищет по календарю краткое разъяснение Катастрофы — закопанных в землю шести миллионов человек.

Тогда он тут просто эмигрант. И должен быть готов доказать, что это не так. В молодости вообще-то проще «проламываться».

Уолка

«Твою мать, — говорит Ольга, — чем вы все там занимаетесь?» Это она про Россию. Ольга живет в Америке. В узкой квартирке на Манхэттене, называемой «рэйл роуд» — железная дорога. Приехала сюда в девятнадцать лет. И сразу поселилась отдельно от родных, подальше от Брайтона — «одесской Америки» с ее сарделями, сардинами, семечками, милыми объявлениями по-русски: «Кинотеатр “Родина” — за углом». Все это вызывает у Ольги жалость и раздражение. Она не русская и не еврейка в Америке, она — американка. По языку, одежде, стилю жизни. За десять лет окончила колледж и университет, получила докторскую степень, профессию, к которой нельзя относиться без уважения — лечит детей, больных спидом, реабилитирует недвижимых. Для этого у нее есть своя система, включающая «уолку» (от английского walk /уолк/ — прогулка) — легкое приспособление, которое катишь впереди себя и двигаешься за ним. Ольга учит детей и взрослых пользоваться «уолкой».

У нее все есть: деньги, работа, любовник, острый язык, который она пускает в ход, набрасываясь на меня, когда разговор заходит о России: «Твою мать, чем вы там занимаетесь! Нужно производить. Тысячи инженеров, и пока на тысячу — один компьютер. Все должны идти и делать. Никому не нужны абстракции, теории, газеты, когда жрать нечего». — «Что же, всем сажать картошку?» — «А вы как думали? — огрызается Ольга. — Нет, не могу больше», — она задыхается от возмущения. Ее бесит «совковая психология». Болезнь вроде паралича. Может быть, всем нужна какая-то «уолка» — катишь впереди и двигаешься за ней?

Со мной Ольга отправляет в Москву громадный чемодан — инвентарь для закусочной. Она собирается делать и продавать какую-то итальянскую лапшу. Все уже просчитала: повар, шофер будут получать столько, сколько не получают в России. Сама будет отбирать персонал, проверять меню, ей лапшу на уши не повесишь. Но те, кто будут у нее работать, будут жить лучше...

Зачем ей это? Зачем ездила в Армению после землетрясения, зачем в Израиль после войны? Она американка. Ее дом тут. «Да, тут, — говорит она. — Но и там, в России».

¹ Так думал я в девяносто втором году и рад, что это опасение оказалось напрасным.

Она считает, что дом — это не гнездышко, из которого выпорхнул, а место в мире, где тебе хорошо. Она очень старается быть американкой. Объяснить, что это такое, наверное, так же непросто, как объяснить, что такое «русская душа».

«А вы не боитесь, — спрашиваю я, — что в Москве, которую не видели десять лет, уткнетесь в стенку? Что это иллюзия...» — «Я знаю, куда и зачем еду. Я отвела себе полгода. Потом вернусь в Нью-Йорк, вдохну воздуха». — «А, значит, все-таки воздуха». — «Не могу без свободы». — «В России вроде она сейчас есть», — говорю я ей в декабре 1991 года. Она, с удивлением: «Откуда она может взяться? Если тебя в отеле спрашивают: “А это ваш законный муж?” Если на улице смотрят, во что ты одета?» — «Вы имеете в виду, что нет личной свободы?» Ольга смотрит на меня как на полоумного: «А какая еще бывает?»

Похоже, мы что-то недопонимаем в этой эмиграции. Ни в первой, ни в последней. Мы привыкли смотреть на нее как на измену, побег, спасение, потому что по-прежнему живем в закрытом обществе. Изоляция породила эмигранта, снедаемого ностальгией или стремящегося забыть прошлое. Похож ли на него нидерландец, живущий в Бельгии? Француз, работающий в Австралии?

Эмиграция — явление исторически преходящее. В Нью-Йорке я видел крепкого бородатого мужика с лозунгом по-русски: «Помогите политическому эмигранту!» Когда-то это воспринималось всерьез. В конце 1991-го вызывало недоумение. «Все это кончилось, — сказал мне один из членов “Русского клуба”, праправнук представителя первой волны, журналист “Свободной Европы”. — Занавес поднялся, и русские в мире больше не эмигранты. Они люди».

«Поживем — увидим...» — написал я тогда в записной книжке.

Прошло тридцать лет.

Я больше не был в Нью-Йорке.

Новенькая. Снег и травма

Россия тоже становится страной мигрантов. Правда, сейчас их меньше, но есть тихие уголки, где их можно встретить.

17 февраля 2023 года. Москва. Болела голова. Зашел в парикмахерскую на Фрунзенской набережной. Прежний массажист уже не работал, была новенькая. Расписание забито, но мне повезло — пациент не пришел, образовалось окно, и я вверил себя рукам Майи.

«Сколько вам лет?» — спросила она. «А на сколько выгляжу?» — ответил. — «Если скажу “тридцать”, не поверите?» — «Нет, — засмеялась. — Просто у меня отец... по виду — как вы».

Она прекрасно, правильно и чисто говорит по-русски. Приехала из Киргизии. «Почему?» — «Там нечего делать».

Родилась в небольшом городке, тысяч на пятьдесят. Училась в русской школе. Ей нравились язык, снег, лес — то, чего у них нет.

Получила высшее юридическое образование. Чувствовала себя уверенно.

«А что не нравилось?» — «Все на виду, тебя обсуждают: что делаешь, как одета». — «А здесь не спрашивают?»

Обычное дело. Уехала, как из деревни в город. Большой город. И все-таки непонятно. Родной язык, родная культура, впитанная с молоком матери. Благополучная семья. Высшее образование.

Почему же?..

Мы — не свои

Почему она тут? Ну и что, что русская природа нравилась. Это частность.

Но мелькнули слова: 90-е, 2010-й, война — и все сразу осветилось. Она — узбечка из Киргизии. В 90-е годы, когда она была школьницей, и позже, в 2010-м, вспыхивали конфликты между киргизами и узбеками. В отделе кадров сказали: забирай документы. Без объяснений. Хотя она преподавала в школе историю Кыргызстана и отношение к их узбекской семье было хорошее. Но началась война.

«А почему вы не уехали в Узбекистан?» (Это все равно, что спросить: а почему вы не убежали от антисемитизма на историческую родину?)

Оказывается, родины бывают разные. Узбеки из Киргизии — не то, что узбеки из Узбекистана, к ним, объясняет Майя, совершенно другое отношение. «Мы не свои».

«Но вы же узбеки. Мусульмане. У вас есть родственники в Узбекистане?» — «Да, есть. Но все равно — отношение другое. Мы для них другие».

Что же остается, если жаркая «историческая родина» принимает холодно? Остается холодная Россия. Хороший русский язык, природа, снег, леса... И надо кормить чем-то детей, у нее двое, сейчас большие, а тогда еще были маленькие.

И она уехала. Родители остались там, но что поделаешь...

«И вот что интересно, — говорит она, — дедушка очень переживал, что язык, узбекские традиции не сохранены. Я с детьми дома по-русски говорила, как со мной в детстве родители. Мне говорить по-русски легче». — «Почему?» — «Не знаю, — говорит Майя. — Меня уже тут, в Москве, спросили: “Ты на каком языке думаешь?” Я задумалась — не знаю. Мне на родном трудней. Хотя, конечно, я говорю свободно и на киргизском, и на узбекском».

Тут, в России, можно раствориться. Но нельзя спрятаться, думаю я, слушая Майю. Она говорит, что киргизы — кочевники. А в Узбекистане — цивилизация. Музеи, история, древняя культура.

А в Москве? Одной — жене генерала — делала массаж на Тверской. «Ты почему так складно по-русски говоришь, ты же черная, — показывает Майя на свои темные волосы. — Сделала бы белыми, — говорит ей генеральша, имея в виду, что тогда никто бы не заподозрил... — А я думала, ты украинка», — сказала генеральша. Майя вспыхнула: «Я же вас не спрашиваю, кто вы. Обслужила хорошо? Ну и все».

«Там, — говорит узбечка Майя из Киргизии, — мы никому не нужны, тут все же русских в Донбассе защищают. Я о политике не говорю, но...»

До ее политических пристрастий мне дела нет, обслужила хорошо — и все.

Где спокойнее

Она не сразу осталась. Вначале попробовала. «Работаешь за четверых, а получаешь за одного, — говорит. — Побывала я здесь и вернулась. Потом опять приехала. Здесь — родственники, дети, там отец с матерью, на исторической родине, в Узбекистане — тоже родственники».

Но все же как-то привыкла. Живет, работает в Москве. Массаж, маникюр, педикюр — на жизнь хватает. Ей, в общем, здесь спокойно.

Все индивидуально. В девяностые и двухтысячные был поток беженцев-узбеков из Киргизии. Майя не из этого потока. И все же. Хотя ей нравится большой город, снег. Но с детства травма.

Голова моя болеть перестала. Ей приятно, что может человеку помочь. Здесь она нужна.

«Можно я еще к вам зайду?» — спрашиваю. — «Заходите, — отвечает. — Полежите только сегодня, отдохните...»

Больше я ее не встречал.

Мой замечательный редактор, узнав, что я начал собирать материалы по данной теме, соединила меня со старыми знакомыми, которые давно или недавно уехали в иные края. Среди них были и сокурсники ее сына, закончившие романо-германское отделение филфака МГУ и оказавшиеся в разных странах. На их выбор повлияли профессия или семейные обстоятельства. Можно ли назвать это эмиграцией? Не знаю, но уехавшие друзья и сокурсники ее сына с радостью откликнулись на мою просьбу и передавали меня по цепочке своим друзьям и подругам, отвечая на мои вопросы. Таким образом возникали новые истории.

«Я — Винсент Ван Гог»

В 2013 году в журнале «Дружба народов» была опубликована статья Натальи Вороновой о Голландии: «Утро, день, вечер в Нижних землях» — своего рода зарисовки новоиспеченной иммигрантки.

«Я сама из Москвы, — пишет она мне в письме, — филолог по образованию и призванию, бакалаврскую и магистерскую писала по литературе, а кандидатскую диссертацию уже по сравнительному языкознанию, занималась в том числе и межкультурными коммуникациями.

Приехала в Голландию в 2012 году по причине того, что у меня случился голландский муж. Но душой и мыслями я осталась москвичкой. В Москве я преподавала немецкий язык на филфаке РУДН. В Голландии какое-то время работала преподавателем РКИ (русский как иностранный), сначала на курсах, а потом в Высшей гаагской школе. Сейчас снова преподаю немецкий, а заодно и английский, но в средней школе.

В 2016 году у нас родился сын, Саша. Так как дома мы между собой говорим на английском, то и Сашка болтает на трех языках: русском, голландском и английском.

С нетерпением жду нашей с Вами виртуальной встречи!

Ваша Наташа».

Кое-что о жизни в объединенном королевстве Нидерланды я знал не только по книгам и турпоездам. В начале 90-х я почти случайно оказался участником российско-нидерландского проекта развития аграрного образования «Диметра» и благодаря этой счастливой случайности часто бывал в Голландии, узнал много интересного о системе образования страны с одним из лучших в мире сельским хозяйством. Да и вообще о голландцах.

Правда, я не жил вместе с ними, очутившись в позиции, скорее, наблюдателя-исследователя, пытающегося понять и применить чужой опыт к отечественным реалиям. Скажу сразу — ничего не вышло. Мы оказались очень разными и находились в разном времени: они в будущем, а мы далеко в прошлом.

С тех пор минуло еще тридцать лет. Наверное, думал я, тамошняя жизнь ушла еще дальше. Да и позиция Натальи Вороновой, живущей в Голландии, другая. Впрочем, тем более интересно...

Шекспир и профессия

— Судя по биографии, у вас не было проблем с трудоустройством по специальности. Благодаря голландскому мужу?

— И да, и нет. У меня вначале были ученики, которых я «привезла с собой по скайпу». Но это не тот заработок, на который можно жить в Голландии. И я считаю, что это неправильно — работать на другие страны. Надо на ту, в которой живешь. К тому же без этого трудно адаптироваться.

Система образования в Голландии радикально отличается от нашей. Я переквалифицировалась, и через год мне предложили постоянную работу — до этого была почасовая. Во время интервью мне сказали — все хорошо, но вы же не знаете систему и не представляете, с чем столкнетесь. И это оказалось правдой: попав в школу, я испытала шок.

У меня был годовой контракт, а в школу приняли на полставки. Сейчас — ноль целых семь десятых ставки. Если три года подряд продлевают контракт — получаешь постоянный. Но не более чем на три года, могут дать меньше.

Высшая школа финансируется государством и из того, что оплачивают студенты. Все преподавание ведется на английском языке, а не на голландском. Большая зависимость от США.

Гагская высшая школа, в которой я работаю, не университет — это именно высшая *школа*. Она была признана худшей в европейских странах, в ней сократили иностранные языки и прочее. Критерии оценки этой школы — процент трудоустройства по окончании, количество публикаций на английском языке и зарплата преподавателей.

Сейчас у меня постоянный контракт в частной школе. Но частные школы в Голландии не пользуются популярностью. Считается, что в них (за исключением британских и международных школ) учатся в основном дети с проблемами; в них маленькие классы, там будут возиться с ребенком с утра до вечера, «домашку» с ними делать.

(То же самое, заметим в скобках, с фермерскими, аграрными школами. В начале 90-х годов и ранее — самыми инновационными считались государственные школы Голландии. В отличие от России, где до революции самыми продвинутыми, в которых использовались передовые методы обучения, новые учебники Ушинского, Бунакова, Корфа, были не государственные, а земские учебные заведения и частные гимназии. Из этого, по-моему, следует принципиальное различие государственного и общественного, в том числе в образовании: в Голландии государство инновационно, устремлено в будущее, в России — в прошлое. — *А.Ц.*)

— В Голландии образование практично, направлено на освоение профессии. В советском образовании — все обо всем, — говорит Наталья (тут я услышал по WhatsApp, как шестилетка Саша, говорящий на трех языках, заплакал. «Горло болит», — пояснила Наташа). — В чем-то это неплохо, у нас очень широкое образование, особенно гуманитарное. В Голландии гуманитарное очень слабое.

Первое время я испытывала огромное разочарование. Они, уже взрослые, почти ничего не знают ни о Берлинской стене, ни о том, кто такой Шекспир... С другой стороны, все нацелено на практику, на то, чтобы образование обеспечивало жизненное благополучие человека. Я преподаю двадцать пять лет, но, если вы меня спросите, что такое хорошее образование, я вам не отвечу. Если он знает Шекспира,

но не может трудоустроиться, у него хорошее образование или плохое? Или если не знает Шекспира, но у него есть профессия, умелые руки — это хорошее образование или плохое?

Еще: дистанция между студентом и преподавателем, учителем и учеником в Голландии маленькая. Учитель как бы обслуживает ученика. Дети вправе оценивать преподавателя, обо всем имеют свое мнение. Это, конечно, сложно. Я обязана мотивировать учеников, и, если они не хотят учиться, считается, это моя вина.

Если вы хотите стать фермером

До проекта с Голландией 90-х я этого не понимал. Думал, что структура образования и его задачи там и тут примерно одинаковые. Но вот вам пример.

Допустим, вы хотите стать фермером. Пожалуйста. Банк открывает кредит. Некоторое время вы спокойно работаете, никто вас не беспокоит. Но однажды на ферме появляется консультант, скажем, ветеринар, и интересуется: что это такое там выросло у коровы под хвостом? И если вы не можете ответить толком, вас спросят: а где вы учитесь? А если и на этот раз не получают ответа, консультант просто сообщит в банк: этот фермер нигде не учится, он не может вести дело. И банк ставит точку. Банк — контролер и регулятор образования.

Какая-нибудь фирма по продаже удобрений, не имеющая, кажется, к образованию отношения, 60—70% времени занимается не продажей, а... обучением, информацией, консалтингом.

Банк, биржа, аукцион... Образование просто вросло во все структуры, образовательная практика, экономика, политика.

У нас совсем другая картинка: вечно несцепленные шестеренки. Вот экономика, кажется, завертелась по часовой стрелке, так политика — против. А образование вообще из другой сферы. Поэтому бессмысленно спрашивать, самое ли у нас лучшее в мире образование или худшее? Да пусть самое лучшее! Но это не имеет значения, потому что нет никакой связи между уровнем образования и жизненным благополучием человека. Увы, не было и нет...

Строгие школы. Совсем другая страна

— Насчет фермерства и образования, — замечает Наташа, — последние годы в Голландии ситуация изменилась. Были бурные протесты фермеров, связанные с налогами на экологию. И ковид — от него многие пострадали. Каждый год проводится национальный праздник фермеров, люди машут флажками и приветствуют королеву. Но в этот раз все происходило под вой грузовиков. Фермеры перегораживали дороги. Не очень радует этот вой...

Когда искала работу, я смотрела сельские школы. Маленькие комьюнити, застегнутые на все пуговицы. Строгие протестантские школы. Есть такие, в которых перед каждым занятием читают молитвы. Вообще, у меня ощущение, что Голландия разделена на две части: в одной пытаются сохранить традиции, другая, в которой большинство, смешалась с мигрантами и думает о том, как прожить день.

Я в своей школе начала на уроке рассказывать про Холокост, меня вызвали к ректору и сказали, что лучше эту тему не поднимать, потому что в школе мусульманское большинство. Когда месяц Рамадан, не надо говорить про мясо;

а когда у меня девочка в классе начала «зиговать» фашистским приветствием, мне сказали, что это свобода.

Голландия очень боится открытых конфликтов. Такая ситуация сложилась в последние годы. Было даже такое, что в Рождество запрещали звонить в колокола, потому что мусульмане недовольны.

Мы живем в районе, который когда-то был католическим, у нас рядом католическая церковь, и одно время после девяти вечера нельзя было звонить в колокола. Так было. Слава богу, сейчас нет.

У меня ребенок ходит в обычную школу с четырех лет, мне приходится говорить, что он воспитывается в ортодоксальном православии — и это срабатывает. К сожалению, приходится...

— Неужели Нидерланды так изменились с девяностых, за какие-то тридцать лет?

— Муж говорит, Нидерланды сейчас — другая страна. Свобод сохранилось в разы меньше. Но здесь всегда было главное: «веди себя нормально», «не высовывайся», «думай как все».

— Думай как все? Или делай как все?

В голландском правительстве плохо говорят на голландском

— Раньше тут не любили билингвальных детей. Сейчас с этим нормально. Пусть ребенок расскажет стишок по-французски, споет по-русски. Другое дело, нет базы, методики обучения билингвальных детей. Но отношение изменилось — это уже хорошо. А было иначе.

Когда я приехала, многие мамы жаловались, что школа настаивает: дома нужно говорить исключительно по-голландски. Только год-два тому назад детям разрешили дома говорить на родном языке.

Но Голландия — маленькая страна, это защитная реакция. Кстати, не только иммигранты плохо говорят по-голландски. Провели исследование, и оказалось, что в правительстве немало людей, плохо говорящих на родном языке.

— В России тоже.

— Медведев, когда был президентом, сказал, что скачал своему сыну всего Достоевского. И что? Впрочем, голландцы тоже не понимают, что книги должны стоять на полке.

— Голландия, — говорю я, — сможет это переварить.

— Я очень надеюсь. Иначе, — добавляет Наташа, — придется уезжать. У нас дома постоянные дискуссии. Больше всего протестует мой муж. Когда горячится, даже говорит, нельзя, мол, жить в фашистской стране.

В государственной школе, где я работала, действовала инструкция: поговорить с детьми об Украине. Я отказалась. Сказала: «Я — лицо заинтересованное, для меня это личная трагедия, и прошу меня оставить в покое».

В частной школе наоборот. Попросили рассказать, как я буду реагировать, если кто-то попытается ребенка обидеть. Если в классе окажутся, например, дети беженцев с Украины и мой русский ребенок, как я буду реагировать? Правда, мы не увидели в этой школе украинских детей. Как и в других школах — они сложные, украинские дети. Все только с мамами, без пап.

У меня убирает квартиру молодая женщина — украинка, и я устраивала ее девочку в школу. Первое время — слезы: не понимает, не знает языка, не может

учиться и общаться. Но есть некая простая система для того, чтобы ребенок мог коммуницировать. Например, если хочет в туалет, он показывает красную карточку.

В Голландии у Саши в школе никогда не было проблем. Но в Португалии, куда мы ездили отдыхать, возникли. В Лиссабоне очень много украинцев, они там давно (после развала Союза можно было купить в стране маленький участок и получить вид на жительство). И моего ребенка оскорбили. У него нет понятия о национальности, он еще маленький, и мы всегда на этом акцентировали его внимание: что мама из России, папа из Голландии. А в Лиссабоне пошли в аквариум, он услышал русскую речь и от радости сказал что-то по-русски. А дети ему: «Ах, ты русский, москаль?!» И пошел жуткий поток угроз и брани.

— Наташа, их можно понять. Все горячо, может, убили маму, бабушку...

— Анатолий Маркович, в Голландию не едут те, у кого убили маму, бабушку. На девяносто процентов сюда приезжают люди с деньгами, ученые, айтишники, сотрудники Газпрома, которые не стеснены в средствах. Они были здесь и раньше, просто сейчас получили статус.

А украинская девушка, которая убирала у нас квартиру, и ее муж, который работал у моего мужа, — они приехали, чтобы зарабатывать деньги. Мы дома поддерживаем позицию, что украинские и русские дети должны дружить. Я провожу занятия на украинском языке, поем, ставим спектакли. Вот Сашин друг — украинец, и наши дети продолжают дружить, к счастью.

И еще: чтобы жить в Голландии, надо хорошо зарабатывать, здесь очень высокие цены.

— Но это во многих странах, хоть в Израиле, хоть в Норвегии, хоть в Японии — очень высокие цены и надо хорошо зарабатывать.

— Из России в Голландию приезжали в основном люди из Москвы и Петербурга. Средний класс: квартира, дача, машина, дети ходят — кто на рисование, кто на музыку, кто на спорт. Поездки за границу... Чтобы такую жизнь вести в Голландии, надо принадлежать не к среднему классу, а выше. У средней семьи одна машина. Поехать за границу? Это не всем доступно. А тебе, вновь приехавшему, надо еще найти работу, установить связи и прочее. А когда вроде обустроился, начинаешь обращать внимание на мелочи. Уровень сервиса в Голландии не самый высокий — мастера к тебе приходят не скоро, ты должна ждать, звонить, и приходят в грязных ботинках, и ты с тряпкой ползаешь по полу...

У меня муж ремонтирует дома, и когда прихожу к нему на работу, я думаю — если бы некоторые твои рабочие так работали в Москве, тебя бы больше не позвали.

— Странно... А у меня, Наташа, — говорю я, — совсем другая картинка девяностых в Голландии в сравнении с вашей. Не накладываются они друг на друга.

— Во-первых, — замечает она, — я рассказываю свою историю, у другого человека — другая... Здесь, в Гааге, есть районы, где даже не поняли бы, о чем я говорю.

(Наверное, она права, думаю я в скобках, в Голландии в 90-е годы я имел дело с людьми из определенного слоя. Вспомнил шестизвездный отель /если такие бывают/ «все и даже более того включено» на берегу Северного моря...)

«Прикладная Голландия»

Еще об образовании в Нидерландах.

— В общеобразовательной школе, — рассказывает Наташа, — есть три вида классов. Одни называются «мафо», окончив их, ученики идут в техникумы; из классов «хафо» — в высшую школу, из фэвэо — в университет.

Теоретически, если ученик передумал, он может перейти в другой класс, но на практике этого не происходит. Таким образом, подростку в двенадцать лет школа дает совет, куда ему выгодней пойти; реально это приговор. Вот у меня сейчас такие классы. Разные программы, методы и разные сроки обучения. Больше всего учат в фэвэо, меньше всего в мафо. Кто не может учиться даже в мафо, те пойдут велосипеды ремонтировать.

В высшую школу идет 30% детей.

Здесь мамы это вам не еврейские мамы — «вначале покажи диплом, а потом поговорим». Родители в Голландии не делают с детьми уроки. Знакомый мужа — мэр одного города. Один из его детей пошел в бродячие музыканты, другой учится на стипендию богатой семьи.

Тут нельзя обидеть человека, сказав, — «не хочешь работать головой, иди работай руками». Это ничуть не унижительно, и такое отношение принято в обществе.

То, что я вижу здесь: никто не учит ни в одной школе справляться с трудностями.

Меня вызывали в Сашину начальную школу: ваш ребенок должен сам завязывать шнурки (в пять лет). В третий класс не берут, если ребенок не умеет сам вытирать попу. Странно, но здесь такая установка — чтобы освободить родителей.

Но когда ребенок попадает в среднюю школу...

«Почему ты не сделал задачу?» — «А я встретил незнакомое слово». — «А почему ты не залез в словарь?»

В Голландии такое отношение: трудно ребенку — значит, не надо. Здесь нет культуры справляться со сложными задачами. В голландском обществе принято, что все должно быть интересно.

Я помню, когда мне было пять лет, мы ехали с мамой в метро, и она мне сказала «уступи место». Я так переживала, что не знала этого.

О разном отношении к ученику в Голландии и России.

— Здесь сложные дети. Разные. Но детей уважают. Я ни разу не слышала, чтобы сказали: «Янсен, заткнись. Иди отсюда». Здесь это невозможно. А я помню свою Марию Ивановну: «Пошел отсюда!»

Ни один из учеников в моем классе никогда не затронул какую-нибудь сложную тему. Только «оркестр», «мода», «моя любимая футбольная команда»... Инфантильность бросается в глаза.

Голландия — очень «прикладное» государство. Голландцам сейчас тоже тяжело, они не могут ничего спланировать — то ковид, то война, — а они привыкли все планировать и экономить, когда-то их называли «евреями Европы». В Голландии умеют затягивать пояса и сокращать расходы. Мама моего мужа отапливает только одну комнату. А ее муж, из фермерской семьи, упертый такой, говорит — нет, мы не пойдем жаловаться. До тех пор, пока мы можем терпеть, мы будем терпеть. Они не жалуются и не винят правительство в своих проблемах.

В России Наташа, по ее представлениям, была давно. Раньше ездила минимум два раза в год. Но сейчас, говорит, ехать нам с Сашей очень дорого — три с половиной тысячи евро. Можно на автобусе через Финляндию, но это очень тяжелая дорога.

У Саши в школе — каждая вторая книжка про «папу один», «папу два». Под это идеологию подводят: быть другим нормально. Но «быть другим» означает мальчика в женском платье. А книжка такая: бесприютный щенок попал в семью,

где есть папа один и папа два. Я сказала: нам эту книжку не давать, пришлось опять же сослаться на то, что мы якобы очень религиозная семья.

Моя Оксана убирает квартиру и говорит: «Я туда работать не пойду» — «Почему?» — «Потому что там папа один, папа два».

Мы воспитаны в обществе, где это не воспринимается как норма.

В Голландии есть две формы сожития: брак и партнерство. Но когда ты считаешь нормой пожить-развестись, пожить-развестись, что тогда такое брак?

— В России теперь это тоже есть.

— Мой знакомый голландец говорит: я не религиозный человек, но я вырос в католической семье, и для меня развод невозможен. Кто как не русские, потом советские, когда-то тяжело переживали эмиграцию. Тяжелее, чем голландцы: они легко переезжают, никакой ностальгии. Теперь все постепенно меняется.

P.S. После нашего разговора Наташа прислала видеозапись с шестилетним сыном Сашей — трехязычным, симпатичным, длинноволосым, в красных штанах, черной взрослой шляпе и серой куртке с красно-зелеными полосками. Поясняя для меня, подписала: «В Голландии дети играют в Винсента Ван Гога. Видите, он написал: “Я — Винсент Ван Гог!” Спасибо, что уши целы».

На видео Саша говорит с мамой по-русски.

— Я Винсент Ван Гог.

— Почему? — спрашивает мама.

— Смотри, у меня шляпа, и куртка, и штаны разноцветные.

— А ты картину *нарисовал*, как у Винсента Ван Гога?

Саша идет по комнате разыскивать картину.

— Ну, почти нарисовал, — говорит он.

— Покажи.

— Вот, — показывает он картину, лежащую на полу.

— Какая-то она у тебя недорисованная, — говорит мама Наташа. — Надо дорисовать.

Хромосома

С Анной Папченко я познакомился через Наташу Воронову. Они учились в одно время на филфаке, на разных отделениях, и варились в одной компании, которая сохранилась до сих пор, хотя все живут в разных странах. Анна — в Испании. Я прочел ее замечательные статьи в «Дружбе народов» и «Вокруг света», в которых чувствуется дух страны, коего не ощутишь на туристических Канарах. А тут была своеобразная, испанская, может быть, немного похожая на книги Габриэля Маркеса (хотя у него латиноамериканская) магия. Впрочем, это неважно.

На аватарке Анна Юрьевна — худая, стремительная, похожая на подростка, сорвиголоу. Оказалось, она сейчас в Москве.

— Все туда, а вы оттуда. Что вы тут делаете? — спросил я, когда мы устроились в кафе-баре на Комсомольском проспекте.

— Я от мужа убежала, — сказала она не моргнув глазом.

— Одна?

— Почему одна? С ребенком.

И рассказала свою авантюрную историю «до» и «после».

Случайная беременность

— У меня было все хорошо. Я работала в университете. Параллельно сотрудничала в «Вокруг света». Ездил в экспедиции, писала статьи и сценарии. Я рассталась с первым мужем, но все было в полном порядке.

Однажды я отправилась на каникулы в Испанию. Моя подруга вышла замуж. Я поехала к ней погостить и познакомилась с моим нынешним мужем Мигелем.

Я продолжала жить в России, он время от времени приезжал в Москву, и все было прекрасно, пока я не забеременела (до этого не могла родить). Мигель сказал, что дико хочет заново пройти все стадии (у него была старшая дочь от жены, с которой он расстался). А мне не хотелось уезжать из Москвы. Но я подумала: поживу в Испании, как-то наладится жизнь по-новому. Не получился этот «творческий проект» по ряду причин.

Мне было тридцать четыре года, а ему сорок один. Когда родилась дочка, он полностью отстранился. А мне нужна была помощь, ведь я попала в совершенно другие условия. Одна с ребенком и отстранившимся мужем.

Я работала удаленно переводчиком в РИА «Новости». Он мог бы взять ребенка и посидеть с ним, пока я работаю. Но он — нет, ничего не делал.

А второе — я, испанистка, не могла в Испании заниматься своим делом, работу найти, чтобы мне было интересно. Не было никакой потребности в испанисте в Испании. Это довольно странно.

Эти две вещи не позволили мне построить новую жизнь. Я оставалась одной ногой здесь, другой там.

Я не продавала квартиру в Москве, у меня было ощущение, что надо иметь место, в которое я могу вернуться.

Сейчас моей дочке Вике уже двенадцать лет.

Забыть, что вы русские

— Простые мигранты — электрики, сантехники — разговаривают со своими детьми на ломаном испанском. Не хотят говорить с ними по-русски — чтобы дети быстрее интегрировались. А основная часть русской диаспоры в Мадриде вообще не допускала русского языка. Как слышат, что кто-то говорит по-русски, — переходят на другую сторону улицы, закрывают дверь дома. Большинство этой диаспоры представляли жены, которые хотели забыть, что они русские, раствориться в европейском мире, который давал бонусы. Они как будто не хотели ничего знать о России.

А в городе Аликанте жили русские бандиты, подлежащие экстрадиции, но их не выдавали, так как у России не было договора с Испанией об экстрадиции.

Несмотря на все это, везде в Испании отношение к русским хорошее, здесь помнят историю с испанскими детьми во время гражданской войны. Образованные испанцы к России тоже относятся позитивно, но несколько свысока, потому что в их восприятии Россия — страна третьего мира.

Между тем одна диаспора построила деревеньку, а в ней церковь. При храме открыли детский центр, я привела туда дочку. Диаспора эта состояла из русских, украинцев и белорусов.

Украинцы были действительно диаспорой — ходили в церковь, стояли на крестном ходе, работали, собирались вместе. «Работящая диаспора». В ней была и интеллигенция. Двенадцать человек создали оркестр, давали концерты. Самодостаточная диаспора, они друг за друга держались, все делали сообща.

Чего нельзя сказать о российских гражданах (и белорусах, которые больше похожи на русских, чем на украинцев).

В Мадриде я знаю очень много семей. Среди них женщины, которые недавно приехали, выйдя замуж. Но я не могу назвать этих людей диаспорой. Они не стремятся общаться друг с другом.

— Раствориться хотят?

— Да, растворить себя и своих детей.

Читала в обед «Тараканище»

— Первое слово, которое Вика произнесла, было «аго» — вода. И я рыдала, потому что хотела воспитать ее в русской культуре. В обед я читала ей «Тараканище». Я боялась, что проиграю эту битву. Поэтому регулярно возила дочку в Москву, к тому же я знала, что и как делать. И выиграла! Когда Вика пошла в школу, она не знала испанского.

— Живя в Испании?

— Испания повсюду, она и так бы заговорила по-испански. Но я знала — чтобы у дочки был русский язык, он должен пятьдесят процентов времени занимать в ее жизни. И я делила время на две части.

Когда забирала ее из школы на обед, мы читали на русском, рисовали, пели, разговаривали. Я получала удовольствие ни с чем не сравнимое, потому что вкладываешься — и прямо на глазах результат.

— Но зачем все это? Немало людей вам скажут, что вы создаете для ребенка проблемы, отрываете от реальной жизни. Зачем искусственно сохранять старое, нужно интегрироваться в новое общество.

— Занимаясь диалектологией, я знаю — этот вопрос встает рано или поздно. Например, как это возможно, что в Испании в некоторых семьях сохраняется диалект? Существует групповая идентификация: армия, тюрьма. Если ты не будешь говорить так, как принято в этой группе, тебя не признают своей.

— Это понятно. Но почему вы так настойчиво прививаете дочке русский? Хотите, чтобы она могла здесь общаться?

— Глубже. Это часть меня, хромосома. Я хочу, чтобы ей передалась моя материнская русская хромосома.

Школы по всему свету

— Я поняла, что для меня путь наименьшего сопротивления — это сохранить связь со всеми русскими людьми, с которыми я училась в университете, работала в редакции журнала «Вокруг света». Но при этом зарабатывать деньги в Испании. Работать надо было, потому что мы с мужем оплачивали квартиру пополам.

— ?!

— Да, пополам. «А детская занята, — говорил он, — ты хочешь, ты и плати». И еще — чтобы твой ребенок умел делать что-то хорошо, надо заниматься в кружках и секциях, это стоит очень больших денег. На это надо копить.

Потом произошла история, которая может быть вам интересна, — говорит Аня и выпивает вторую кружку пива (я не пью, предлагаю ей, и она кивает).

— Юлия Десятникова (она известный зоопсихолог) уехала в Израиль и открыла сначала школу английского языка, а потом сеть русских школ в разных странах: в Тель-Авиве, Лондоне, Париже, Мадриде... Это были как бы школы выходного дня, но при них — русский язык, искусство, математика, биология... Она искала не педагогов, а ярких людей, которые знали предмет. Набирала группу энтузиастов, и, конечно, это отличалось от унылых русских школ. У нее все было ярко.

Я начала там работать. Мне были близки ее идеи воспитания. Она рассказывала, что происходит в разных диаспорах. В Париже школа под триста человек, и там главное — интеллектуальное, культурное воспитание. То же в Лондоне.

А в нашей школе в Мадриде тридцать человек, я до сих пор в ней работаю.

— А что ее заставило открыть все эти школы?

— Юля Десятникова — хороший бизнесмен, она поняла, что есть запрос, люди готовы платить. Еще она открыла бизнес-школы в Будапеште и на Кипре, но там дело не пошло. Таких центров, как в Париже, Лондоне, Тель-Авиве, немного. То, что у нас всего тридцать детей, — показатель того, что здесь запрос маленький.

Наша школа в Мадриде очная, но я — единственный дистанционный педагог, преподаю русский язык.

На базе этой школы у меня образовалась компания прекрасных друзей, которые находились в похожей на мою ситуации.

Среди моих знакомых испанцев много, но я не смогла найти ни одного друга. Не понимаю, почему так получилось. Я очень общительна, — говорит она и энергично взмахивает руками, — но почему-то не сложилось.

Быть узбечкой

— Так все-таки почему вы здесь? — спрашиваю я.

— Это банальная история. Я просто ушла от мужа. В течение тех лет, пока длился мой «уход», я столкнулась со своей «мигрантностью». Раньше я об этом не думала. Я подала на развод, но в Испании процедура расторжения брака чрезвычайно трудна, забюрократизирована, и развод оформляется только в судебном порядке. Право развода как таковое было установлено законом только после смерти Франко. Тем временем муж начал вести себя странно. Во-первых, пить. А во-вторых, угрожать нам с дочерью оружием из своей коллекции. Я пошла в организацию «Хуристас фэминистас», которая оказывает адвокатскую помощь женщинам, оказавшимся в сложной ситуации, и сказала: «Я хочу уехать с ребенком». — «Вы хотите забрать ребенка? — сказали они. — Ни один суд этого не позволит».

И тогда я просто сбежала. Это была, конечно, авантюра. Я переходила границы, пробиралась через разные страны. Словом, бежала. У меня просто не было другого выхода. Один человек мне сказал: «Ты понимаешь, что ты там узбечка?» — «Я — узбечка?!» — «Да».

Я люблю узбеков. Но я поняла, что это такое — «быть узбечкой». Я намного образованней мужа. Я больше зарабатываю. Но это не имеет никакого значения.

(Тут я вспомнил другую историю — из Скандинавии. Одна из дочерей моей хорошей знакомой, очень самостоятельная, хорошо говорящая по-фински, шведски и норвежски и оказывающая юридические услуги, имела одну особенность — часто выходить замуж, каждый раз рожать ребенка, затем с шумом разводиться и приводить

в дом следующего мужа. Когда в очередной раз она вышла замуж за интеллигентного человека, поэта-узбека, родила ребенка и начала ругаться с мужем, она, недолго думая, ударила его сковородкой по голове. Однако узбекский поэтически настроенный муж оказался практичным человеком. Он пошел со следами побоев в отделение полиции и написал заявление. Началось следствие, в результате суд этой страны, где преимущество в воспитании отдается мужчине, присудил ребенка не любвеобильной матери, а тихому узбекскому отцу. Это я к тому, что быть узбеком или узбечкой в иной стране не всегда плохо.)

— Но в Испании, — говорит мне Аня, — разное отношение к людям из разных стран. Одно дело Америка. А Россия — третий мир, «узбекистан».

Я вернулась в Москву и год пребывала в эйфории. Здесь моя жизнь совершенно изменилась. Я могу больше зарабатывать, у меня есть жилье, семья, родители, все, что нужно для нормальной жизни.

— А дочка пошла в школу?

— Да, в испанскую. Это русская школа, но с углубленным изучением испанского языка. Там, в Испании, я сохраняла ей русский язык, здесь — испанский. Иногда я вожу дочку к папе.

— Не боитесь?

— Нет. Когда я уехала, у него в голове перебродило, он перестал пить и сделался таким, как прежде. Он очень любит своих дочерей.

Волна за волной

— Чем занимаются в Испании приехавшие?

— Некоторые имеют бизнес в России, и эти деньги помогают им вести дело в том месте, куда они перебрались. Развалившись в кресле и раскуривая сигару, они выбирают, куда ехать: «Можно в Лиссабон, можно в Нью-Йорк...» Они не привязаны к месту, где оказались. Им все равно. Именно поэтому они не учат язык. Они приехали — чип-чип — быстро наняли кухарку, гувернера, быстро устроили ребенка в школу — потому что у них есть деньги.

— Ну, не у всех же.

— Айтишники и другие, те, кто может работать удаленно, едут, как раньше ездили, в Индию, причем не только англичане. Но и русские. «Дауншифтинг»¹.

— До революции?

— Нет, сейчас, в двухтысячные. Или в Таиланд едут, пока у них маленькие дети, — и свободно, в тепле, живут тесной коммуной. А если ты зарабатываешь в своей стране много денег, ты едешь в другую страну и чувствуешь себя королем, потому что уровень жизни там ниже. Четверть населения в Испании — безработные. Приезжие нанимаются на работу нелегально. Румыны, русскоязычные, Латинская Америка, Марокко... Славянский сегмент более скромный, но существует. В нем представлены в большей степени украинцы, чем русские.

— Поддерживается ли связь с Россией?

— Да, но те, кто приехали раньше, пытаются перевезти к себе родителей. И тогда окончательно теряют связь со страной. Моя волна — люди финансово не очень обеспеченные. Начиная с ковида, связь с Россией просела, потому что сложно,

¹ Дауншифтинг — это практика сознательного упрощения своего образа жизни и снижения значимости для себя материальных ценностей.

не всем доступно. Ослабевающая, умирающая связь. В том числе потому, что за нее не очень-то и держатся.

— А у приехавших сегодня в Испанию уровень жизни ниже, чем был на родине?

— Про эту волну не знаю.

— А из вашей?

— Ну, многие ведь постепенно повышают свой уровень жизни, образование, зарплату. Только это требует большого упорства. Я когда-то работала в посольстве Испании — ставила визы, штампы. И меня предупреждали: если едет неженатый парень — отказ, потому что он едет нелегально найти работу. Если пожилой человек, якобы в автобусный тур, — отказ, потому что, как правило, он едет к дочери, которая вышла замуж за испанца. Если кто-то едет по приглашению и просит долгосрочную визу, — отказ, потому что «лишний рот».

— Возможный сценарий будущего: русский сектор или интеграция?

— В Испании однозначно — тотальная интеграция. Испания — специфическая страна. Она — Европа, но ее диалектологическая карта очень пестра. Испания готова вобрать в себя многое, но не готова отдать свое образовательное пространство. В Испании русскому делать нечего — это не Франция, не Германия и даже не Португалия, — надо ехать дальше.

Семь столетий реконкисты, с восьмого по пятнадцатый век испанцы воевали с арабами, не называя себя никак — просто христиане. Единая общность и однородность — именно в этом видят сходство Испании с Россией. В обеих странах было долгое иго. Обе победили Наполеона. Их сообщества ориентированы не на демократическое объединение, а на слияние всех в одно. Они не хотят, чтобы были разные люди, как в Америке. Они хотят, чтобы это были одинаковые люди, которые живут все вместе.

— А если вновь опустится железный занавес, что будут делать иммигранты?

— Конечно же, те, кто переехал давно, приспособились к стране, пристроились, основываясь на том, что было приобретено в России. Моя подруга, например, преподает АРТ, открыла свою мастерскую. Как говорится: кто на кого учился.

— Когда-то мой дядя, биохимик, член Нью-Йоркской академии наук (он давно переехал из России в Израиль, и у него было все хорошо) сказал мне: «Переезжайте, Толя, если, конечно, вы готовы к нулевому статусу». Я тогда уже защищал докторскую и удивился: не такой уж у меня низкий статус... Потом понял.

— Музыкантов, айтишников, артистов балета, спортсменов, шахматистов даже приглашают.

— А филологов? — спрашиваю я.

— Филологов — нет. Филология — не та наука, которая может послужить во славу страны.

Тихая музыка. Странная тема

Этот наш разговор в московском баре за кружкой пива Анне нравится. Говорит, что могу привлечь ее к своей работе, эта тема ей очень близка, и она с удовольствием поучаствует.

В нашем кафе тихая музыка, а подальше, в заведениях у метро, — гром, грохот...

Я довожу ее до подземного перехода, и мы прощаемся. Я вспоминаю, как она боролась за то, чтобы дочка говорила по-русски. Почему? Она сказала, потому что язык, культура — это материнская хромосома, часть человека по имени Анна Юрьевна, которую она хочет передать дочери, без этого ее нет.

А я? Почему не боролся за то, чтобы внучка Майя, родившаяся и живущая во Флоренции, говорила на языке дедушки? Потому что далеко? Потому что я толком не узнал внучку, это не часть меня? А почему не боролась старшая дочка Вика, долго жившая в Израиле, — русский перестал быть ее частью, ее хромосомой? И что я могу изменить теперь? Мне горько от этих мыслей, от которых теперь никуда не деться.

Почему я взялся за эту странную тему? Зачем выискиваю людей по всему свету, несущих и уже не несущих детям свои хромосомы, записываю их истории?

Может быть, потому что так лучше осознать собственную историю, себя. То, что не хочешь вытаскивать на свет божий, что спрятано глубоко в тебе, так глубоко, что не доберешься — на генетическом уровне. Но, пытаюсь понять других, узнаешь и себя.

В тихом пригороде Варны. Эмиграция пенсионеров

«Климатическая эмиграция»

— Юлия Владимировна, вы где жили в России?

— В закрытом городе в Томской области, — говорит Юлия Лабатурина. — Закончила медицинский, работала врачом. В девяностые переехала в Москву и начала заниматься зарабатыванием денег. Челночила¹. Познакомились с будущим мужем. В девяносто шестом купили квартиру.

Детей рожала поздно, дома, с акушеркой. Когда они подросли, мы решили, что будем сами обучать и воспитывать их, без детских садов и школ.

В две тысячи одиннадцатом году мы с приятельницей открыли издательство, в пятнадцатом расстались, и я стала работать самостоятельно.

— Я читал про ваше издательство, у вас книги о детстве.

— Более широко — о семье. Беременность, роды, психология детско-родительских отношений, книги для родителей, которые осознанно относятся к воспитанию.

— Таких много?

— Достаточно.

— Как случилось, что вы уехали? Это произошло спонтанно?

— Сейчас люди уезжают практически на пустое место. У нас было по-другому. Я пыталась уехать из России еще в девяностые. Поехала в Голландию, три месяца прожила, но с будущим мужем познакомилась и вернулась. Потом Тихон родился. В две тысячи четвертом второго ребенка родила, в сорок один год.

А со следующего года мы начали ездить сюда, в Болгарию, на лето. Сначала купили землю, потом дом стали строить.

Времена менялись. Поначалу по наивности считала, что что-то можно изменить. Вокруг были люди, которые внушали надежду. А вообще я хотела уехать из-за климата,

¹ Челноки стали одним из символов российской торговли 1990-х годов: после указа Бориса Ельцина «О свободе торговли» в страну хлынул поток зарубежных товаров. Везли в основном ширпотреб: одежду, ткани и обувь, косметику и парфюмерию, технику и бытовую электронику. Основными экспортерами челночного рынка стали Турция, Китай, Италия и Польша. Первые челноки ездили за товаром в одиночку и возвращались в страну с плотно набитыми клетчатыми сумками — чуть позже в народе их стали называть челночными.

я же родилась в Сибири. Говорила: «Моя эмиграция “климатическая”». Мой муж русский, но родился в Латвии.

— А как его родители попали в Латвию?

— Их немцы гнали во время войны в Германию и бросили на хуторе в Латвии. Муж получил там вид на жительство, и у детей тоже есть, они могли жить где угодно. Дочь провела три года в Вене, училась там, после вернулась в Ригу. У нас очень медленно двигался процесс. Уехать не получалось из-за ковида, да и муж не особенно хотел уезжать. Он оставался в Риге из-за отца.

В двадцать первом году все соединились: я с кошкой и собакой — и они.

Одни сюда, другие отсюда

— Были ли трудности с адаптацией?

— У меня здесь достаточно знакомых, чтобы помочь. Приятельница знает язык. Тяжелой адаптации не было. И мы живем в пригороде Варны, здесь тихо, плюс язык похожий. И, наверное, болгары генетически нам близки...

Конечно, в последнее время ситуация осложнилась: банки перестали выдавать деньги, трудности с государственными учреждениями, с продлением паспортов или получением новых — муж очень долго не мог получить. Но сходили к начальнице отдела, она объяснила, как лучше. Сложности, конечно, есть, но не такие уж...

— Вы продолжаете издательскую деятельность в России? Я посмотрел, у вас же не много книг выходит.

— Я совершенно осознанно поддерживаю небольшой ассортимент, потому что не хочу вала. За каждую книгу отвечаю. Конечно, хочется, чтобы оборот был больше, но... Работать можно отсюда. Остались сотрудники, со всеми хорошие личные отношения. Все они любят свое дело, подстегивать никого не надо. Основные покупатели у нас — посредники: «Лабиринт», «Чистый город»... В розницу практически не идет.

— А какая в Болгарии сейчас ситуация у русскоязычных?

— Здесь очень большое количество пенсионеров. Пенсионерам легче получить вид на жительство. Поэтому многие пожилые люди продавали свое жилье и покупали здесь. Этот процесс продолжается. Кто-то приезжает, кому-то помогают дети, кто-то в силу разных обстоятельств уезжает. Есть категория молодежи, которая здесь живет и работает удаленно. Есть кто-то, кто здесь учился или учится. Здесь даже на русском можно учиться. Много русскоязычных израильтян, в армии их много. Сами приезжают и знакомых, родственников перетягивают: устраивает климат, жизнь дешевле... Люди разного возраста. Есть моего. Есть пятидесяти-шестидесятилетние, те, кто в России родил первого ребенка, второго в Израиле, третьего — здесь. Много русскоязычных из Казахстана, Сибири.

— Острой проблемы с языком нет?

— Я думаю, нет, если нет необходимости искать работу, ходить по инстанциям. Я язык учу. Хотя, если обращаешься по-русски, все стараются понять и ответить. Старшее поколение болгар знает русский. Молодежь хорошо знает английский. Жизнь иммигранта-пенсионера в Болгарии — это активные прогулки, море, или выращиваешь у себя на террасе цветы — нет особой необходимости в языке.

— Русские и украинцы в Болгарии — какие у них взаимоотношения?

— Я не наблюдала каких-то стычек. Здесь, в Болгарии, украинцам особенно не помогали, и они не задерживались, ехали в другие места. А те, кто оставался...

У моей приятельницы сын учится в школе, вначале в частной учился, потом в обычной, может быть, были сложности с языком. Но чтобы акцентировали внимание на том, кто русский, кто украинец, — такого нет, ко всем относятся одинаково.

«Болгария — это Москва 2000-х»

Я рассказал Юлии об этапах послереволюционной самоорганизации эмигрантов, той, что была сто лет назад. Как вначале сидели на чемоданах, потом создавали лектории, потом школы по всему свету. И сейчас вроде в отдельных странах происходит нечто подобное с приехавшими. А как в Болгарии?

— Да, да, я думала об этом, но, может быть, прошло еще мало времени, чтобы начать самоорганизовываться. Но я размышляю о том, что сделать, чтобы сохранить язык для детей.

— В Черногории сейчас уже открылись русскоязычные детские сады, школы, образовательные центры, которые объединяют людей.

— В Болгарии этого нет. Здесь нет такого количества переехавших. Люди более активные, молодые, специалисты уезжают больше в страны Ближнего зарубежья: в Армению, Грузию, в Казахстан; например, уехало много врачей.

— Что вы думаете о будущем, каков сценарий: русский сектор или интеграция, растворение?

— В разных странах, мне кажется, по-разному. Во Франции, Италии получить вид на жительство практически невозможно. Анклавы — Ереван, Тбилиси, Казахстан, Черногория, — там проще найти работу или создать рабочие места, ниш очень много. Болгария во всех случаях — не показатель. Что касается работы в Болгарии — мужчины приезжают туда, куда компания переместилась, в другую страну, более развитую. Что касается беженцев, вид на жительство получить трудно, начать процесс решаются только отчаянные люди. В Болгарии очень долгий процесс легализации. У нас получение ВНЖ заняло полгода — начиная с момента оформления бумаг, переезда, получения документа для дочери. Многие уезжали в Турцию, сейчас ситуация успокоилась. Но и теперь те люди деятельного возраста, кто приезжают сюда, оставаться не хотят. Болгария — это Москва 2000-х годов. Конечно, есть возможность нелегальной работы. Существует потребность в рабочих руках в строительстве.

— А если преподавателем?

— Я знаю историю учительницы, которая преподает математику без знания языка. Но это исключение.

— А в университете?

— Трудно сказать, да я думаю, университетские преподаватели сюда не поедут. В Варне есть частный университет, но сколько ему нужно преподавателей?

— Так куда пойдет процесс — автономизация или интеграция?

— Не могу сказать. Я не вижу стабильных сообществ.

— Что вы будете делать, если снова опустится железный занавес?

— Не хочется думать об этом... Мне кажется, надо заниматься тем, что умеешь делать. Пусть не здесь — в других странах. В моей области много интернет-магазинов. Я надеюсь, что, если будут полезные издания для семьи, для детей, читатель найдется. Все-таки я рассматриваю возможность что-то создать здесь...

Юрий Каграманов

У НИХ ВСЁ ВОЗМОЖНО

Раздался воздух впереди.
Сомкнулся сзади он.

Сэмюэл Кольридж

Название этой статьи никак не соотносено с прошумевшей в 30-х годах прошлого века книгой Синклера Льюиса «У нас это невозможно», — убеждавшей читателя, что в Соединённых Штатах может восторжествовать фашизм по европейскому образцу. Не о фашизме сейчас речь, но о других сюжетах, в их числе таких, которые современной историей до сих пор не опробованы.

Что в Америке действительно возможно, — это какая-то новая комбинация идеологием, отличная от традиционного американизма. Мы слишком часто представляли Америку такую, какою она была ещё недавно; это как свет умершей звезды. Америка стремительно менялась на протяжении последних лет. Известный неоконсерватор и прогнозист Роберт Каплан (у нас переведены некоторые из его книг) ещё в 2021 году писал в газете *Washington Post*: «Соединённые Штаты вступают в глубочайший политический и конституционный кризис со времён Гражданской войны (по мнению других авторов — со времён Войны за независимость. — *Ю.К.*), с обоснованными шансами в течение четырёх лет столкнуться с массовым насилием, распадом федеральной власти и разделением страны на враждующие красные (республиканские. — *Ю.К.*) и синие (демократические. — *Ю.К.*) анклавы»¹. И это совсем не оригинальный прогноз. Как писал еженедельник *Paste*, в нынешние времена в Соединённых Штатах «Кассандра вещает из каждого утюга».

Крик обывателя со страницы той же газеты *Washington Post*: «Мы никогда не думали, что в Америке могут быть такие плохие времена». С другой точки зрения — времена в Америке как раз совсем неплохие и даже очень интересные.

Каграманов Юрий Михайлович — публицист, философ, культуролог. Родился в 1934 году в Баку. Окончил исторический факультет МГУ. Автор многих статей и ряда книг, в том числе: «Культурные войны в США» (2014), «Око бури. Проблемы исламского вызова» (2020), «Что ждёт Америку» (2021), «Время славянофильствует» (2022). Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в Москве.

¹ *Washington Post* от 23.09.2021.

Странная революция

В год выборов в идеологическом поле царил редкостный разброд. Политически противостоящие силы организуются, как левые (демократы), они же синие, и правые (республиканцы), они же красные; противоречия меж ними только усугубляются: левые всё больше подвигаются влево, а правые вправо. Но и внутри этих группировок сеть силы, которые тянут в разные стороны. И есть такие группировки, которые к правым ли, к левым отнести трудно.

Особенно это касается левых. Господствующая идеология здесь обычно определяется как марксизм, в относительно недавние ещё времена подавляющим большинством американцев воспринимавшийся как такое лихо, которое достать их никак не сможет. И у нас распространение марксизма в стране «развитого капитализма» воспринимается как диковина. Заметим, однако, — в нашем «одомашненном» марксизме внимание было обращено на его экономическую сторону, тогда как это учение — многостороннее. Сущность его, как мне представляется, наметил Плеханов, а развил его мысль покойный философ Вадим Межуев: это — пафос движения; пафос первичен, а логические конструкции вторичны. Можно, наверное, сказать и так: не столько важно, к чему двигаться, сколько от чего — Начал, Основ, Твёрдых понятий¹. (У нас более или менее последовательными — не на словах, а «по духу» — марксистами были Ленин и Троцкий, а фактически порвал с марксизмом Сталин). В Соединённые Штаты марксизм был занесён троцкистами, в основном франкфуртскими культур-философами, поставившими целью завоевание тамошних университетов, что в значительной мере удалось им уже к 70-м годам. А в 90-е марксизм потёк оттуда, как каша в гриммовской сказке, разливаясь по всей стране.

Вылился он теперь в самые разные формы: и в форму борьбы с капитализмом (да, есть и это по-прежнему), и в различные фантазии о гендерном самоопределении, и в блажь о превосходстве чёрных, и так далее. Все подобные движения до поры до времени поддерживали технологические гиганты, начиная с Силиконовой долины. Это средоточие разного рода технологических новаций, где подвизаются раскованные молодые люди с математическими умами. Здесь фокус так называемой калифорнийской идеологии, сочетающей наследие хиппи с технологическим прогрессизмом.

Мне лично как-то милее Силиконовой долины, равно как и всех «пробуждённых» в левацком смысле этого понятия, помещённая на другом, атлантическом, побережье Штатов Сонная лощина, созданная воображением Вашингтона Ирвинга, где, как правило, царят тишина и безмятежность. Если там и засели где-то злодеи, то простые люди видят, что именно злодеи. Увы, пастораль эта осталась в далёком прошлом.

Между всеми этими движениями есть расхождения и конфликты. Например, принципиальным феминисткам не совсем по пути с поборниками неограниченных свобод в половой сфере. Негритянское сообщество, выступающее на стороне левых, в некоторой своей части не приемлет гендерные новации или, по меньшей мере, относится к ним с осторожностью. Борцы с капитализмом не всегда готовы отводить первые роли неграм. А объединяет их всех враждебность, во многих случаях доходящая до раскалённой ненависти, к традиционной Америке, ко всей вообще евро-американской цивилизации в её основаниях и в её высших достижениях, ко всему

¹ Подробнее я писал об этом в статье «О “возвращении” марксизма на Западе» («Русская истина», 21.05.2024).

наследию, оставленному «мёртвыми белыми мужчинами» (сразу три предосудительных недостатка).

О мужчинах, о диалектике маскулинности неплохо сказал писатель Майкл Хопер (не к поколению «старых ворчунов» принадлежащий, но к «поколению икс», то есть родившихся между 1965 и 1976 годами): «Трудные времена создают сильных мужчин. Сильные мужчины создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых мужчин. А слабые мужчины создают тяжёлые времена». О чём-то подобном, помнится, писал и Платон.

Самое забористое, что находим на стороне левых, — представления о гендерной текучести. Это последний крик либерализма, взявшего разгон и не умеющего остановиться. Изначальное его кредо, поставившее во главу угла принцип свободы, имело свои резоны, но до определённых пределов. А гендерные новации — это выродившийся, зарвавшийся либерализм, позволяющий оценить по достоинству мысль Леонтьева: «Всякое начало, доведённое односторонней последовательностью до каких-нибудь крайних выводов, не только может стать убийственным, но даже и самоубийственным»¹. Его же уподобление «до конца» освобождённого индивида атому в теле гниющего трупа, хоть и выглядит макабрическим, достаточно оправданно.

У правых с их стороны остаётся консервативный «запас» — это «одноэтажная Америка» по большей своей части. Синклер Льюис окарικатурил её в «Главной улице», изобразив как мешанское болото. Уже в наше время Ларс фон Триер добавил ей и вовсе зловещие черты в фильме «Догвилль». Но мешанство, по справедливому замечанию Мережковского (лично от него страшно далёкого), может выступать как воплощение посредственности, но может — и как «мудрое и доброе».

Большинство жителей «одноэтажной Америки» исповедуют трампизм — понятие, оторвавшееся от личности Трампа и обещающее остаться после его ухода с политической сцены. Ещё раз процитирую Каплана, ныне состоящего в демократах и тем не менее давшего довольно объективную характеристику (в той же статье) этой категории населения, как и вообще трампистов: «Большинство сторонников Трампа — хорошие родители, хорошие соседи и достойные члены своего сообщества. Их фанатизм (вольнo ему называть их верования фанатизмом. — Ю.К.) по большей части является типичным фанатизмом белых американцев, возможно, с добавленной мерой негодования и менее отфильтрованной формой выражения с тех пор, как на сцене появился Трамп. Это нормальные люди в том смысле, что они думают и действуют так, как американцы действовали веками. Они верят в семью, своё племя, религию и расу».

Такие люди всегда представляли собою костяк американского общества. Уолт Уитмен, который до сих пор пользовался репутацией главного поэта Америки, писал, что влюблён

В тех, кто владеет топорами и молотами
И умеет управлять лошадьми².

Шервуд Андерсон в «Песнях глубинной Америки» (1918) хоть и признал, сколь узок кругозор её обитателей, тем не менее впечатлился их добрыми нравами, простодушием и весёлостью. Что-то от этих качеств сохранялось до последнего времени. Гек Финн с Томом Сойером, попади они сюда, почувствовали бы себя не совсем чужими.

¹ Thelib.ru/books/leontiev_konstantin/vizantizm_slavyanstvo-read2.html

² Перевод К. Чуковского.

В этой среде вызывали недоверие «бледные эстеты» из Гринвич-Виллиджа и «мудрилы» из университетских кампусов; тем и другим можно было в этой связи посочувствовать. Но когда из больших городов в малые потекли потоки квир-культуры (queer culture) со всеми её прелестями, тут уже сочувствовать приходится «одноэтажной Америке».

Есть диалектика отношений «корешков» и «вершков»: правда-истина переходит от одних к другим и наоборот.

Происходящее до сих пор в больших городах — в малых вызывает изумление; по словам одного из тамошних обитателей, «мы будто попали в королевство кривых зеркал». А все выкрутасы вокруг гендера создают впечатление, что синие просто-напросто психически больны.

«Гроздь гнева», как и в романе Стейнбека, зрели по стране, и не только в малых городах. Что дальше? Вызовет ли повторный приход Трампа к власти встречную волну, как её называют моряки, которая опрокинет демократических «ослов» и «ослиц» с выстроенным ими царством лжи? Но, как я полагаю, не Трамп поднял встречную волну, а, наоборот, волна вынесла Трампа. Её подняла американская глубинка, ещё не растерявшая прежнее своё христианство.

Происходящее называют иногда революцией здравого смысла. Точнее говорить здесь о контрреволюции. А революция пока остановлена.

Хотя одолеть синих, подгоняемых в своём оголтении нечистой силой и ставших ещё злее после проигранных выборов, будет очень непросто. У них сильные позиции в сохраняющихся бюрократических структурах, особенно в тех штатах, где большинство остаётся за ними. Они почти овладели школой, как мы знаем из опыта, способной в относительно короткое время пересоздать нацию (ближайший пример — Украина). Я уже не говорю об университетах, в большинстве которых свирепствуют хунвейбины нового образца в союзе с припадочными профессорами и профессоршами. В помощь синим за минувшие годы напозли караваны иммигрантов, культурно чуждых Америке и потому тоже представляющих собою революционную силу. Выдворить их всех, чего в идеале хотели бы трамписты, будет невозможно.

Историки и публицисты консервативного направления считают, что революция, развернувшаяся в Америке за минувшие годы, по своим масштабам и объективно поставленным задачам близка двум «великим» революциям, Французской и Русской. Особенно много аналогий находят с Русской революцией, хронологически гораздо более близкой.

Знакомые с русской историей указывают, что тогда и теперь революцию начинали «студенты-идеалисты» (в Америке это «дети цветов» конца 60-х), вообще работники умственного труда — применительно к Америке не хочется называть их интеллигенцией, это всё-таки специфически русское понятие. Революционеров Америки, как и русскую революционную интеллигенцию, отличает «идейность задач» и «беспочвенность идей» (известная характеристика Г.П.Федотова). Параллели находят и в частности: детей, которых революция отбирает у родителей, называют «павликами морозовыми», ждут появления в Конгрессе, ставшем после выборов республиканским, «матроса Железняка», «событие 6 января» («штурм» Капитолия, спровоцированный ФБР) приравнивают к «событиям 9 января», то есть к «гапоновщине», травлю полиции — к судьбе несчастных городских в феврале 1917-го, уличный беспредел сравнивают с тем, что творилось в том году в Петербурге и Москве. За короткое время у людей поменялось выражение лиц, но то же происходило и в России — по наблюдениям Бердяева, Бунина и многих других.

Происходившее донесё в городах Америки можно было бы так же описать словами Бунина из «Окаянных дней»: «Недоуменное существование и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество».

Но есть в разворачивавшейся в Соединённых Штатах революции существенная черта, отличающая её от «великих» предшественниц: это странная революция в том смысле, что «верхи» общества её поощряли и сами разжигали. Можно ли представить, чтобы Людовик XVI, пока он ещё оставался королём, записался бы в Якобинский клуб (или что ему там предшествовало — клуб Кордельеров)? Или Николай II, тоже ещё император, вступил бы в партию большевиков или хотя бы разделял их программу и продвигал её в жизнь? Но именно что-то подобное происходило в Америке: вся верхушка «ослов», включая ушедшего со своего поста вице-председателя Байдена, разделяет все радикальные идеи, какие можно найти на стороне левых; даже военная верхушка, психологически всегда тяготеющая к консерватизму, в этом от неё не отличалась. Что ими движет? Никакие материальные «интересы» здесь ничего не могут объяснить.

У прот. Сергия Булгакова есть глубокая мысль о том, что исторический процесс представляет собою одновременно и проявление духовных сил, и сокрытие их. Что в данном случае исходит из сокрытого, лучше выразить поэтически:

Это — ветер с чёрным флагом
Разыгрался впереди....

(В блоковой строке я лишь заменил красный флаг на чёрный — цвет анархии и ещё многого другого.) Ветер подгонял радикалов, но заставлял гнаться и тех, кому он вроде бы ничего хорошего не несёт.

Справится ли с ним встречный воздушный поток? Авиаторы знают: встречный ветер содержит в себе подъёмную силу, но может внезапно прекратиться.

«Власть — воображению»?

Лозунг французских студентов бунтующего 1968-го, похоже, был подхвачен в минувшие годы в Соединённых Штатах. На самых разных площадках зазвучали признания, что американская демократия стала «склеротичной» и что преодолеть эту беду должно помочь «гражданское воображение». Даже либеральная «Нью Йорк таймс» посетовала (в номере от 02.07.2021) на утрату в обществе «политического воображения» и призвала к «оживлению и обновлению американского эксперимента».

В подобных случаях задача обновления выпадает, хотя бы частично, на долю художественной мысли. В России, как считается, художественная литература сыграла определённую роль в подготовке катастрофической революции. Бунин в «Окаянных днях»: «Как отделить реальность от того, что даёт книга, театр, кинематограф?» В Соединённых Штатах в этом плане на первое место вышло искусство экрана. Историк и политолог Бенедикт Андерсон пишет в книге «Воображаемые сообщества» (Imagined Communities, впервые издана в 1981 году, в переводе на русский — в 2001-м.), что нации существуют «через постоянно возобновляемые усилия воображения» и что поэтому «культурные артефакты» важнее идеологий. Не знаю, важнее ли, но что важны — бесспорно.

Напомню несколько таких «артефактов», интересных в соотнесении с переменами, происходящими в Америке.

Сериал «Игра престолов» (2011—2019), один из самых успешных или даже самый успешный за всю историю жанра, вместе с его не законченным пока приквелом «Дом Дракона» (2022—2024—...). В них явно выразилось тяготение к естественно-историческому, хотя зачастую и неприглядному, ко временам, когда мир не был стерильным и когда «люди были людьми, а лошади были лошадьми», и место нынешних заумных типов оружия занимали очень понятные (хотя бы и воображаемые) драконы. Привлекательности добавили фильму острые приправы: в кулинарии они «разжигают костёр» в пищеводе, а здесь «разжигают костёр» в душах, выводя их из состояния равновесия.

Вроде бы на экране показано Средневековье (хотя некоторые картины уводят, похоже, в эпоху Ренессанса или даже в античность), но средневековые персонажи здесь — скорее современные люди, обряженные в исторические костюмы, или, наоборот, средневековые люди, ненароком попавшие на съёмочную площадку и растерявшиеся от обилия вокруг них непривычного. Потому что ни у кого из них нет настоящего «царя в голове».

Подлинное Средневековье пронизано христианством, а здесь оно не работает; от него сохранились лишь остатки — вроде тумана, задержавшегося в низинах. Это картина если не современного американского общества, то, во всяком случае, того, каким оно могло бы стать в будущем — практически расхристианизированным. Здесь нет общей для всех системы нравственных координат, за редкими исключениями нет твёрдых представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо; есть игра страстей, выпущенных на свободу.

И ещё — соблазн «вечного возвращения»: некоторая увлечённость феодальными нравами, и кто знает, какие семена заронит она в нынешнюю взрыхлённую почву американского сознания.

Заметим, что в сериале почти нет негров, что для Америки, какова она сегодня, необычно.

Психологическая доминанта фильма — безрадостность. По всему сериалу разбросаны реплики типа «зима близко» (и зима здесь такая, что ей конца не видно), «приближается долгая ночь, и мёртвые идут с ней». Холод, ночь — знаки метафизической пустоты. По замечанию одного из критиков, «сериал полон дурных предчувствий».

Ещё одно произведение в этом ряду — франшиза «Судная ночь». Малохудожественная во всех её вариантах, но идейно заострённая — потому и привлекла внимание критиков. Сюжет здесь такой. Власти санкционировали выделение особой ночи в году, в течение которой всем всё позволено и каждый может расправиться с себе подобными каким угодно способом. Любой член общества выступает, таким образом, в роли этакого доктора Джекила, с наступлением выделенной ночи готового перевоплотиться в мистера Хайда. Удобопревратность человеческой натуры провокативная франшиза демонстрирует с предельной наглядностью.

То, что зрителю представляется абсурдным, самими участниками Судной ночи, по крайней мере многими из них, воспринимается как естественное: люди из любого вида услуги встречают обслуживаемых дежурными улыбками, те, у кого есть для этого настроение, развлекаются на балах, своим чередом идут семейные ссоры и т.п.; те, у кого «накопилось», — выпускают пар. Кое-кто представляет дело таким образом, что Судная ночь есть апофеоз свободы, развитие идеалов Вашингтона и Джефферсона.

А немногие монахины, готовые добровольно принять смерть, характеризуются как придурочные. Они почему-то ещё веруют в Судный день, тогда как «в реальности» существует только пародия на него — Судная ночь.

В одном из последних фильмов франшизы — «Судная ночь навсегда» — в стихию войны всех против всех прорываются и целенаправленные струи: бедные против богатых и чёрные против белых.

Но, может быть, прав израильский философ Юваль Ной Харари: степень неприязни, которую испытывают американцы в отношениях друг с другом, превышает ту, что может быть вызвана реальными противоречиями. Утрата взаимного доверия особенно остро ощущается в стране, где в прежние времена принято было как раз особенно его подчёркивать. Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке» оставили зарисовку: два незнакомых дотоле американца, встречаясь, быстро находят общий язык и начинают дружески хлопать друг друга по спине со страшной силой. Сейчас такое трудно себе представить. Улетучилась и «бьющая через край» жизнерадостность, тоже когда-то подобавшая всякому уважающему себя американцу.

Что сулят произведения вроде «Судной ночи» или, скажем, фильма «Оставь мир позади» (девиз которого «ненавижу людей» вложен в уста подурневшей Джулии Робертс)? Плод ли это больного воображения или подготовительные мазки, предваряющие картину завтрашнего дня? Ничего нельзя исключить. Равно как и возможность провокативной фантазии. Алексис де Токвиль, проследивая ход Французской революции, писал: «По мере того, как появляется голова чудовища и открывается его невообразимо жуткая физиономия <...> точка зрения на революцию меняется». Сидящим «во тьме и сени смертной» дано наперёд узреть, как выглядит голова чудовища.

Реальные противоречия тоже никуда не ушли. Уверенная победа, одержанная Трампом на выборах, не должна создавать впечатление, что у него не будет уже впереди серьёзных преткновений. У синих, повторюсь, по-прежнему сильные позиции на всех уровнях бюрократии, в СМИ, в учебных заведениях, и противодействие Трампу и его команде они оказывают самое энергичное. Возможно перемещение власти на уровень штатов, в этом случае синие штаты (или хотя бы несколько из них, и прежде других Калифорния) могут вообще отделиться. Обозреватели разных направлений считают, что «голова чудовища» ещё может показаться на свет божий.

Некоторое представление об этом даёт фильм «Гражданская война» (2023). Известный консервативный публицист Род Дреер писал, что новая Гражданская война, если она разразится, станет не новым Геттисбергом, а новой Герникой. Геттисберг (главное сражение первой Гражданской войны) — это колонны войск, выступающие против врагов под звуки оркестров с развёрнутыми знамёнами, офицеры с обеих сторон, салютующие друг другу, и тому подобные изыски. А Герника (очевидно, имеется в виду знаменитая работа Пикассо) — это ад крошечный под низким потолком, скрывающим небо.

Вот главный исток американских бед — отсутствие общего *неба*. Иначе говоря, сакральной *верхотуры*, которая в той или иной степени признавалась бы всеми; как это и бывало в прошлые времена.

Почему Гоббс застит Локка

Открывшееся нестроение американской жизни понятным образом побуждает обратиться к его истокам. Левые и особенно крайне левые берут под обстрел отцов-основателей США, порицая за те или иные грехи, то есть за то, что они считают грехами, и пытаются сравнить их друг с другом *post mortem*. Доходит до того, что отцов-основателей объявляют лицемерами и параноиками, а принятую ими «Декларацию независимости» — политическим позёрством. Правые целиком поддерживают синтетический американизм и наследие отцов-основателей как его отправную часть. В нынешних обстоятельствах такая позиция имеет свои преимущества, ибо исходит из наличия некой почвы под ногами, но в перспективе неизбежно обнаружит слабости.

Отцы-основатели напитались современными им европейскими идеями, в частности идеями английских и французских просветителей. Некоторые из них, включая самого Вашингтона, были масонами, другие, хотя формально и не вступали в ложи, держались близкого образа мыслей. А образ мыслей масонов уводил от христианства. Их подчеркнутая религиозность была условной, ибо представление о Боге было выхолощенным: на эту роль годился библейский Бог-отец, лишённый своих характерных атрибутов, но также и Ормузд, и Будда, и кто угодно ещё, будь это даже просто геометрическая фигура; и свою сложную ритуалистику масоны измыслили «из ветра главы своея». Это была туманная вера, а туманная вера рано или поздно пропадает в тумане. По сути своей масонство явилось способом плавного перехода к секуляризму для европейских, а вслед за ними и американских интеллектуальных кругов.

Однако масса народа в новообразованных Соединённых Штатах не была готова к подобному переходу: ещё не угасла память об истовой религиозности «пилигримов», заложивших первые камни в основание града на Холме. Так называемое Второе Великое пробуждение начала XIX века вернуло страну в русло протестантской религиозности с её непосредственным почитанием Христа, как «солнца и весеннего дождя». Это был один из тех случаев, когда «корешки» поправляют «вершков».

Но важно заметить, что протестантская религиозность в Америке со временем стала отличаться от таковой в Европе. С этим вопросом разбирался видный протестантский богослов Ричард Нибур (не путать с его старшим братом Рейнгольдом, ещё более известным богословом). В Европе, писал он, великие движения протестантизма, инициированные Лютером и после Кальвином, с течением времени «замерли» в соответствующих институтах, что имело свою позитивную сторону: «Без такой стабилизации и консервации великие (религиозные) движения прошли бы, как шторм на море, ничего не оставив после себя, кроме обломков разрушенных ими институций»¹. А в Новом Свете эти движения (в основном кальвинизм, в его англосаксонской части именуемый пуританством) сохраняли подвижность, мало-помалу трансформируясь в соответствии с меняющимися жизненными обстоятельствами.

И чем более благоприятными делались обстоятельства, тем более смягчались религиозные представления американцев. Для большей и, возможно, большей части

¹ *Niebuhr Rich. The Kingdom of God in America. New York. 1959, p.167.*

общества предметом веры становилось «розовое», как мы его назовём, христианство, служащее исходящим свыше оправданием житейского благополучия¹. Тот же Нибур-младший портретировал его следующими словами: «Бог, не ведающий гнева, ведёт людей, не ведающих, что такое грех, в царство, где их не ожидает Суд, с помощью служителей Христа, избежавшего креста»². И недолгое время потребовалось на то, чтобы за розовым туманом заново открылась соблазнительность зла.

В шестидесятых–семидесятых годах прошлого века в американской исторической науке распространилось понимание того, что религиозные представления являются основой и двигателем исторического процесса. Толчком к такому пониманию стала культурная революция конца шестидесятых (от которой, собственно, и ведут отсчёт нынешние нестроения), волны которой прокатились и по остальному миру. Историк Генри Мэй, глубже других сумевший постигнуть этот никем не предвиденный «взрыв», писал: «Главная причина наблюдаемого интеллектуального бунта (dissent), по моему убеждению, коренится в американской религии. В 20-х и 30-х годах нашего столетия писатели-бунтари (поколение Хемингуэя и Фицджеральда, подготовившее, как считают, приход поколения шестидесят восьмого года. — Ю.К.) всё дурное, что они находили в американской жизни — конформизм, лицемерие, прозаизм, — возводили к одному источнику: пуританству. Отчасти они были правы. И всё же они очень мало знали о пуританстве, и если бы лучше узнали о нём, и о протестантизме вообще, они ещё больше приблизились бы к истине. Они увидели бы, что сами они с ещё большим правом могли бы считаться наследниками духа протестантов, чем общество, против которого они восставали»³. Мэй имеет в виду, что протестанты отталкивались не только и даже не столько от Откровения, сколько от опыта, как они его понимали, и пролагали обществу путь ко всё большей свободе.

Свежий пример обмирщения религиозных движений, на сей раз принимающего характер гротеска: пробуждение (Wokeness) нынешних радикалов, будто пародирующее протестантские Пробуждения (Awakenings), имевшие место в прошлом.

Вернёмся к основателям. Их вера в светлое будущее, в предлежащий не отцветающий сад не так уж сильно отличалась от той, что одухотворяла марксизм. И вписанное Джефферсоном в «Декларацию независимости» *стремление к счастью* близко к тому, что испытывали советские люди; разве что у советских акцент делался на коллективном счастье, а у американцев на индивидуальном. Стремление к счастью естественно для человека, но как заявленная цель жизни (подменившая христианское учение о спасении) оно обезоруживает человека при встрече с несчастьями и просто неудачами, практически неизбежными, как в личном плане, так и в масштабе общества. История трагична — эту жестокую истину пыталась обойти просветительская вера.

Наклонность основателей в сторону секуляризма проявилась и в том, какое внимание они уделили юридическим отношениям в обществе. Разработанная ими система политико-правовых механизмов по-своему была хороша, может быть, даже — применительно к Америке — идеальна, но она создала перекося в сторону законничества, и в наши дни не только позволяющий разрешать разные практические вопросы,

¹ Адепты такого с позволения сказать христианства иногда проявляли удивительную самоуверенность. Популярный в начале XX века проповедник вещал: «Кто более мудр: мы или апостолы? Конечно, мы. И нам должно было бы быть стыдно, если бы было иначе». (Цит. по: Carter A. The Spiritual Crisis in the Gilded Age. Boston. 1971, p. 166).

² Там же, p. 193.

³ May H. Ideas, Faiths and Feelings. New York. 1983, p. 61—62.

но и порою мешающий делать это. Суть в том, что «история творится верою, а не законом» (Б.П.Вышеславцев); или, точнее, в первую очередь верою и лишь во вторую очередь законом.

Нибур-старший, которого называют «совестью Америки» (несколько лет назад вышел документальный фильм о нём с таким названием), писал: «В зависимости от того, движет ли человеком любовь или самолюбие, он может усовершенствовать или, наоборот, испортить даже самую идеальную юридическую структуру»¹. Замечу, что сходным образом мыслил и П.Б.Струве — в сборнике 1918 года «Из глубины», анализируя причины совершившейся катастрофической революции, он писал, что в дореволюционной России зло заключалось не в структурах — в самодержавии, бюрократии, полиции и т.п., против которых восставали революционеры, — а в нравах народа.

Нельзя сказать, чтобы основатели не понимали, сколь важно учитывать нравы народа, но они были исполнены гуманистической веры в человека, которая перевешивала опасения за его будущее поведение. Вслед за Джоном Локком, которого они почитали, и отстраняясь от Томаса Гоббса с его войной всех против всех.

Оба этих мыслителя вышли из эпохи религиозных войн, и объединяет их выгорание собственно религиозной ревности, повлекшее невиданное за всю историю Европы кровопролитие. Оба в полной мере сохранили респект в отношении Бога, но в то же время откачнулись от него, вынесли за скобки, чтобы заняться земными делами.

Учение Локка явилось наиболее полным выражением буржуазности как в положительном (есть ведь и такой), так и в отрицательном смысле этого понятия. Он склоняет желающего слушать его к занятию торговлей, или ремеслом, или ещё чем-то таким, чтобы были руки заняты и не одолевала экзистенциальная смута, душевная тревога, побуждающие сосредоточиться на потустороннем.

А Гоббс не верил, что душевную смуту человек способен подавить, — ни своими силами, ни силою молитвы, и ждал, что она всегда может вылиться в то или иное проявление злой воли. Предотвратить которую обязано государство — Левиафан, принимающий на себя упорядочение всего и вся. Если у Локка государство — это устройство, пронизанное эмпатией (сочувствующим переживанием), в верхнем регистре — любовью в её христианском понимании, то у Гоббса это, так сказать, высушенная структура, функционирующая сообразно с рациональными принципами (у отцов-основателей Соединённых Штатов Гоббс тоже «пошёл в дело» — но только в части изучения политико-правовых механизмов).

К концу 60-х, когда стала бросаться в глаза порча «человеческого материала», Нибур-старший пришёл к выводу, что самолюбие в массе американцев берёт верх над христиански понятой любовью. Глядя в ближайшее будущее своей страны, он заметно помрачнел и присоединился к «теологии кризиса», которую в Европе сформулировали протестантские мыслители Карл Барт и Рудольф Бультман. Суть её — в допущении, что с какого-то момента Бог перестал участвовать в истории; на земле воцарилась кривда, а правда вознеслась высоко за облака и станет доступна только в Судный день. Бог, таким образом, тоже был вынесен за скобки.

На вопрос, можно ли отрицать промыслительное действие Бога в мире, должны отвечать богословы, но в горизонте земной жизни такая позиция понятна: история явно совершает поворот «не туда».

¹ *Niebuhr Rein. The Self and the Dramas of History. New York. 1955, p.186.*

В перспективе «Судной ночи» Гоббс со своей войной всех против всех оттесняет благодушного Локка и заслоняет его. Как не допустить развития событий по худшему сценарию? Нибур-старший отвечает вполне по Гоббсу: исправления нравов можно добиться только путём государственного принуждения (Гоббс писал, что закон должен обязывать всех и каждого «думать о Боге, почитать и страшиться Его», а Локк — что к Богу надо приходить по велению сердца). Ответ, с позицией основателей не согласующийся. Парадоксальным образом за государственное принуждение выступают сейчас синие — но не ради исправления нравов, а ради извращения всех норм, делавших возможным существование человечества на протяжении истории.

Раса как душа

Спор красных с синими может стать лишь первым актом гражданской войны, за которым на авансцену выступит расовый вопрос; чего в европейских революциях до сих пор не бывало.

Что действительно возможно, так это радикальные пертурбации в составе населения Соединённых Штатов, что приведёт к последствиям, которые сейчас трудно даже вообразить. В авангарде этого процесса оказалось негритянское меньшинство. Оно пользуется значительной поддержкой латиноамериканцев, в отличие от негров только ещё осваивающихся на территории Соединённых Штатов. Латиноамериканцы в подавляющем большинстве метисы (насколько я знаю, только в Аргентине и Чили преобладают европеиды, но оттуда в США не эмигрируют), а значит, могут быть отнесены к категории цветных.

Но дело не только в демографии, но также и даже главным образом в том, что меняется представление о расе. Либеральный глобализм формально уравнивал все нации и расы, а в Соединённых Штатах *melting pot*, «плавильный котёл», призван был переплавить все «ингредиенты, из которых сложилась американская нация, в однородную массу, где они утрачивали первоначальный цвет, запах и вкус. В большой мере этот процесс был успешным; место для белого расизма оставалось всегда, но постепенно сужалось. С некоторыми осложнениями этот процесс совершался там, где дело касалось негров; но и там с течением времени были достигнуты существенные подвижки.

С постепенным вымыванием идейных и высокодуховных факторов обнажается дно «естественности» — раса может представиться как основа и душа человеческого сообщества. Отсюда — попятное движение от «плавильного котла» и возникновение или обострение национальных и расовых вопросов. Важнейший из которых — негритянский.

Чернокожие впервые заявили о себе как о революционной силе в 1791 году восстанием на острове Сан-Доминго (западная часть которого принадлежала тогда Франции). С некоторым запозданием сюда пришли излучения парижских событий, нашедшие здесь своеобразное преломление. Консервативная пресса Европы отреагировала на это явление карикатурами, изображавшими чернокожих революционеров в виде обезьян, напяливших на себя треугольные шляпы, «революционные» шарфы и т.п. и принимающих позы пламенных ораторов Пале-Рояля. Время показало, что ирония была правомерна: за двести с лишним лет существования Гаити, как стало называться это первое на планете (и долгое время единственное) государство чернокожих европейского типа, оно зарекомендовало себя

как подлинно failed state, неудавшееся государство, — остающееся одним из беднейших на планете и периодически сотрясаемое внутренними смутами; в котором дикарская религия вуду потеснила (хоть и не совсем вытеснила) христианство.

Сколь ни чудовищным это может показаться, но гаитянский «пролог» намекает на то, во что могло бы превратиться с течением времени великое государство Соединённых Штатов.

Лидеры негритянства в большинстве случаев определяют свои взгляды или как марксизм, или как прогрессизм, что примерно то же самое, что и мутировавший марксизм. Мутации марксизма происходят уже целое столетие, притом сохраняется его сущность: «инфернальное восстание против Творца и его творения» (прот. Сергей Булгаков). Во всех его вариантах марксизм играет на чувстве, которое само по себе вполне оправданно: неприятие «жёлтого дьявола». Последняя инкарнация марксизма — «чёрный марксизм», измышленный американскими троцкистами, разумеется, белыми людьми, ещё несколько десятилетий назад, но только теперь быстро пошедший в рост. Из прежнего марксизма в нём остаётся расчёт на угнетённых, но теперь угнетённые определяются по принципу расы: это чернокожие; на «избалованных» белых рабочих теперь рассчитывать не приходится.

Минувшие годы показали, что самосознание негритянского меньшинства радикально меняется: «Я тоже Америка» меняется на «Я и есть настоящая Америка»; так, по крайней мере, мыслит «авангард» негритянского движения. Точнее, это не само-сознание, но «знание», подсказанное белыми, разочаровавшимися в собственной цивилизации (полувековой давности высказывание Сьюзен Зонтаг о том, что белая раса — рак на теле человечества, не было случайным). Такой «взлёт» представился восхитительно-неожиданным для самих чернокожих: как сказала одна из руководительниц (вожачек, водчиц — пора вводить в употребление подобные неологизмы) BLM, «мы переживаем головокружительное время». Это напоминает известные слова Ленина, доверительно сказанные им Троцкому по-немецки в ночь Октябрьского переворота: «Es schwindelt» — «голова идёт кругом».

«Чёрный ветер» (вот уж во всех смыслах чёрный) расовой революции распахивал все двери: от учебных заведений до редакций газет, журналов и т.п., от голливудских студий и до Белого дома. Так называемая критическая теория рас (возникшая в конце прошлого века и до последнего времени прозябавшая на страницах малоизвестных журнальчиков) за время господства демократов фактически успела стать государственной идеологией. Распространились враки о том, что негры первыми открыли Америку, что историю Соединённых Штатов надо начинать не с прибытия в Новый Свет пуританских «пилигримов», а с завоза туда первой партии чёрных невольников, на спинах которых будто бы возросли могущество и слава этой страны.

Удивительно, что в подобную околесицу поверило множество белых. Желающих чёрные «великодушно» принимают в свои ряды, хотя полноценными борцами считают только чёрных. Точнее, Чёрных с большой буквы, которых негритянские революционеры отличают от чёрных с маленькой буквы — тех своих сородичей, которых считают недостаточно сознательными.

Представления белых о чёрных разительно отличаются от тех, какими они были когда-то. О прежних имел смелость напомнить французский журнал *Le monde diplomatique* (в ноябрьском номере за 2007 год). Вот приведённый им ряд суждений. «Чёрная Африка глубоко чужда нашему сознанию». «Негр, только-только отделившийся от природы, — сырой человек». «Негр — это естественный человек в полноте своего варварства и отсутствия дисциплины». «Чтобы понять его, мы должны отбросить

всякое представление о морали, о том, что называется чувствами». «Его естественное состояние — животное состояние». О рабстве: «Оно для негров само собою разумеется». О рабах, вывезенных в Америку: «Их судьба в Африке была бы ещё худшей». Все эти недипломатичные суждения принадлежат одному человеку — Гегелю, который сам в Африке никогда не был, но с доверием суммировал взгляды европейских путешественников, её посетивших. Время: конец XVIII — начало XIX века.

Европа тогда вступала в пореволюционную (после Французской революции) эпоху под звуки моцартовской «Волшебной флейты» («Марсельеза» была оставлена революционерам). Опера, целиком построенная на масонской символике, исполнена масонской уверенности в предстоящем светлом пути (к самому Моцарту претензий быть не может: «Кто близ небес, тот не сражён земным»). Столкнуть «правильных» персонажей с этого пути пытается «мавр» Моностатос, который сам заявляет о себе, что он чернокожий. Я смотрел-слушал последнюю постановку оперы в La Scala: там злодея Моностатоса ожидаемо играет белый (кстати, становится непонятным, почему Папагено принимает его за чёрта); видимо, недолго ждать, когда в роли мудреца Заратро выступит чёрный.

В новорождённой республике Соединённых Штатов светлую перспективу портил не оперный персонаж, её «портила» реальная масса чернокожих, на Юге составлявшая до двух пятых всего населения. Отцы-основатели республики попали в труднейшее положение: они прокламировали свободу и равенство для всех без исключения людей, но применительно к неграм эти благородные принципы наталкивались на антропологическую реальность — слишком глубоки фенотипические отличия двух рас. На Первом Континентальном конгрессе в Филадельфии 1774 года был поставлен вопрос: негры — люди или нет?¹ Участники пришли к удивительному, поистине соломону решению: негр — человек на три пятых. Впрочем, на сей счёт высказывались разные мнения: Франклин, например, считал, что иные негры могут не уступать белым по умственным способностям. С этим не был согласен южанин Джефферсон, знавший негров гораздо лучше. Все были согласны с тем, что негры слишком часто бывают безобразны. Родившийся в XX веке девиз «чёрное — это прекрасно» был бы им непонятен. Вкус у европейцев воспитан античными образцами *homo sapiens*, впечатляющими своим гармоническим совершенством; к тому же скульптурные изображения, оставшиеся от античности, с течением времени потеряли краски и стали, так сказать, вызывающе белыми.

Разошлись участники конгресса и по вопросу о рабстве. Многие из них говорили, что рабство естественно и ничего с этим делать не надо. Первые и пока ещё редкие аболиционисты держались мнения типа «на лицо ужасные, добрые внутри» и освобождать их надо немедленно. Джефферсон, сам рабовладелец, тоже считал, что рабов надо освобождать, но поэтапно и — *nota bene!* — после освобождения депортировать обратно в Африку; потому что рабство — это зло, но ещё большее зло — «хаос смешанного общества». Идея депортации долго носилась в воздухе, её пытался осуществить четвёртый президент Мэдисон, но натолкнулся на сопротивление плантаторов Юга. С поражением Юга в Гражданской войне они уже ничему сопротивляться не могли, и Линкольн намеревался осуществить то, что не удалось

¹ Далеко не впервые этот вопрос ставился в христианском мире. Ещё в IV веке видный богослов архиепископ Александрийский Феодил вопрошал: «Как ты можешь сказать об эфиопе, <...> что он есть образ Божий?» (цит. по: прот. Г.Флоровский. Догмат и история. — М., 1998, с. 334). Если эфиоп не есть образ Божий, значит, он не человек, или недочеловек. Уточню, что тогда эфиопами называли не только собственно эфиопов, но ещё и негров.

Мэдисону (чего ему не могут простить сегодня чёрные революционеры), хотя негров в стране уже насчитывалось более четырёх миллионов. Смерть помешала ему осуществить его намерение, а у его преемников идея как-то постепенно заглохла. На пороге XX века она уже воспринималась как фантастическая, и Теодор Рузвельт сетовал: «Нет решения ужасной проблемы присутствия негров».

Решение намечается только теперь, но совсем не то, о каком помышляли белые вожди. Коллективный негр становится своего рода троянским конём, посредством которого неевропейский мир проник в тело самой могущественной из держав Запада и взрывает её изнутри. Он добывает белых «открытием», что «белые — это бесцветные». Своё предполагаемое господство он уже пометил символически: «оберег» Америки, её знаменитая Статуя свободы должна быть перекрашена в чёрный цвет, на сей счёт уже было решение городских властей, так что считалось, что это вопрос времени (кстати, Троя пала после того, как её «оберег», статуя какой-то богини, была похищена осаждавшими); а на остальной территории страны «в пандан» к повсеместному памятникопаду выростали, как грибы, скульптурные изображения бандита Джорджа Флойда.

«Негр поднимался с колен» — белые опускались на колени.

А всё началось с того, что однажды, в далёком 1619 году к берегу Виргинии причалила шхуна с горделивым названием «Белый лев», которая привезла сюда первую партию негров-рабов, всего-то несколько десятков человек. Поистине «эффект бабочки».

Повсюду в стране, от учебных заведений до офисов корпораций и оперных театров возник спрос на чернокожих; ценились не столько знания и опыт, не столько талант, — ценился цвет кожи. И всё равно многие структуры государственного и общественного организма оставались недоукомплектованными чёрными; а если они и были укомплектованы, то это не пошло на пользу структурам. Если тренд продолжится, в будущем может возникнуть то, что я бы назвал «казусом Таманго».

В рассказе Проспера Мериме «Таманго» вождь африканского племени продаёт группу сородичей заезжим работоторговцам, но ненароком сам оказывается в положении заключённого на невольничьем корабле. Когда корабль уже в открытом океане, Таманго поднимает бунт и всех до одного белых кончает. На борту остаются только чернокожие, никто из них не владеет сложным искусством управления кораблём, он отдаётся на волю волн, и все находящиеся на нём гибнут.

Существует мнение, что у чёрных *ratio* слабее, чем у белых, — зато у них, как бы в порядке компенсации, развито художественное чутьё. Самое яркое его проявление — музыка джазового типа, покоровшая не только пресноватых англосаксов (самого, как считают, немusыкального этноса из европейских), но в какой-то степени и остальной мир. Не исключая, разумеется, Россию. Хотя среди чернокожих есть немало людей, благодаря своим способностям преуспевших в самых разных областях. Но вот что любопытно, так это роль светлых мулатов (особой расовой категории, ощущающей себя «ни в сих, ни в оных», но которые считались неграми, даже если в их жилах текла малая толика негритянской крови). Когда белые видели в кино таких светлокожих и обаятельных мулатов, как Сидней Пуатье и Джин Крейн (в фильмах «Осквернитель праха» по Фолкнеру, «Пинки» и др.), белым становилось стыдно оттого, что такие их сограждане могут подвергаться притеснениям и унижениям.

Но в среде «безупречно» чёрных светлые мулаты часто вызывают определённое недоверие. Что понятно, если исходить из расового чувства: если человек, скажем, на три четверти белый по крови, его естественно отнести к белым, а не к чёрным. Пока мулат оставался «товарищем по несчастью», его ещё считали своим, но когда чёрный цвет кожи начинает считаться выигрышным, недоверие к нему может перейти

(уже переходит) в откровенную неприязнь. Кое-что здесь может предсказать гаитянский прецедент. Когда французов изгнали с острова, мир чернокожих — подлинно чернокожих и тех, кто условно считались таковыми, — раскололся: «безупречные» стали конфликтовать и до сих пор конфликтуют с мулатами, и нередко конфликты переходят в прямые вооружённые столкновения. И это опять-таки один из вариантов того, что может произойти в Соединённых Штатах.

Пока же «безупречные» и мулаты выступают единым фронтом.

Инаугурация Трампа возвестила, казалось бы, о наступлении новой эпохи: она явила собой торжество белой Америки, где практически не было места чёрным лицам (я заметил лишь три-четыре лица на заднем плане, на скамьях военных). Первые действия новой администрации показали, что возвращается традиционное представление: первые роли в обществе должны быть отведены белым. Чернокожее население замерло в ожидании дальнейшего развития событий.

Вряд ли можно усомниться, что накопленная в этой среде энергия противодействия даст о себе знать, что бы ни происходило в лагере белых.

Ещё один сложный вопрос национального и расового характера — еврейский. В составе населения Соединённых Штатов евреев относительно немного (менее 2%), но значение вопроса определяется тем, что их вес велик в таких важных институтах, как финансовый Уолл-стрит, Голливуд и университетская «мыслильня». В политическом отношении они традиционно были с левыми, но в последнее время в университетах, которыми левые овладели давно и прочно, они стали подлинными изгоями. Причиной тому — их кровная связь с Израилем. Левая молодёжь солидаризуется с палестинцами и обращает свой гнев против евреев, где бы они ни были.

Как следствие, университетские «мыслильни» ждут серьёзные перемены, которые не могут не отразиться на американской жизни. Потому что слишком многое от них сегодня зависит.

Правые, обычно протестанты различных версий, но с одинаковой опорой на Ветхий Завет, современную историю склонны рассматривать в ветхозаветной оптике. В фокусе их мировоззрения — Святая земля, а современный Израиль — замещение её, и своё благоволение к нему они переносят также и на отечественных евреев. Однако в расхожих представлениях есть евреи «порченные», скажем, авторы и сторонники либеральных вольностей в сфере культуры, — и «настоящие», религиозные. В первую очередь те, что называют себя *харедим* (на иврите — «трепещущие»; перед Богом).

В Израиле *харедим* живут наособицу, «не признавая» государство, как светское и выстроенное по западным образцам; отказываясь, в частности, от военной службы. Со своей стороны государство относится к ним с почтением и даже подкармливает субсидиями. Что будет дальше, легко предположить. Рождаемость у *харедим*, несмотря на их относительную бедность, — одна из самых высоких в мире (свыше семи рождённых на одну женщину), в результате когда-то незначительная по численности группа выросла до миллиона. Считают, что через три-четыре десятилетия *харедим* станут в Израиле большинством, в этом случае неминуемо превращение его в теократическое государство — во многом схожее с соседними мусульманскими странами. (Божий закон, по которому живут ортодоксальные иудеи, в основе своей — общий для всех трёх авраамических религий; его признают и христиане, и в то же время они видят в нём, согласно апостолу Павлу, «покрывало на сердце», и способны возвыситься над ним силою «непосредственной» веры в Христа и в Св. Духа).

В Соединённых Штатах численность *харедим* тоже приближается к миллиону. В составе американского населения это, конечно, капля в море, но в духовном плане влияние их может стать ощутимым — заражающим тягой в сторону того или иного

фундаментализма. Какую роль это сыграет в неизбежных в будущем, как некоторые прогнозисты считают, расовых войнах, покажет время.

Будет ли перейдён Рубикон?

Все дороги ведут в Рим. Когда-то это указание понимали буквально, сегодня можно употреблять его, в некоторых случаях, метафорически. Хорошо известно, что основатели Соединённых Штатов равнялись на Древний Рим, копируя те или иные элементы его общественного устройства. Джефферсон читал Полибия и вынес из него необходимость сочетать три начала: монархическое, олигархическое и демократическое. Монархическое начало должен был воплощать достаточно сильный, но ограниченный выборными институтами правитель. Все основатели, за исключением разве что Гамильтона, выступали за республиканскую форму власти. Их героями, к которым они постоянно апеллировали, были убеждённые республиканцы, такие как Катон-младший, Цицерон, Брут (убийца Цезаря).

Знаменем последних лет стало переключение внимания на фигуру Гая Юлия Цезаря. Кажется, всем ясно, что Америка пребывает в состоянии кризиса, самого глубокого за всю свою историю (более глубокого, чем даже в канун первой Гражданской войны). Выход из положения намечается в кино. В «Игре престолов» в диалоге Вариса с Бенишем первый говорит, указывая на пустующий железный трон, что от него исходит холод, дух смерти, второй выражает надежду, что найдётся достойный, кто его займёт. В фильме Фрэнсиса Копполы «Мегалополис» (2024) мэр Нью-Йорка, называемого здесь Новым Римом, твёрдо намеренный продлить существование города, представляется как «человек будущего, одержимый прошлым»; фамилия его, кстати, — Цезарь, тогда как противник его зовётся Цицероном.

Политический теоретик Патрик Денин пишет, что либерализм исчерпал себя, но его место должен занять не какой-то другой «изм», но живое человеческое лицо — того, кто знает, чего хочет народ и куда его вести. Схожую мысль проводит философ Чарльз Хейвуд в статье «О будущем восхождении Цезаря»: стране нужен «радикальный реконструктор», который, подобно Цезарю, сумеет внушить доверие народу. Такая возможность была у Гая Юлия, человека кроткого и благородного нрава, если можно верить Плутарху; что даже враг его, стойкий республиканец Катон-мл. вынужден был признать.

Публицист, выступающий под псевдонимом Kaisar (почти анаграмма имени Caesar), призывает «перестать верить Цицерону» (как противнику Цезаря): республиканизм — это может быть хорошо до поры до времени, но любая республика рано или поздно вырождается в олигархию. Что ныне происходит и с Соединёнными Штатами. Потому не следует мешкать: «Нам не нужно изобретать велосипед, нам нужно просто перейти Рубикон».

Ещё раз процитирую Плутарха: «Государство погружалось в стихию анархии, подобно судну, несущемуся без управления, так что здравомыслящие люди считали счастливым исходом, если после таких безумств и бедствий течение событий приведёт к единовластию, а не к чему-либо худшему». Не близко ли это тому, что ныне происходит в Соединённых Штатах?

Попробую типизировать фигуру знаменитого римлянина, употребляя его имя как нарицательное: цезарь (от него, как известно, произошло слово «царь», вариант — «кесарь»). Цезаризм не означает разрыва с демократией, скорее это её разновидность. Примечательно, что двое ярчайших цезарей, сам Гай Юлий и Наполеон, формально не порывали с республиканскими порядками. Первый отказался от титула царя (rex),

который ему предлагали, оставаясь в прежних своих республиканских магистратурах — трибуна, верховного понтифика и ещё каких-то других. Второй официально именовался «императором республики», что не противоречило римской традиции, где «император» был просто почётный воинский титул.

Принципиальное отличие цезаря от «Божьей милостью» монарха в том, что первый считает, что осуществляет волю народа, тогда как второй выступает в собственном представлении и в представлении подданных орудием Бога. Цезарь, правда, говорил, что подлинным управителем Рима является Юпитер, но как и все языческие боги, Юпитер был всего лишь материализацией взглядов самих римлян. Коронация Наполеона не обошлась без присутствия папы, но в последнюю минуту он отобрал корону из его рук и сам возложил её себе на голову — значащий символический жест (корсиканская дворянка Мария Бонапарт, истовая католичка, отказалась присутствовать на коронации сына, догадавшись, что монарх он не от Бога).

Отцов-основателей Соединённых Штатов беспокоило, как бы в дальнейшем кто-то из первых лиц не превратился в тирана. Среди римских цезарей таковых, как известно, было немало. И среди «Божьей милостью» монархов случались таковые: в их отношениях с Богом всегда оставалась недопроясненность даже для них самих. Что поделаешь, всё существование человечества — «рисковое». Не может быть на земле бесспорно «правильного» общественного устройства и, вероятно, неизбежны происходящие время от времени перемены в этом плане.

Вопрос о цезаризме у американцев в данный момент упирается в фигуру Трампа. Некоторые черты цезаря у него наличествуют: воля к подавлению олигархии, апелляция к народу, точнее, той его части, что не растеряла здравый смысл и более или менее верна традициям. В отличие от «образцовых» цезарей — Гая Юлия, Наполеона — у Трампа нет своих легионов, которые проложили бы ему путь к неоспоримой власти. Но главный советник Трампа в период его восхождения Стивен Бэннон (он и до последнего времени оставался ведущим стратегом MAGA) считает, что путь этот сегодня пролагают не легионы, но СМИ. Впрочем, легионы тоже могут появиться — из числа отставных военных и даже действующих (нижние чины в армии по большей части симпатизируют Трампу, что вызывает беспокойство у высших чинов).

Трамп не лишён харизмы и активно использует СМИ. Заявляет, что намерен спасти «душу Америки», но душа Америки несёт на себе неизгладимый отпечаток христианства, поэтому Трамп выступает как защитник христианства. Его заявленная цель: «В конечном счёте обратить наш народ ко Господу». Оппоненты указывают, что по жизни Трамп от христианских правил достаточно далёк. И когда он обращается к аудитории со словами «я вас люблю, дорогие христиане», не говорит ли он как бы «извне»? Но сторонники его резонно напоминают, что были в истории личности далеко не безупречного нрава, оказавшие неоценимые услуги христианству. Сам царь Давид, великий псалмопевец, был в то же время и великим грешником. Можно вспомнить и о таком нехристе, как персидский царь Кир, который стал избавителем народа Божьего из плена Вавилонского.

Случается, что противная сторона будто подыгрывает Трампу, прилагая к нему библейские образы, выгодные для него: певичка Тейлор Свифт (кажется, что это взбесившаяся Дорис Дей, явившаяся из 50-х годов) видит в мечтах голову Трампа, поданную на блюде, — подобно «змеедушной» Иродиаде, затребовавшей голову Иоанна Крестителя.

И кто знает, может быть, не привиделось конгрессвумен Марджори Грин явление ангела, спустившегося с неба, чтобы защитить Трампа?

Но перейти Рубикон — значит совершить нечто необратимое. Удастся ли это сделать Трампу?

Что нам подскажет зеркало древнего Рима? На роль цезаря пробовались последовательно Марий, Сулла и Помпей, но только Гай Юлий утвердился в этой роли и самую роль сделал обязательной в репертуаре политического театра. Возможно, что подобным образом и Трамп является лишь «пробой», и за ним придут те, о которых уже с уверенностью можно будет сказать, что Рубикон оставлен ими позади.

Большая цифра делает выбор

Сюрприз преподнесли техногиганты, прописанные главным образом в Силиконовой долине: буквально в последние месяцы перед выборами они перешли на сторону Трампа. Вираз неожиданный, если учесть, сколь чужды они глубинной Америке с её хотя бы пережитками патриархальности, Америке, до сих пор остававшейся основой трамповского электората.

Сами техноолигархи объясняют вираз разочарованием в политике демократов. С одной стороны, они проводили в жизнь принцип свободы, хотя бы это и была «свобода разлагаться»; что породило безобразие на улицах и сделало Калифорнию самым запущенным из штатов (и не только на улицах разыгралось безобразие: некоторые университеты, поставлявшие кадры Долине, превратились в свинарник). С другой — они создали бюрократию, которая диктовала, как именно можно и как нельзя пользоваться свободой и, например, фактически подавляла свободу слова.

Удивительное сочетание уличной девки с классной дамой!

Встречное по отношению к техноолигархам движение Трампа имеет своё объяснение. Его идеал — мускулистая Америка, которая в случае необходимости легко расталкивает локтями соседей по планете, средствами ли экономического давления, военными ли средствами. В том и другом случае важнейшим инструментом становится ИИ, искусственный интеллект. Между тем мировым центром разработок, связанных с ИИ, является как раз Силиконовая долина.

Некоторые фильмы, такие, как «Пираты Силиконовой долины» и многие другие, художественные и документальные, дают представление о том, что за люди здесь трудятся. Среди них есть бесспорно талантливые изобретатели, увлечённые своим делом, но и на них отпечаток «гения места». Калифорния была излюбленным местопребыванием хиппи (они и сейчас здесь водятся), и от них к нашим героям перешло игровое отношение к жизни, апология животности, украшенной цветочками прекрасноты, что совсем не было свойственно прежним изобретателям в Америке, разным эдисонам и браунингам. И ещё из прошлого доносится эхо когда-то здесь прошумевшей золотой лихорадки: служители Цифры, назовём их так, с лёгкостью обзаводятся тут состояниями, далеко превосходящими состояния магнатов с Уолл-стрит.

Не следует думать, что опыт золотой лихорадки радикально расходится с опытом глубинной Америки. Тот и другой объединяются понятием Фронттира, пафос которого — в движении, завоевании. Frontiersmen, люди Фронттира, продвигаясь на Запад, рано или поздно где-то останавливались и начинали оседлую, обычно сопряжённую с трудностями жизнь. Но те, кто дошли до побережья Тихого океана, обычно соблазнялись возможностью быстрого обогащения ввиду открывшихся там золотых россыпей. Бела ли овца, сера ли, а всё один овечий дух.

А чтобы «сделать Америку снова великой», надо, очевидно, растормошить дух Фронттира, пролонгировать его, разогнать, если уж на глобусе некуда, то ввысь, в космос. «Мы ступим на Марс!» — объявил Трамп с подачи Илона Маска.

Мы знаем по собственному опыту, что успехи в космосе поднимают настроение в обществе. Но эти успехи в большой мере иллюзорны. Ещё в околоземном пространстве они приносят кое-какую практическую пользу в военном деле и некоторых технических вопросах. Но мечта о «пыльных тропинках далёких планет» — совершенно вздорная. За последние годы в астрономической науке укрепился так называемый антропный принцип: на Земле и только на Земле созданы все условия для жизни, здесь удивительным образом пригнаны друг к другу показатели температур и давлений, химические составы веществ и т.д., и т.п. Рваться отсюда в абсолютно несоизмеримую с человеческими представлениями о расстояниях чёрную пустоту, где царит вечный холод и зачем-то (нам это не дано знать) крутятся-вертятся мёртвые планеты, значит не ценить благостыню Бога, создавшего уникальную для проживания планету и заповедовавшего человеку не портить творения.

Вероятно, нечто подобное чувствует и Стивен Бэннон, ведущий идеолог глубинной Америки, резко выступивший против Маска и всех вообще «силиконовых» технофутуристов. По Бэннону, слишком много задач остаётся решать на Земле, чтобы тратить огромные деньги на преимущественно спортивное, на его взгляд, предприятие. У него вызывает отторжение и новая элита, как он её квалифицирует (слово, как-то не клеящееся к непринуждённым, мягко говоря, служителям Цифры), далёкая от нужд «земли»; к тому же в значительной своей части состоящая из недавних иммигрантов преимущественно азиатского происхождения.

Qua ad nobis proficit?

«И что из этого следует для нас?» Традиционный вопрос, который ставили *patres conscripti*, отцы-сенаторы Рима, переадресуем нашему отечеству.

С возвращением Трампа в Белый дом наши комментаторы стали судить-рядить, какова будет его политика в отношении России. И как он распорядится с Украиной. С самого начала первого своего срока Трамп настроен был на отказ от политики глобализма, которую Соединённые Штаты проводили более сотни лет и за возвращение к изоляционизму, хотя бы и не столь категоричному, как в прежние времена. Тогда ему вставляло палки в колёса «глубинное государство». С которым «новый» Трамп, похоже, намерен расправиться до конца. И тут ему, конечно, следует пожелать успеха.

Но какова бы ни была внешняя политика новой администрации, не менее важно для нас то, что будет происходить внутри Соединённых Штатов.

Так или иначе, там есть «партия жизни», как называют себя правые, и в некотором ограниченном смысле у нас есть их «однопартийцы», отечественные традиционалисты. Неудивительно: у нас с американцами общая цивилизация, фантазийны представления об особой русской цивилизации; может быть, таковая и возникла бы, если бы в решающем в этом смысле XVII веке Россия пошла своим особым путём. Но этого не случилось. Конечно, в России была и, будем надеяться, ещё есть особая духовная сила, есть «русский дух», а цивилизация — более приземлённое понятие, и она у нас с американцами даже в продолжение минувших трёх столетий была одна, а сейчас об этом и говорить не приходится. Сфера воображения у нас в большой своей части общая. И сейчас у российских традиционалистов с американскими одни и те же недруги: их, исходя от противного, можно назвать «партией смерти» — радикалы разных мастей, которые, если воспользоваться образом Паскаля, бегут к пропасти, держа перед глазами какую-нибудь любезную их взорам картинку.

У американцев и у нас есть свои национальные задачи, но есть и сверхзадача: придать новый импульс великой евро-американской цивилизации, которая в западной

своей части, особенно в Европе, движется к гибели. Шпенглер, давший ей две сотни лет жизни (с момента его пророчества одна сотня уже прошла), оказался слишком щедр.

Как у наших, так и у американских традиционалистов главная задача одна и та же: «поддержать руками валяющееся небо» (воспользуюсь выразительным оборотом Мережковского). Канонически мы разделены, но это не исключает возможной близости в мистических высотах и, с другой стороны, совпадения в некоторых вопросах этики.

Два первенствующих историософа века минувшего, Арнольд Тойнби и Питирим Сорокин, были единомышленны в том, что только христианство способно «перешагнуть» через цивилизационные невзгоды (как это уже бывало в прошлом); и повести европейское человечество дальше, к какой-то обновлённой цивилизации, при начале своём неминуемо аскетичной. «Живая цивилизация, — писал Тойнби, — как, например, западная цивилизация (сегодня скажем: российская тем более. — Ю.К.), не может быть априори приговорена к повторению пути цивилизаций, уже потерпевших крушение. Божественная искра творческой силы заложена внутри нас, и если ниспослана нам благодать возжечь из неё пламя, «звёзды с путей своих» (Суд, 5 : 20) не могут повлиять на стремление человека к своей цели»¹. А высшая цель, какую может поставить себе человек, она же и спасительная: «услышать призыв истины». И внять ему, даже в том случае, если он будет восприниматься болезненно и затребует «вхождения в цикл» (предполагается: в суровой его фазе), не ради «вечного возвращения» (каковое, по удачному выражению одного историка, есть не что иное, как «кукольный театр»), но подчиняясь движению «стрелы времени». Что, как представляется, будет означать наступление какого-то нового эона, в котором будет меньше пестроты и больше белых и чёрных тонов.

А марсовы забавы, если ещё позволено так их называть, лишь на время могут запутать цивилизационную перспективу. Напомню, что в самих США тяжба ещё не закончена, «партия смерти» пока не сдала своих позиций. А для нас, оттого что мы проедены американизмами, важно заново осмыслить весь американский опыт, включая последнюю пока, драматическую его часть. Которая может ещё возыметь трагическое продолжение.

Последствия происходящих там перемен будут для нас разветвлёнными и далеко идущими.

февраль, 2025 г.

¹ Тойнби А. Постигание истории. — М.: 1991, с. 300.

Татьяна Веретенова

Надо ли быть своим?

Четыре волею случая сошедшихся на моём столе книги объединяет короткий жанр, лаконизм повествования и поиск героями *правильного «контекста»* собственной жизни, *своего места* — в пространстве географически-реальном и фантазийном, и во времени — вчерашнем и сегодняшнем, повседневном и историческом.

Уехать в сочинённый город

Макс НЕВОЛОШИН. Где сидит фазан. — M-Graphics | Boston, MA. — 2024

Сборник «Где сидит фазан» (две повести и четыре рассказа) прочитывается как проза поколенческая, с центральной темой эмиграции в 1990-х. «Где» в названии заглавной повести сразу указывает на значимость локации, а города нанизаны на судьбу героя и образуют портретную галерею: Самара, Москва, Мюнхен, Веллингтон, Гонконг (проездом) и, наконец, Сидней. Герой-повествователь умен, ироничен, обаятелен, честолюбив, краток и склонен к постоянной рефлексии. Завязкой можно считать тот эпизод его самарского детства, когда мальчишкой в кинотеатре на просмотре «Фантомаса» он влюбляется в образ «ослепительного моря» и в его сознании возникает «идея пространства, куда меня надо вернуть». Однако интуитивное ощущение собственной инородности в Самаре у него врожденное: «Смутная идея ошибки — ровесница моей памяти. Чувство, будто меня с кем-то перепутали. Сомнения колобка, попавшего в набор гостинцев для бабушки. Полумрак, и тебя куда-то несут. Рядом пироги, масло — вроде свои, а контекст не тот. Какого хрена я здесь делаю? Кто меня сюда заслал? Все не так, ребята».

Повесть «Где сидит фазан» — история исправления этого «не так». Герой справится: и от бабушки ушел, и от дедушки ушел... Сюжет складывается пунктирно из фрагментов его жизни в разных городах и представляет собой склейку из далеко отстоящих эпизодов, например, первый день в Мюнхене и сразу же — последний перед отъездом. Полугодовая стажировка в столице Баварии станет для героя пробой заграничной жизни на вкус, репетицией эмиграции. Именно здесь герой впервые ловит себя на ощущении «глубокий выдох: я дома»; для него Мюнхен — «город, который отредактировал меня, нет, переписал заново». «Отредактированный» колобок вскорости покатится в Новую Зеландию, а затем и в Австралию. Момент окончательного отъезда («сбыча мечт») осмыслен как перерождение, описан как процесс родов

(«Я был одновременно акушером, новорожденным и матерью...»), в результате которых появляется новый «некто»: «Ведь эмиграция — не только смена места, языка. Ты сам меняешься четверти на три. Уходит морщинистый циник с тяжелым анамнезом, появляется некто глупее, моложе, легче».

Веллингтон, где герои проживут некоторое время, предстанет как «демисезонный город», у которого аэропорт «напоминал замаскированный плакатами сарай», а пребывание там — «жизнь понарошку». Портрет Гонконга совсем краткий, как случайного попутчика, и какой-то тактильный: «Гонконг — второе имя тесноты. Людей и небоскребы там хочется расталкивать плечами».

От масштабного видения судьбы с акцентом на мотив эмиграции, с крохотными диалогами где-то на пути, на пограничном контроле, оптика повествователя периодически сужается до конкретных эпизодов, например, знакомства в Веллингтоне с талантливым музыкантом Артёмом Самарским (это, конечно, псевдоним, просто он тоже из Самары) и его женой Сашей, с ученым-биологом Юрием Лашковым. Искренне и бескорыстно преданный науке, Лашков изображен как раз как узнаваемый герой поколения позднего советского времени: «Юрий был визиткой той эпохи, когда ходили в гости без звонка и деньги занимали без отдачи. Живым свидетельством того, что память не обманывает нас». О чем же та четверть, что не меняется в человеке при эмиграции? Возможно, как раз поколенческий запрос на справедливость, стремление к развитию и образованию, а еще чувство собственного достоинства?

Уникальность рассказа Неволошина об эмиграции не только в его краткости, афористичности и отказе от описания сборов и прочих бытовых подробностей, но в особой философии его героя, где главное — сила намерения и концентрация мысли. Детская мечта не угаснет, а станет сильнейшим ментальным импульсом, определившим дальнейшую судьбу. «Существование вещей, от чашки кофе до Вселенной, определяется направленностью мысли. Это не эмпиризм и не идеализм... Когнитивная оценка внешних стимулов есть то, что мы называем реальностью. Справедливо и обратное. Если нам что-то пофиг, существование его как минимум под вопросом. Наличие Веллингтона — стимул. Отсутствие его — мощнейший стимул. Я думал о нем каждый день: с утра и на ночь, трезвым, выпимши и между, в такси, автобусах на рынке и вокзале, в печали, радости, толпе и одиночестве. Я не оставил ему шанса ускользнуть». Герой-повествователь буквально описывает наполнение своего сознания городом: «Веллингтон тотально овладел моим сознанием». Здесь неизбежно вспоминается роман «Желание быть городом» Дмитрия Бавильского, хотя там вложены иные смыслы.

Сюжет в итоге притормаживает в Сиднее, в университетском офисе, где герой работает аналитиком. Перед нами коллеги героя: Терри, Масуд, босс Джефф Скотт, Ева Дэвис; различные типажи и стили работы. Думающим сложно, в соревновании честолюбий выигрывают преимущественно расчетливые и хитрые. Общая атмосфера — «соблазны и понты туманят мозг», и в повести начинает вырисовываться противопоставление «человек офисный» и «человек свободный». При рассуждении об австралийском акценте и умении притвориться местным вдруг прозвучит: «Надо ли мне быть своим — вопрос». Следующий прыжок сюжета — из офиса героя к истории работы его жены, где столкновение характеров ведет к несчастью.

Но снова и снова взгляд повествователя как будто взмывает вверх, и будто из самолета он смотрит на мир и обобщает: «Есть города-театры, города-каравеллы, города-цеха, общежития, музеи. Сидней — город-дельтаплан». И с каждым городом герой выстраивает отношения: «С городами, где живешь подолгу, возникают отношения наподобие человеческих. Самара — мать оболтуса-подростка, Москва — альянс юного честолюбца и влиятельной старухи. Мюнхен — страсть без перспектив, гранатовый

браслет. Веллингтон — друг с нелегким характером. Сидней оказался хитрее других: под маской бизнесмена он годами скрывал лицо». Скажем точнее — морду. Ну да, для героя-колобка Сидней окажется той самой хитрой лисой. Впрочем, автор определит его иначе: «Дракон. Не он ли метафора этого города? Летящий, гипнотический фантом, для которого мы — обслуга, еда». Еда. Вот-вот. А дальше бегство — попытка убежать от Сиднея-дракона-лисы, когда она уже куснула за бочок. Герой понимает, что «этот город нас кинул, подставил», и вступает с ним в спор. Развязка будет оригинальной и неожиданной.

Вторая повесть — «Конформистка» — тоже про эмиграцию, но про женский ее вариант; как и первая, по объему изображенного она тянет на роман. В главной героине — Саше Нестеровой (Сандре Нест) — легко угадывается эпизодический персонаж из первой истории — жена музыканта Артёма (теперь он не Самарский, а Самарцев — не суть). В непростой судьбе умной и честолубивой провинциальной девушки из семьи военного (а мы видим её от детского сада до возраста 40+) так же пунктирно, эпизодами показаны приметы поколения: комсомольская юность, институт, самостоятельный бизнес в 90-е, разборки с бандитами, влюбленность, эмиграция в Австралию. И в правильности своего выбора Саша, как и герой заглавной повести, тоже сомневается: «Там я лучшая была, а здесь?» Героев обеих повестей сближает какой-то врожденный соревновательный импульс, стремление стать «лучшим», упрямство в достижении целей и умение кардинально менять свое настоящее: «Да гори оно!» — очень по-русски восклицают оба в моменты значимых жизненных выборов.

Рассказы «Побег из зоопарка» и «Психология одного преступления» — о неприглядной жизни сельских учителей в конце 1980-х (тоска, пьянство, убогие жилищные условия) — во многом объясняют решение героя эмигрировать: «Все мои последующие жизни есть, по сути, бегство из села Чучминка Татарской ССР». «Когнитивный диссонанс» отчасти объясняет, почему герой не остался, например, в Москве. История об этическом выборе и его последствиях; научный руководитель Ольга Павловна Рюрикова берет материал из статьи аспиранта (он повествователь) в свою докторскую диссертацию, не поставив его в известность. Далее сюжет предлагает варианты судьбы героя: когда бы он обвинил её в плагиате и, наоборот, когда бы промолчал, проглотил, но запомнил. Оба варианта начинаются фразой «моя дальнейшая судьба не представляет интереса», что, кстати, могло бы стать удачным названием этого рассказа. Второй вариант сюжета предполагает, что колобок покатится дальше, он оказался не по зубам Ольге Павловне.

Завершающий «Белый кролик из чёрной шляпы» — самый светлый в сборнике (и как верно, что он в финале!) — о двух случаях, когда повествователю-учителю Максудовелось учить талантливых детей: однажды в России и позже в Новой Зеландии. Сюжет позволяет порассуждать о случайности встреч, о «непознаваемом» и о том, кто для кого кролик. Но главное, что в жизни учителя случаются моменты, когда «дважды в неделю я сквозь волшебную дверь проникал из мира абсурда и зла в цитадель комфорта и смысла».

Очевидно, что герой заглавной повести и некоторых рассказов в большой степени замешен из автобиографического теста (но все-таки это не автофикшн), а у героев всегда есть прототипы: «А без прототипа герой — фанера... Мне интересна правда, личный авторский опыт, цепкость детали, выбор и порядок слов — если всё это есть». Да, всё есть. Герой сразу признается, что он «автор добродушный», а «сочинительство» напоминает ему «прогулку с любознательным ребенком. Расслабишься, отпустишь — бежит невеста куда», что и объясняет особенности сюжета, который норовит свернуть в неожиданном направлении. Краткие, четкие предложения емко передают афористичность и ироничность авторского тона. Любит

Неволошин и языковые игры с узнаваемыми штампами: «Самолет кидало вниз и поперек, будто лодку по волнам. Небо и море похожи в этом смысле: обе стихии легко раскрывают тему как маленького, так и лишнего человека».

Местами этот самоироничный сборник напоминает воспоминания, хотя бы потому, что считывается «опыт зачерствевшего в скитаниях колобка», его мудрость как результат ошибок, стремление делать обобщения, выводы: «В детстве я завидовал людям красивым. В юности — известным, затем — богатым, позднее — талантливым. Сейчас завидую только беспечным. Тем, кто в любых обстоятельствах не завидует никому».

Герои, пришедшие из снов

Анна ЛУЖБИНА. «Юркие люди». — М.: АСТ / РЕШ, 2023. — (Серия «Классное чтение»)

Дебютная книга Анны Лужбиной, аналитического юнгианского психолога с первым философским образованием, — это сборник коротких иллюстрированных рассказов (художник Марина Козинаки). Помимо рассказов отдельных, самостоятельных, в ней есть два тематических цикла, включающих по пять мини-историй.

При чтении быстро сосредотачиваешься на оси «автор — его герой»: сразу ощущаешь не просто уважительное, а бережное, деликатное и даже какое-то нежное отношение Лужбиной к своим «юрким людям». «Я всегда иду за героем», — признается она на встрече с читателями. И ещё: «Я написала книгу о чужаках». Кто же такие ее герои, эти чужаки, эти юркие люди? Кто-то из читателей и критиков пожелал увидеть в них типаж «маленького человека». Но нет, «маленький человек» — порождение структуры общества и его иерархий, а герои Лужбиной обычно обитают где-то вдали от социума (часто до нелепости не замечая его, и именно поэтому они чужаки), где-то гораздо ближе к природе, а то и вовсе на границе сна и яви. Большинство производит впечатление вполне самодостаточных — сами по себе, себе на уме; многие пребывают в состоянии отрешенном, а порой и созерцательном — внутренне спокойны и сосредоточены на своих целях или же повседневных занятиях, и при этом каждый обладает заметной, очевидной индивидуальностью. Однако для этих «немаленьких» людей значимы маленькие радости повседневной жизни: наблюдает за птицами и радуется приходу весны Егорыч («Зимовка»), не расстается со своим лимонным деревом девушка Ми (Эмилия, «Она»).

Да, авторская оптика настроена на выявление архетипа чужака, на тип героя, ускользающего от общих правил и порядков. Инаковость «юрких людей» варьируется от обычной замкнутости до характеристики «чуждой человек» (Яков, «Бат») и, пожалуй, достигает крайности в случае героини «Дымка» (одного из самых сильных рассказов в сборнике) — «наша местная юродивая». Живущая в деревне героиня (повествование ведется от её лица) обладает особым мировосприятием. Её окружают животные: кони Ирис, Юзуф, Каштан, собака Маруся; она переживает за судьбу соседской собаки Наны, к ней во двор приходит молодая лосиха, которую она называет Кларой. А вот люди для нее настолько неважны, незначительны, что она не в состоянии запомнить их имена, и они присутствуют в ее жизни под «номинациями»: сосед, писательница, конюх, батюшка (церковный), почтальон. Она давно всё решила для себя про людей: «С людьми мне давно всё понятно, особенно с городскими: от них

никогда нельзя ждать хорошего. <...> Я отправила газету в мусорку, остановившись на второй криминальной странице. Мне жалко было жертв, жалко преступников, жалко живых, жалко убитых, я не могла понять, почему нельзя жить спокойно и просто не обижать друг друга». Животные в своих естественных природных проявлениях ей гораздо ближе. Раз в несколько месяцев она всё-таки приходит в местный бар, однако и там в какой-то момент ныряет под стол, исчезает из пространства людей и незаметно выбирается на улицу: «Я подняла скатерть и юркнула куда-то под стол. Никто не замечал, что меня больше не существует. Писательница удивленно смотрела по сторонам. Сосед заказал еще пива. Скрипнула дверь бара, и зашли конюх и батюшка». Её вроде и жаль (похоже, когда-то в детстве она получила глубокую психологическую травму), но нельзя не заметить естественную гармонию и полноту её дома, её мира. Сквозная тема сборника — сохранение собственной инаковости, индивидуальности, своей самости, свобода быть собой; выбор в пользу себя, даже если приходится жертвовать отношениями с другими людьми.

Герои многих рассказов (каждый по-своему) наделены созвучием живым ритмам природы, из самых выразительных — Яков в финальном «Бате»: «Лодка у Якова — старый бат, пережил и японцев, и паводки, и пожары. Такого бата ни у кого в деревне больше нет: узкая долбленка из цельного тополя. Яков выплывает на середину реки, зачерпывает ладонью воду и нюхает. Рыбное место пахнет чешуей, а если рыба крупная, то ещё и сырым мясом». Как и героине «Дымка», Якову ближе животные, нежели люди; самое близкое ему существо — охотничий баклан Тимоша: «Тимоша складывает крылья, переступает в нетерпении с лапы на лапу. В нужном месте Яков снимает с него поводок-колечко, и Тимоша взлетает в небо. Дождь вроде бы кончился, и всё блестит на осторожном солнце: чёрный Тимоша блестит, и вода, и даже рыбаки как будто блестят».

Акцент в рассказах Лужбиной преимущественно не на истории, не на ситуации, а на характере героя, его внутреннем мире и его восприятии происходящего: «У меня внешние события равнозначны внутренним». Во многих рассказах как-то очень по-чеховски ничего не происходит, перед читателем вроде бы картины привычной героям повседневности. И даже если разворачивается напряженный драматический сюжет, главный герой может не заметить, не распознать этого драматизма, оставаясь в каком-то полусонном состоянии: автор неоднократно использует прием непонимания героем ситуации, в которой тот оказался («Маленькая страна», «Разлука с грибницей», «Уле рассказывают историю»). Это даже не остранение, а вытеснение драматизма за рамки восприятия героя/героини, в итоге читатель видит спокойствие персонажа и драматизм как декорацию на заднем плане (помимо упомянутых рассказов ещё, например, «Мальчик на велосипеде»).

Лужбина наделяет своих героев либо природно-естественным взглядом на мир, либо детским. Невозможно не заметить обилие героев-детей: мальчик Ефим («Мотылёк»), Оля («Два утра»), Мимиша («Она»), Варя («Маленькая страна»), Федя и Олечка («Мальчик на велосипеде»)... Или же взрослые сохраняют детскую наивность и простодушие: «как дитя ты», — говорит Миша о Якове в «Бате». Пространство и время в рассказах Лужбиной варьируются в диапазоне от вполне конкретного Черкизовского рынка до территории мифов и сказочной фантастики («Зона покоя Укок» и серия «Бат, шишига, ока, фотон, маглев»). Её очень ёмкая, опять-таки по-чеховски краткая проза по своей природе глубоко метафорична, а потому многозначна.

То дым, то туман, то сон, то явь, то выдумка, то вроде реальность — художественное пространство сборника воздушное, неплотное, ускользающее. «Иногда какой-то образ снится, и именно он становится сердцем рассказа», — признается Лужбина. Мотив сна присутствует во многих её историях; самая «сонная» — финальный «Бат», где герой много и крепко спит: «спит так, что нельзя разбудить», однако оказавшись в чужом доме, он ворочается и заснуть не может. Не получается заснуть в гостиничном номере и у героини рассказа «Фотон» — в итоге Ася возвращается на спальное место в кабине своей фуры.

Нежно-бережное авторское отношение к герою своим магически успокаивающим тоном распространяется постепенно и на читателя. Хотя в книге Лужбиной есть описания и упоминания преступлений, стихийных бедствий, боли, травмирующих ситуаций, но акцент (за счет восприятия героя) как будто смещается в пространство спокойствия, смирения и исцеления. Жизненные ситуации заставляют героев крутиться-вертеться, становиться юркими, проворными, но они не теряют при этом свою цельность, способны радоваться малому, и потому, похоже, знают секреты счастья. Проза Анны Лужбиной далеко не литература травмы, скорее уж терапии.

О Петербурге бывшем и настоящем

Арина ОБУХ. «Следующая остановка “Пионерская-стрит”»: Рассказы. — М.: АСТ/РЕШ, 2024;

Светлана ВОЛКОВА. Великая любовь Оленьки Дьяковой: Рассказы. — М.: АСТ/РЕШ, 2024

— Для чего тогда ты вообще пишешь?

— Для счастья.

Арина Обух. «Мы когда-нибудь перестанем об этом говорить, но не сегодня»

Арина Обух и Светлана Волкова — молодые писательницы, обе коренные петербурженки; их новыми сборниками рассказов «Редакция Елены Шубиной» открывает новую серию: «Петербург и его обитатели». По взгляду на город, по стилистической манере, по авторской позиции книги предельно различны: воздушный лирический автофикшн Обух сходен с сюжетными, конкретными историями Волковой лишь общими именами некоторых петербургских декораций. Вглядываясь в трехсотлетний портрет города, улавливая черты ушедших эпох, Обух пишет Петербург сегодняшний, а Волкова работает в жанре рассказа исторического, обращаясь преимущественно ко времени начала двадцатого века.

Рассказы *Арины Обух* как будто пойманы (как рыбы на удочку или сетями) из петербургского влажного воздуха; рассказы-фрагменты, рассказы-эпизоды. Сборник обильно проиллюстрирован ее небольшими рисунками, и обительница Петербурга — прежде всего она сама (она и на обложке со своей самодельной рыбой), но в рассказах — о себе как раз не так уж много. Лирическая героиня как будто ходит, гуляет, точнее, фланирует (употреблен и выделен курсивом именно этот глагол, так естественно применимый к Петербургу, но не подходящий к Москве) и наблюдает или вспоминает фрагменты каких-то историй, повседневных ситуаций, слышит обрывки разговоров. Обитатели её Петербурга не только люди: рыбаки, скульпторы, художники,

«демонстраторы пластических поз», влюбленные или приезжие, — но и животные (чайка Орландо — «На фоне красного брандмауэра»), и памятники (Гоголю, Бродскому, Довлатову...), её собственная скульптура «русалка-петербурженка» («подругу себе леплю»), многие улицы и площади города, кафе и Нева, остановки метро, башня художника на одном из зданий, уже ушедшая бабушка на Смоленском кладбище, «смущённый фонтан»...

При чтении возникает ощущение, что новая книга Обух ещё более автофикш, чем первая, — уж очень силен эффект авторского присутствия: «Я родилась в демографической яме»; «Сижу с раскрытой “Азбукой”». Соленые волны из моих глаз размыывают текст. Я не могу подружить буквы, они не соединяются» («Я тут был, я тут буду еще долго»). Краткое воспоминание о детстве, и вновь авторский взгляд с интересом и любопытством устремлен на город и его людей. Рассказы Арины Обух — пространство почти непрерывного, но фрагментарного, временами замирающего диалога, где собеседниками автогероини становятся то друг, то подруга, то мама, то умершая бабушка Катя, то прохожий, то известный режиссёр, то недавно умершая писательница. Разговоры с недавно ушедшими петербуржцами превращаются в монологи, становясь своеобразными лирическими некрологами.

Петербург Обух неожиданным образом лишен своих привычных четких и строгих линий — для неё он пространство возможных событий, переменчивых, тонких настроений, город-атмосфера, к тому же «Питер живёт по правилам сна». Портрет города наиболее заметно проявляется в рассказе «Услыши ны...», в диалоге с внезапно приехавшей к нему в гости Москвой:

- «— Ты красивый.
- Я провинциальный.
- Нет, ты красивый.
- Я дождливый. Зонт взяла?
- Ты очень красивый. У тебя такая история!..
- Да, я исторический.
- Но, главное, ты красивый!

Непробиваемая. Приехала без предупреждения. Лишь за полчаса оповестила: «Приезжаю в 13:10, встречай».

Он отложил диссертацию, депрессию, оставил кота соседям, выбежал на улицу. Здравствуй».

Москва и Петербург, он и она, двое — гуляют по городу. «Ему идет молчание. Он сразу становится похож на самого себя. Сложнохарактерный, отстраненный, сумрачный. И красивый. Москва летит по улицам, а он степенно шагает. Хотя ему всего триста семнадцать, а ей уже под девятьсот». Традиционную для русской литературы тему двух столиц Обух решает в форме приятельских взаимных визитов, легких разговоров с намеком на флирт, длительных совместных прогулок.

В рассказе «Два человека для масштаба» тоже пара гуляет по Петербургу; двое, он (приезжий режиссёр) и она (петербурженка); встречаясь у памятника Довлатову, они вновь и вновь отправляются гулять по улицам: осмотр достопримечательностей, общие фразы и нарастающая неопределенность между героями. И далее даже не в самих рассказах, а где-то в их подтексте как будто прозрачная воздушная статика, неподвижные, замершие облака, эмоциональная стагнация, зависание, не то чтобы не встреча, а какая-то остановка в отношениях. И «остановка» в названии книги обретает многозначность.

Несколько особняком, в финале сборника уже знакомая повесть «Муха имени Штиглица» (автофикшн про учебу в художественной академии) — тематически она в книге про Петербург вполне уместна, но нельзя не заметить, что её настроение иное:

по-юношески радостное, и лирическая героиня Обух как будто переросла её. «А чужую ностальгию я уже не рисую. Я рисую свою. Она хорошо продается».

Сборник *Светланы Волковой* «Великая любовь Оленьки Дьяковой», состоящий из шести объемных рассказов (некоторые — почти повести), переносит в Петербург начала XX века, два последних рассказа относятся уже к советскому времени. Первый же рассказ «Лукавая хирургия» начинается с точного обозначения времени действия: «В канун Пасхи 1913 года студент последнего курса Императорской Военно-медицинской академии Митя Солодов выкупил себе личного покойника». «Глаза бездонные» тоже в первой фразе называют и время, и ключевую ситуацию, о которой пойдет речь: «Жизнь молоденькой прачки Наташки, малорадостная, но хотя бы не голодная, круто изменилась на исходе 1916 года, в самый канун Рождества, когда она выстирала белую манильскую шаль генеральской вдовы Патрикеевой». Сюжетным, ориентированным на конкретную, часто анекдотическую ситуацию, рассказам Волковой, в отличие от историй Обух, свойственна точная привязка к месту и времени.

В авторском повествовании постоянно слышна добрая ирония, а речь персонажей старательно стилизована в соответствии с эпохой и их социальным статусом. «Что же получается, Академия платит за вас, а вы, господин Солодов, прогуливать изволите?» — строго, но уважительно обращается к герою профессор Крупцев. А речь «прачки Наташки» полна эмоций и просторечий: «Убьёт барыня! — ревела Наташка. — Кто ж знал, что розы линиялые! Шалёнка-то деньжищ, поди, немереных стоит! Барыня говорила — князь какой-то ей на именины подарил. Наказывала пуще глаза беречь, как младенчика искупать и в комнате сушить, не на чердаке, чтоб не сбосячили».

Стремление к исторической достоверности, помимо речи героев, проявлено у Волковой в описании примет времени петербургской жизни; городские декорации, бытовой антураж и черты культурной жизни выписаны в подробностях, порой кажущихся даже избыточными. «Оленька каталась с ним на каруселях в Адмиралтейском саду, ходила в синематограф на Мозжухина и в Александринку на Савину, после же непременно лакомилась мороженым и булочками с кремом, а однажды Петенька водил ее в знаменитый ресторан “Талон”, где они ели страсбургский пирог с гусиной печенью и запивали “Вдовой Клико”, и обратно ехали до дома на таксомоторе...» Профессора и студенты, гимназистки, поэты, закройщики, дворники, прачки, кухарки, уличные торговцы нарисованы выпукло, сочно; почти все герои Волковой эмоциональны и очень деятельны.

На стадии подготовки сборник назывался «Подмены», потому что в сюжетах всех рассказов так или иначе присутствует ситуация подмены кого-то или чего-то. Студент-медик вынужден заменить своего наставника на ответственной публичной операции; выдумывает себе возлюбленного, увидев имя на могильной плите, гимназистка Оленька Дьякова; выдает себя за художника опытный натурщик Капитон Корж («Артизан»). В фокусе внимания у Волковой прежде всего сама история, необычная ситуация, далее акцент сделан на изображение характера героя, и почти в каждом рассказе — краткий эпилог спустя несколько лет. Но именно Петербург как большая общая рама создает единое пространство всего происходящего: Военно-медицинская академия, Мариинская женская гимназия, Смоленское кладбище, Императорская Академия художеств, дворы и частные квартиры, кондитерская лавка около Андреевского рынка, вагоны конки и, конечно, Нева, смотреть в холодные воды которой станут герои нескольких рассказов.

Ольга Балла

Человек — это больше, чем тело, страна и планета

Отношения человека с историей и с создаваемым ею социумом — одна из первостепенных забот поэзии, которая и вообще озабочена устройством человека в мире, и этот его аспект — среди важнейших. В рассматриваемых нами поэтических книгах трёх очень разных авторов представлены три до противоположности отличных друг от друга (но чем-то всё-таки родственных) модуса поэтического восприятия истории — и верного спутника её (ненадёжного убежища от неё, возможного утешения в ней), — неисторического.

Юлий ХОМЕНКО. Лётное поле / Сост. Дмитрий Тонконогов. — М.: Пироскаф, 2024. — 80 с. — (Книжная серия журнала «Пироскаф», вып. 2)

Оставаясь стихами, тексты Юлия Хоменко разделяют много общих свойств с некоторыми видами прозы. Принципиально ясные, свободные от темнот, от неочевидных ассоциативных ходов, вообще от всего лишнего — выхватывающие из хаоса мира только самое существенное, стремительно наводящие взгляд на резкость, они заняты по преимуществу наблюдением ближайшего — с особенным вниманием, правда, к его парадоксам. Эти стихи как будто чужды обыкновенному для поэзии сближению далековатого, соблазнам экспериментов с языком, звуком, вообще с так называемой формой (да, они явление куда более смысловое, чем звуковое, однако форму удерживают — предельно сжатую и оттого предельно же концентрированную) и согласны на смиренную роль моментальных формул наблюдаемого, слепков с мельчайших единиц существования.

безветрие
но движение есть
его регистрирует
секундная стрелка
подёргиваясь
и смещаясь

Вот, кажется, это один из наиболее интересных Хоменко типов движения.

Его тексты близки афоризмам («*платформа Заслуженный Отдых // далее нигде*»), а иногда — микроэссеистике, уместающей мысль в совсем немногих строчках — и тем самым наращивающей её напряжение («*деревья / мыслят в безветрие / под ветром*

молвят»). Понятно и то, что среди образцов этих сдержанных немногострочников — японская поэзия, и то, что следует автор этим образцам не буквально. В несомненном родстве эти стихи и со сверхкороткой, «точечной» прозой со сжатым сюжетом (*«жившая в нашем подъезде бабка / понастала на балконе вертушек / и умерла // а вертушки всё вертятся / видимо по инерции»*). Каждое из стихотворений фиксирует некоторую единственную в своём роде ситуацию, представляет собой формулу единичного — как будто не распространяемую за пределы ситуации и тем более точную.

покуда голубь во дворе
воркует всё крапя помётом
не вне игры я но в игре

за ходом ход за поворотом
другой какой-то поворот

но хода нет во двор обратно
где от подъезда до ворот
танцуют солнечные пятна

Так без единого далеко идущего обобщения (и уж тем более без малейшего пафоса) простая будничная ситуация, не переставая быть самой собой, становится схемой судьбы; единичное — именно благодаря своей единичности — оказывается формулой универсального.

(Но кстати: в стихах Хоменко, куда более объёмных внутренне, чем может показаться, слышны переключки с русской поэтической традицией. Они не очень часты, но узнаваемы моментально: так, стихотворение *«эти жалкие строенья...»* — почти-цитата тютчевского: *«Эти бедные селенья, / эта скудная природа...»*. Оно совпадает с прецедентным текстом не только на уровне слов и ритма — оно ведь — почти? — в точности о том же: о том, что внешняя скудость открывает человеку глаза на существенно более глубокое и неотменимое.)

Иногда стихи Хоменко с их нарочито-простыми ритмами — почти детские, как бы простодушные в своей (квази)прямолинейности (не затем ли, чтобы не забивать сложностью высказывания сложность самой ситуации, оставить её свободной, дать ей сказаться самой по себе?): *«в магазин шагаю смело / за пакетом молока // ведь кому какое дело / что сегодня облака // откровенно кучевые / чьи тугие кругляши // задевают не впервые / за шершавости души // и медлительно проходят / и с поклонами и без // посмотреть что происходит / за кулисами небес»*, — воспроизводят детский безоружный, незащитный взгляд на всё происходящее и на самого лирического субъекта, в это происходящее вовлечённого: *«с папой / на троллейбусе / по Кропоткинской / в Кремль // папа умер / троллейбусы отменили / Кропоткинскую переименовали // как же я доберусь / до Кремля»*. Последовательно отказывающийся от заглавных букв — как, впрочем, и от знаков препинания, добиваясь тем самым, вероятно, максимальной нейтральности интонации, — имена собственные, и только их, Хоменко пишет всё-таки с заглавной (и то, между прочим, не всегда: *«соглашаюсь / на шуховскую // не брезгую / эйфелевой / тоскую по вавилонской»*). Видимо, в этом случае имена парадоксальным образом не собственные — но указывают на тип существования соответствующих башен, на их позицию, что ли. То же — когда *«ветер-ураган»* несёт лист *«по тротуарам / и парижей и калу»*: это не города — это типы пространства). Для знаков препинания он не делает никаких исключений.

Истинный возраст автора сказывается в таких случаях, помимо чёткости формулировок — в дистанции, неизменно удерживаемой между лирическим субъектом и предметами его наблюдения. Эту дистанцию можно воспринять и как ироническую — действительно, ирония постоянно чувствуется, никакого простодушия там на самом деле нет. Но куда скорее видится в ней средство избежать захваченности — чем бы то ни было. Наблюдатель и аналитик, Хоменко обходится в стихах без страстей: не пускает — никаких. Вообще никаких сильных чувств (даже когда — очень редко — называет их по имени), никакой взволнованности. Никаких восклицаний.

И кстати: стихотворение о папе, троллейбусе и Кремле — одно из исчезающе-немногих у Хоменко, в которые хоть мимоходом заглядывает история (Кропоткинскую переименовали, троллейбус отменили...).

Среди многого, от чего поэт в этой книге свободен, ещё и актуальные обстоятельства жизни: место и время — в смысле времени большого, исторического. (Разве что выговорит иногда обстоятельства человеческие, персональные координаты: *«жизнь / разбросала нас с братом / по разным полушариям / видимо с целью / поддерживать равновесие / всей Земли»*. Времени историческому с его повестками Хоменко решительно предпочитает природное, циклическое, с неизменными сезонами и погодой, близкое к вечному или, что даже вернее, имеющее гораздо более прямое отношение к существу дел человеческих. Указаниями на время этого типа стихи просто переполнены: ночь, рассвет, январь, октябрь, листопад, дождь, снег, ветер, весна, осень, зима... Языком всего этого можно говорить обо всём человеческом без перевода. *«проливные / с отчаяния или от счастья. // осенние / во смирении»*. Но также — возможно, чуть менее природного — интересует его и время метафизическое: очень родственное вечности и растущее напрямую из как бы простого, подручного времени повседневности (да отчасти и из природного тоже):

новый микрорайон
на ветру на отшибе

на излуке времён
на пространства изгибе
угнездившись едва
невзначай проживёте
может век может два

у зимы на излёте

Пространство, особенно важное для поэта, пропитанное личными смыслами, вообще не раз оказывается у него прямым выходом в метафизическое время, всевременно, причём это не только не зависит от степени исторической важности соответствующих мест, но куда скорее даже противоположно ей:

я любитель задворок
подворотен дворов
но особенно дорог
меж времён и миров
затерявшийся дворик
где живу молодым
лет пятьсот и не горек
мне отчества дым

(И, конечно, тут — ритмическая отсылка к очень многому, начиная с давно уже хрестоматийного «*Ни страны, ни погоста...*» — и ведь тоже в каком-то смысле о том же самом: о коренной связи с изначальным.)

Удивительным образом автор, почти уже четверть века живущий в столице Австрии, (почти) не пускает её в стихи (ну, по крайней мере, в этом сборнике). Вена во всей книге упоминается единственный раз, и то почти вскользь («*Вена ещё спала / двух-трёх пекарен кроме*»), и сразу же вслед за этим поэтическое внимание стремительно переносится на московскую улицу: «...*клён лишь колых-колых / листьями на Стромынке*», чтобы больше уже не возвращаться оттуда. Даже израильских городов тут больше, чем австрийских, — целых три (и то даже не столько их, сколько их имён: тот редкий для Хоменко случай, когда он вчувствуется в звуковое тело слов — и да, делает и из этого тоже своего рода формулу:

неотёсанные
словно бы из каменоломни
названия израильских городов

Кирият-Гат
Ашдо́д¹
Лод

Зато, насколько это вообще возможно для автора, склонного изъясняться формулами, — сборник полон топографии русской, московской: те же Кропоткинская, Кремль, Стромынка; Малый Лёвшинский, где было «*семейное гнёздышко*», Шуховская башня, а иногда даже очень подробно: «*Измайловский бульвар / на пересечении с Пятой Парковой*», который «*заснежен не меньше Сиреневого / на пересечении с Седьмой*» (впрочем, начертив эту подробную карту Измайлова, автор быстро отводит глаза и тут же начинает изъясняться многоохватными обобщениями: «*да и в целом в северном полушарии со всеми имеющимися пересечениями / включая образуемые е/ параллелями и меридианами // зима*»; но на эту зиму-вообще его взгляд навело, сфокусировало его на ней именно заснеженное Измайлово). Из венской топографии здесь одна только музей-квартира Шуберта. Австрийской жизни как таковой в книге нет совершенно — она даже не фон. Австрия несколько раз упоминается, но без характерных подробностей, и упоминаемая жизнь — почти никогда не человеческая: только природная. Это — осень, которая «*и в Австрии тоже осень*»; «*австрийская берёза*» (делающая вид, что понимает по-русски) и «*одно из альпийских предгорий*», где «*овечки стоят / не дрожат / и кивают неплохо*». Совсем строго говоря, таким же образом они могли бы стоять и кивать на любых других склонах, то, что волею судеб склоны оказались альпийскими, — чистая случайность и ни на чём не сказывается. Более того, причастный к делу святой, «скотоводов угодник», называется тут вряд ли уместным в Альпах русским именем — Егорий. Во всех остальных текстах, составивших книгу, поэт говорит либо о жизни вообще, либо, что реже, о жизни русской (можно ли предположить, что в каком-то смысле это для него одно и то же?).

Предположить можно и то, что такая избирательность связана с потребностью поэта в уже упоминавшейся дистанции. Очень большое расстояние — и только оно — даёт ему возможность высказываться даже о старательно избегаемой истории: «*вот и опять двадцать третий // год вперёд / сто назад // ещё немного / и умер Ленин*». И действительно: не тогда ли только возможно по-настоящему говорить об истории,

¹ Так! Хотя вообще-то Ашдо́д.

вообще — о больших формирующих, неподвластных человеку обстоятельствах, когда мы от них свободны?

Дмитрий ГАРИЧЕВ. Пусть долетят / Предисловие Ильи Кукулина. — М.: Горгулья, 2024. — 98 с.

Если Юлий Хоменко от истории отчётливо дистанцируется, то Дмитрий Гаричев смотрит на неё в упор, обжигая глаза. Он — поэт трагический.

Гаричев говорит изнутри большой исторической трагедии — изнутри войны всех против всех, разыгрывающейся на глазах автора, родившегося в 1987-м, начиная с его детства, с девяностых, с обстрела Белого дома, с чеченских войн, но на самом деле — в чём он прекрасно отдаёт себе отчёт — начавшейся намного раньше. Он говорит как выросший на обломках рухнувшего советского мира, на кусках его гниющей плоти; от имени человека, жизнь которого уже начиналась внутри руин, воспринятых как естественный ландшафт:

после альбомов, залистанных наизусть,
я спускался как если бы в венецианский двор,
в клеймах и оспинах; брошенный комбинат
поднимался как сам вавилон, и никто из нас
не был ни в чём виноват, куда ни пойдёшь.

Это о детстве и юности в Ногинске девяностых. История, особенно ближайшая, проживается лирическим субъектом этих текстов совсем лично, почти телесно, как неотъемлемая внутренняя часть взросления; травматичность как бы встроена в его существование в качестве неперемённого условия. Вот, в стихотворении, обращённом к отцу (видимо, уже умершему), повествователь выговаривает свои отношения с ним прежде всего через исторические события, пришедшиеся на его детство и юность:

...когда
наших вешали в грозном, ломали в подъездах
так, что было уже не собрать,
каждый сам за себя ужасался, и оба не знали,
как же произнести, и когда даже корчился «курс»,
мы тонули с ним поодиночке, но я, нагладевшись,
как сжимаешься ты в пиджаке,
тоже начал сжиматься.
<...>
на второй день «норд-оста» я понял в каком-то бреду,
что теперь нам с тобой наконец одинаково страшно,
словно в креслах соседних вдвоём
под скалой из пластита.

И даже произнося «я», Гаричев, по существу, всегда говорит от имени некоторого «мы» — собратьев по поколению, по времени и месту, застигнутых трагедией, ставших её участниками и жертвами.

все эти русские тела, как ни гнети, куда ни падай,
придуманы не для тепла, и нам самим давно не надо...

И место здесь для автора важно нисколько не менее, чем время.

Самую плоть этих стихов, их рельеф образует конкретная, узнаваемая, на ощупь знаемая автором и его сопластниками топография, — что ни топоним, то (горячий, воспалённый) клубок значений, понятный вполне, надо думать, только местным обитателям: родной для автора Ногинск, Павловский Посад («павловский», «павлопосад»), «загорск», Киржач, река Шерна, Электрогорск, Дулёво, Александров, Москва (далеко не в первую очередь), — иногда — клубок, пропитанный кровью (Бамут, Ведено, Грозный...). Кстати, заглавных букв в именах собственных (как и заглавных букв вообще) Гаричев устойчиво избегает — может быть, и затем, чтобы лишить эти слова привилегированного статуса. В том мире, который он описывает, вообще проблематично с устойчивыми иерархиями, а вследствие того и с ориентирами.

стоя в своей неправде со школьных лет,
я хочу думать, что правда может принадлежать
если не мне, то другим, и хочу знать этих других.

но чем больше другие мне говорят, тем отчётливее провал.

Трагедию своего времени Гаричев воспринимает как прямое продолжение катастроф ушедшего столетия: в каком-то смысле все они об одном, все составляют один континуум. Всё это — о крушении человека, идущем по меньшей мере со второго десятилетия XX века и касающемся далеко не одной только России.

правда осталась там, где никто не смог:
в рудниках алапаевска и подвалах читы,
в запертых кассах estadio nacional,
в гданьских печках «солидарности», спрятанных казино
этtersберга, с изнанки деревьев близ
мядининкая, в тканях на трудовой

тянется и не может тебя достать.

Гаричев многоголос. В предисловии к книге Илья Кукулин называет эти голоса масками, не тождественными персоне говорящего; думается, дело тут обстоит всё-таки сложнее — и иначе, чем в случае Дмитрия Александровича Пригова, с которым — с поэтическим субъектом которого — автор предисловия сравнивает Гаричева. Это, скорее, своего рода протейность: вливание, вживание в разные роли, в разные биографические обстоятельства, которые тем самым перестают быть чужими. Гаричев (уж точно в отличие от Пригова) не ироничен и не играет. У него всё смертельно серьёзно и горько. В каком-то смысле он принимает в себя всю боль если и не целого мира, то, по крайней мере, своей, ближайшей к себе его области. Московской области, да; её восточных окраин, региона, *«где все умирают / и друзья постепенно, но всё-таки сходят с ума»*. *«Этой терпкой земли»*, истерзанной историческими обстоятельствами; своего поколения, одной из основных черт которого он чувствует историческую неприкаянность:

мы тоже здесь прыгивали с платформ,
приехав из городов,
где с нами разговаривал пар,
поднявшийся кое-как
над тёплыми черепами больниц,
училищ и производств,
и как нас тогда никто не ждал,
так и теперь не ждут.

Его высказывания об этой тотальной поколенческой неудаче — и социальной, и человеческой, почти прямые, почти декларативные — были бы совсем прямыми, не будь они так насыщены сложными ассоциативными ходами, множеством внутренних отсылок, далеко не всегда ясных внешнему наблюдателю. В какой-то мере это разговор с понимающими, со способными схватывать сказанное с полуслова; а в немалой степени — и с самим собой. Гаричев говорит на почти внутреннем языке.

сколько лет мы здесь слушаем нищие поезда,
курим электрогорский торф,
так никто не спросил наших дневников полевых
и не вызвался нас сменить.

мы счищали их стены по самое, но и там
не рассказывалось никак
происшествие наше, обратные имена,
ни какое включить кино.

Помимо разных собственных голосов, время от времени он заговаривает как будто чужими (каждый из которых даёт дополнительную возможность взгляда на выговариваемую жизнь, дополнительный ракурс), пишет по чужим — не то что мотивам, но матрицам, способам упорядочивания мира: ритмическим, а вследствие того отчасти и эмоциональным: «Из Эдуарда Багрицкого», «Из Ольги Берггольц», «Из Сергея Круглова», «Из Дениса Новикова», «Из Киплинга», «Из Фёдора Сологуба» и даже из не писавшего стихов Владимира Бибихина, а также из Антониони (надо полагать, режиссёра, Микеланджело). Вероятно, это для того, чтобы взглянуть извне и на описываемую таким образом жизнь, и на сами эти матрицы — на, соответственно, принципиально неполную их применимость к своей реальности, а, возможно, — и на ограниченную их пригодность вообще. Илья Кукулин в предисловии называет это «остранением остранения» и особенным способом исторической рефлексии: освобождающей рефлексией ещё и над поэтикой «наследников романтизма» с их «возвращением к романтическому бунту» против неудобной реальности, с их «выражением спонтанной и напряжённой эмоциональности», с «иронией над “непробуждаемым” миром» (ну, не знаю... Круглов уж точно не наследник романтизма, да и Антониони вряд ли). Во всяком случае, да, — в спонтанность выражения чувств — каких бы то ни было — ни лирический субъект Гаричева, ни, кажется, сам его автор не верят; и многоголосие книги стоит, по всей видимости, счесть ещё и указанием на кризис способов высказывания, на рассогласование между словом и смыслом.

Кукулин в предисловии вообще вполне настойчиво прочитывает поэзию Гаричева как социальное по основному смыслу высказывание и говорит даже, что его эстетическая позиция «имеет довольно четкий <...> политический смысл». Высказывания с политическим смыслом у него вне всяких сомнений есть, есть даже целые несомненно политические тексты, но, думается, назвать его эстетическую (да и этическую) позицию в целом политической было бы всё-таки упрощением и спрямлением смысла этих очень сложно устроенных текстов. Куда скорее это — проживание и диагностика некоторого человеческого состояния — проблематичного, в конечном счёте, повреждённого на многих уровнях: от человеческих душ и отношений — до быта, вещной среды и самой плоти мира.

разве проворством иудейска червя
слышно, как крепятся первичноротые бани,
пункты приёма, швейные корпуса.

рынок вьетнамский, узкий, как они все,
полагает слой синтепона, слой мишуры;
голые полотенца выпрастывает до утра
пыточный интернат.

И да, эта повреждённость тут несомненно обусловлена историей — максимально, насколько возможно, вмещаемой автором в свой кругозор, но в конечном счёте выходящей за пределы человеческого разума и неподвластной контролю частного человека.

Алёна КАРИМОВА. Между. — М.: ОГИ, 2024. — 88 с.

Совершенно непредвиденным образом стихи Алёны Каримовой по степени явленной глазу сложности занимают место как раз *между* двумя уже рассмотренными полюсами — текстами Хоменко, аскетически-ясными, предельно сдержанными, — и стихами Гаричева с их многоуровневым внутренним движением, резко-неочевидными ходами, тёмным пламенем. Внешне стихи Каримовой вполне традиционны, без сопротивления укладываются в формы, давно освоенные поэтической речью, а с нею и читательским чувством (что само по себе, надо признать, приводит душу в порядок самой упорядоченностью жизни внутри стихов, оказывая на неё в целом скорее умиротворяющее воздействие). Дисциплинированная, но без чрезмерных напряжений силлабо-тоника — как чисто выметенный, заботливо натопленный дом с большими светлыми окнами, в котором можно жить, никуда не торопясь (даёт, значит, чувство защищённости — с которым нынче совсем плохо), мягкие элегичные интонации:

Бывает так — стеной повалит снег,
И в мире нет ни городов, ни речек.
Большое поле и на белом — след.
Куда бредёшь ты, гордый человек?
На много километров — никого,
Ни огонька, ни печки и ни свечки,
Нет, кажется, тебя и самого,
А только путь и только лучик млечный.

С первых же страниц бросается в глаза пристрастие автора к уменьшительным суффиксам — *речка, человек, огонёк, лучик, росточек*... — делающим её поэтическую речь отчасти детской (в смысле её адресованности детям, — ну что ж, многие ли будут так самонадеянны, что сочтут себя совершенно взрослыми?) — скажем, так: обращённой к детской стороне читательского существа, — уже в первом стихотворении такое обращение прямо и звучит: «Главу о свойствах света повтори, / Мой мальчик, с надлежащим прилежаньем» (окликается не только детская сторона человеческого существа, но ещё и ученическая).

В этой вкрадчивой, совсем чуть-чуть наставительной ласковости видится, с одной стороны, что-то усыпляющее (и, конечно, немедленно вызывает протест). С другой стороны, протест прекращается, как только усматриваешь в этом вполне понятное старание смягчать горечь и жёсткость нашей жизни. Попытку сделать её выносимее, как и посредством той самой аккуратно выстроенной силлабо-тоники. Да и не факт, что поэт говорит это (одним только) нам — куда вернее, (и) самой себе: «Признать себя несостоятельным, / Несмелым, несамостоятельным, / И не усвоившим

урок...» (это ли не настоящее, честное внутреннее детство; вспомним, кстати, сопоставимые жесты и у Юлия Хоменко). Тем более что речь идёт о предметах далеко не детских — и все мы малы перед их лицом.

Да, об одиночестве, о тщетности усилий (*«тщетны ли все старанья...»*), о судьбе. Об антропологических константах, их же не преjdeши. О том жизненно важном, что неподвластно человеческому контролю: *«Удача — такая птица — есть или нет: / Не ждёшь — прилетает, а так — примани поди, — / Ни от ума не зависит, ни от таланта»*. О ясном осознании актуальных обстоятельств, которые и нет нужды очередной раз проговаривать подробно, и так все знают: *«Эта ракета снизу почти звезда... / Что это был за месяц такой — ирпень?»* О том, что *«из полной ужасы головы / телеграфирует сердце: спасенья нет»*. О соблазне небытия: *«Мрачных больниц наштавь и йод / так же полезны, как яд змеи. / Невозвращения гудит струна, / ей искушённый не внемлет слух»* (*«Но равнодушно и спокойно / руками я замкнула слух...»* — немедленно отзывается читательская культурная память). И об упорстве жить во всём этом — осмысленно и направленно:

Через холмы зелёные,
через пустые хлопоты,
поздно поняв,
что в общем-то
разницы нету, как —
с радостью озарения
или набравшись опыта —
доковылять до Света,
пряча в карманах Мрак.

Возможно ведь и то, что этими своими уменьшительными суффиксами автор деликатно, недеklarативно обращает внимание и на принципиальную малость человека в мире (*«Куда бредёшь ты, гордый человечек?»*). В каком-то отношении это (и) религиозная лирика: главный её Герой, которого нет нужды называть по имени, появляется уже в первом стихотворении книги: *«...Снега Его полны живым сияньем»*, и сразу же во втором — совсем открытым текстом: *«...Вот и молись в ладони, / вот и целуй распятые...»*

Впрочем, эту тему поэт не педалирует, оставляя её, скорее, на уровне общей настройки внимания. Иной раз упомянет Героя иронически: *«Или в сад заброшенный тропкой, кем-то хоженной — / за спиной у Боженьки яблоч воровать»*, иной раз и вступит с Ним в диалог: *«Господи, думаю, как же Ты изобрёл / эту забаву — время... <...> Люди ужели Тебе не милей травы?»*, но, в общем-то, не тревожит Его все. (И кстати: самая последняя строчка книги тоже о Нём: *«Любит всех Господь, даже нас с тобой»*.)

С детскостью же той стороны человеческого существа, к которой обращается Каримова, напрямую связана и почти-фольклорность некоторых её стихов (да и название из детского обихода — «Считалка»):

поколдуй моя сова
вынь туза из рукава
чтобы при любом раскладе
не болела голова
счастье рядышком сиди
в лес волчком не гляди
заплутаешь да растаешь
да ищи тебя поди,

и тяготение к совсем простым — действительно, как в детских книгах (только детские книги читать, только детские думы лелеять) — формам высказывания:

Озеро прячет рыб,
по берегам — трава,
от золотой жары
кружится голова.
Сосны растут в песке,
тропки уводят в лес,
будто на волоске
мы от больших чудес.

В этой многообразной детскости есть, кстати, и нечто очень взрослое: отказ повиноваться актуальным обстоятельствам в любом их облике:

Вечное детство — не слушаться правды камней,
правды деревьев и боя над Спасскою башнею.

Никакого прекраснотушения у поэта нет и в помине (*«Чего уж чего, а тьмы нам на свете хватит»*). Всё тут есть: и *«тёмные зёрна предчувствий смутных»*, и *«прикосновенный тоски запас»*, и осознание своего бессилия (*«Ближний молчит, дурак. / Я бы его спасла, / если бы знала как»*), и печальное понимание того, что *«да, предпочтительнее бестелесность — / И безопасней, и куда честней»* (ну да, отрадно спать, отрадней камнем быть). И никаких, на самом деле, иллюзий, — затем, видимо, и требуется лёгкая, чуть архаичная (некоторые тексты, пожалуй, могли бы быть написаны и в позапрошлом столетии и смотрелись бы там вполне органично), мягко-ироничная манера повествования, — в этом есть особенное достоинство: не устраивать драм, не восклицать и не заламывать руки там, где, казалось бы, для этого есть все основания:

Потягивая чай из блюда,
беспечно дальнего любя,
легко на свете обмануться
в необходимости себя.
И вправду, кто бы мог ещё
так горевать проникновенно
над неустроенной Вселенной,
масштабы не приняв в расчёт.

Кстати, в самом этом архаизме, в отчётливой интонационной отсылке к XIX веку вообще и к солнцу русской поэзии в частности (*«Не мысля гордый свет забавить, / Вниманье дружбы возлюбя, / Хотел бы я тебе представить / Залог достойнее тебя...»*) нет ли обращения к тем основам нашего культурного существования, которые уже хоть как-то доказали свою надёжность? (А ведь доказали, и не раз.) Таких отсылок разной степени явности — в том числе и ко временам более поздним — здесь на самом деле немало; вот, например, из не очень явных — к Мандельштаму:

Ночью сильней притяжение света.
Слышишь — на кухне поёт уют?
Сядем за стол, развернём газету,
чаю нальём или нам нальют.

Ну да, *«мы с тобой на кухне посидим, / сладко пахнет белый керосин»*, как было сказано в обстоятельствах, пожалуй, покруче наших.

Или вот вдруг — с редкой для сдержанного автора откровенностью:

Это, конечно, не я, это кто-то другой
вымолить хочет прощенья, из времени выпрыгнуть.

(Ахматовское тут же: *«Нет, это не я, это кто-то другой страдает. / Я бы так не могла...»*)

Что ещё есть в этих повторах, в этих разноуровневых цитатах и аллюзиях? — Мысль о том, что очень многое из переживаемого нами здесь-и-сейчас и мнящегося уникальным — уже было. И человечество выжило.

И всё это, да, обращения к основам. Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе.

Поэт усматривает и иные источники жизненной силы — впрочем, из числа основ и они: это то, что остаётся самым собой при любых исторических обстоятельствах, *«не имеет касанья к любым режимам»*. Хотя (драгоценная) бытовая рутина (*«А надо бы / починить ботинки, / выбросить мусор, / разобрать бумаги / и сходить в магазин за едой...»*), хоть неотменимая смена природных состояний и времён суток и года, составляющая надёжный противовес линейности времени (*«Долгий зной тягучим мёдом / В сотах дней хранит июль <...> Исполняйся, отпуск длинный — / Здесь что вторник, что среда — / Куст крыжовник, куст малина, / Вдоль забора лебеда. / Это дача. Мы на даче / В междувремя парим...»*). Она настолько важна, жизнеобразующа, что вполне уместно и взмолиться о ней верховному Адресату: *«Дай мне, Боже, волшебное лето: / Созерцать голубой виноград...»*.

Да мы уже выросли-выросли из контекста.
Это всё внешнее, знаешь ли, наносное,
я о другом — неизменном — зимой, весной...
Сможешь — продай, подари, собери проценты —
а жизнь всё равно внутри — ей нужна плацента.
Она не имеет касанья к любым режимам,
она пробежит, проскользнёт через все зажимы
и спрячется снова в темень свою густую,
снова затянет песню свою простую <...>

Воистину: жизнь — настоящая жизнь — всё равно внутри.

Смешно бояться: полны мои закрома,
И в них сокровищ — на целый толстый словарь.

Что же это за способ (поэтического) существования в истории, взаимоотношений с нею? Он (пожалуй, один из наиболее конструктивных способов) примерно таков: прекрасно отдавая себе отчёт в происходящем, нисколько не обманываясь в этом отношении, обратиться к тем ресурсам устойчивости и смысла, которые были выработаны и накоплены до нас и доказали свою действенность (внимание к природному, дочеловеческому — тоже ведь из их числа: *«Море и впрямь человеку дано в утешенье»*; как и то самое детство, отсылки к которому мы не раз уже обнаруживали на этих страницах: *«Разобьётся о витражи / зимний сумрак. / Начнём игру. / Эни, бени... и водишь ты! / Детство кружит / ...четыре, пять! / Ну беги, покупай цветы — / выходи / меня / искать!»*). И поэзия, кстати, тоже помогает: *«Под яблоню сяду / Стихи сочинять — / Минует эпоха...»*. Не говоря уж о межчеловеческих отношениях: *«Только целуя родное во тьме плечо, / знаешь, что можно истину побороть»*; *«Ты — меня, а я тебя сберегу. / Пересилим серую эту чуму»*. Да ещё и верная память о том, что — по какому бы поводу поэт этого ни говорил — *«человек — это больше, чем тело, страна и планета»*.

Борис Минаев

Смешной лес

Почему я с детства любил «Лес» Островского?

С самой первой черно-белой телеверсии спектакля, которую смотрел лет в двенадцать на стареньком «Темпе», до самой последней постановки в театре «Эрмитаж» у Михаила Левитина — всегда он мне нравился.

Есть в нём какое-то загадочное обаяние.

Смотрите: один человек идет пешком «из Керчи в Вологду», то есть с юга на север, а другой — откуда-то с севера на юг. Как могут эти два человека, причем знакомые друг с другом, случайно встретиться где-то в лесу, на лесной дороге? Не на вокзале, не на городском перекрестке, а в лесу!

Ну бред же!

Или не бред, а какая-то клоунада...

Водят нас за нос, дуруют, прикалываются. Не может этого быть в реальной жизни.

Московский зритель знает, наверное, что большие, во всю стену, фотографии советских клоунов — Енгибарова, Никулина и других — обрамляют зал театра «Эрмитаж», после пожара в историческом здании временно поселившегося на Новом Арбате. Клоунада и «клоунский» взгляд на пьесу, на персонажей вполне ошутимо присутствует и в этом спектакле Михаила Левитина, хотя пьеса классика русского реалистического театра для этого вроде бы не совсем подходит. Ну да, есть в ней некая театральная условность: встреча в лесу, а рядом — поместье тётушки, всё как-то так совпало, как совпадает только на сцене. Однако...

Однако эта условность гомерически разрастается до размеров вселенского балагана, бала дураков, грандиозного шапито дурацких и избыточных страстей.

Да, а что касается театра «Эрмитаж» и его здания...

Нет ничего более постоянного, чем временное, в том числе временная прописка, как известно любому москвичу. Временную прописку московские власти продлевали театру ни много ни мало целых девять лет, и вот, наконец, к строительству приступили.

В конце спектакля актеры строят прямо на сцене маленькую сцену, на условном фронте которой на грубых досках написано косыми буквами: «Московский театр “Эрмитаж”».

Именно туда, в этот театр мечты, где будет всё своё, туда, в театр, независимый от жадных антрепренеров и завистливых критиков, независимый и от злобы дня, и от злобы века, от его жестокости, несправедливости, от его угрюмой и патриархальной морали, идут теперь Счастливых и Несчастливых.

...Но подождите — а как же те самые традиции русского реалистического театра?

Как же вот этот самый знаменитый лес помещицы Гурмыжской, который продают кусками, под расписку и на честном слове, за толстые пачки ассигнаций? Как же знаменитое самодурство, тирания, вся эта цепь персонажей, которые стараются втереться в доверие, не потерять влияние, обмануть, схитрить, поиметь, не остаться в дураках и сорвать куш?

Как же вся эта хорошо знакомая по классическим советским учебникам (и, надо сказать, никуда не девавшаяся) социалистическая идея: одни богатые жрут других богатых, народ страдает, народное горе растёт, и только искусство, бедное и в лохмотьях, что-то ещё жалко лепечет?

Увы, никуда она не делась, эта социалистическая идея, это вечное русское «народничество», и никуда не денется — богатые будут жрать богатых, бедные воспитанницы будут плакать и надеяться только на чудо, лицемерие и тирания властей предрежащих ничем и никем не устранимы, даже если ради этого совершается подвиг библейского масштаба.

Неполноту и, мягко говоря, внутреннюю противоречивость этой идеи вечной борьбы за справедливость можно только обсмеять, обыграть, погрузить в иронию, рассыпав по всему сценическому тексту клоунские гэги, гримасы и репризы. При этом нисколько не потеряв трагизма, также свойственного «Лесу». А ведь именно в таком диапазоне — от трагического до остро-комического — и работают два этих актера, Счастливец и Несчастливцев.

Мороз по коже продирает во время монолога Счастливец (Сергей Бесхлебнов) о том, как его «заворачивали в ковёр», когда зимой везли из очередной Вологды в очередную Керчь, поскольку ничего, кроме лохмотьев, на нем не было. И в то же время — сколько буффонады и счастливого смеха в его игре, безумных прыжках по сцене, в его потрясающей театральной *вибрации*...

Впрочем, прекрасных кульбитов, ломающих наши почти двухсотлетние представления о том, что возможно (и невозможно) в этом тексте, на сцене театра «Эрмитаж» предостаточно. Купец Восмибратов, который ведет важные переговоры и сватает сына, не выпуская из рук огромного топора, например. «К топору зовите Русь!» — да вот же, уже позвали, да она, Русь, всегда вообще-то с топором, кто б сомневался. А когда Несчастливцев (Станислав Сухарев) в столкновении с купцом Восмибратовым изображает сурового офицера, защищающего честь оскорбленной тетушки, звучит знаменитая советская мелодия из фильма «Последний дюйм» («Тяжёлым басом гремит фугас, ударил фонтан огня...») — и опять это абсурдно, дико, но почему-то невероятно смешно, превращая всю сцену опять же в клоунскую репризу.

Всё смешно. И всё как-то страшно. Но чтобы не было страшно, — надо смеяться.

Тут нет никаких сюжетных или речевых смещений, добавлений, персонажи Островского у Левитина говорят известные с детства слова, то есть «держатся внутри роли», но при этом кажутся какими-то неузнаваемыми: и недоучившийся гимназист Буланов (Андрей Павлов), прыгающий по сцене, как будто играет в «классики», и Улита (Ольга Левитина), блестяще сыгранная полоумная кликуша, издающая в первом акте только звуки, но не слова, и сосед Будаев (Олег Заболотный), на протяжении всего спектакля сбивающий из ружья плюшевых чайки.

Вроде бы всё не всерьёз, сплошной фарс и бесконечное надувательство...

Но — отчего ж так горько на душе?

В Москве, в новом здании Третьяковки на Кадашевской набережной, проходит выставка «Передвижники», сложенная из разных собраний, в том числе

из провинциальных музеев, сотни работ — и известных, ещё по школьным учебникам, и совсем неизвестных.

Конечно, одна из главных тем передвижников — та самая социалистическая, в широком смысле, боль за народ. Скажем, очень мощно выраженная в картине Ярошенко «Всюду жизнь»: теплушка, ссыльные или переселенцы кормят голубей из зарешеченного окна на станции. Хрестоматийные «Крестный ход» или «Утро стрелецкой казни», царевич Алексей, разговаривающий с Петром, царевна Софья, и даже Христос в пустыне — все знаменитые сюжеты, и исторические, и религиозные, собранные вместе и в таком порядке, кажется, тоже говорят об одном: власть, угнетение, казни инакомыслящих, загадочная народная масса, которая держит свой протест где-то глубоко внутри...

И как бы ни спорили с этим сами кураторы выставки, в умных и обстоятельных текстах объясняющие зрителю, что в первую очередь передвижники искали истину, высокий идеал, что главное — их духовные устремления, от этой темы освобождения страны никуда не деться. Она витает практически во всех картинах, где изображена «народная жизнь».

Но всё же в них, в этих бесконечных массовых сценах, которые передвижники изображали столь искусно, есть и другое.

Не столь очевидное, не лежащее на первом плане.

Люди на их картинах не только страдают от социального угнетения, тяжело трудятся и выживают.

Нет, это богатый красками, полнокровный мир, удивительный и обескураживающий именно в антропологическом смысле: столько мощи и красоты в этих лицах, фигурах, пейзажах и даже костюмах, просто засмотришься. Ничего похожего на серую, темную, невежественную и замученную Россию из статей тогдашней критики и публицистики.

И это — совершенно другая страна. Абсолютно здоровая, несмотря на все противоречия, с огромным количеством самых разных и человеческих, и социальных типов. Страна, которая вполне готова была развиваться естественно и мощно.

Но увы, что-то в ней надломилось...

В начале спектакля режиссер Михаил Левитин честно предупреждает зрителей, сидящих в зале, что мы, мол, не можем играть спектакль в традициях Малого театра, показывать людей, как он говорит, «спокойно сидящих за столом», — то есть, грубо говоря, играть тех самых людей, которых рисовали передвижники.

Та Россия, с её глубокими и традиционными типами, с их психологией, с их понятиями о чести и справедливости, с их привычками и речью, — умерла, сгорела уже дважды или трижды, даже и в советском изводе.

И играет театр эту пьесу — про людей сегодняшних. Всё время находящихся на грани трагического и смешного, между ужасом и счастьем, между злом и добром. Нет здесь злодеев, в этом лесу, а есть люди мечущиеся — и Гурмыжская (Ирина Богданова), захваченная своей любовью, как болезнью, и Восмибратов, который вроде бы и есть то могучее зло, которое творит неожиданное добро, но и он, со всем своим богатством, как-то тяжело и горько не уверен в себе.

Что-то очень неладно со всеми ними (нами?), со всеми характерами, со всеми социальными прослойками, со всеми «общественными отношениями», и поэтому единственный выход — смеяться.

Искать смех и находить его.

Summary

Dmitrij Isakzhanov. Proskynetarion

(the opening chapters see: DN, #8, 2022; #4, 2023; #3, 2024)

The protagonist of the novel lives in his lasting present woven of memoirs and feelings of the childhood among which there are emerging events and people – all he had seen, heard, everything that imprinted in his character and destiny. How to pass all this on to his son? Though the narrative drawing of the novel is rather simple (the protagonist comes home from the United Arab Emirates where he had been working to Russia, into the family's world that is falling apart) first of all this novel is about the time within which the life is being lived and overcome.

Poetry

Sergej Zolotarev's collection of poems with the ironical title "The Absolute Classic" presents the rhymed portrait of our time – complicated, sometimes absurd, causing bewilderment or delight but inseparably linked with the reality of the life in general and a separate person's life in particular.

In Felix Chechik's lyrics much is told about the childhood, parents and his dear town of Pinsk. With the years all this is being brought into sharpest relief, becomes more painful and the life begins to remind Chekhov's plays and Bakhtin's carnival.

The poetics of Lyubov Glotova is based on "the true simple" which is not only time but the everyday life and the life of the whole world.

Adolf Shapiro. Stand Still! Partings and Meetings

Chapters from the upcoming book

"The phantom pain of the loss of the theater didn't let me go. In my dreams I was trying to get into it. What the hell?! I don't recognize the door, it is different, not familiar. I ring the bell, I knock at the door. The janitor doesn't open it. Of all people! He's always so friendly... I'm shouting at him so that feel ashamed of myself... Impossible to recount all those dreams. The more distinct was the dream the worse was the morning: the previous life will never return again and the new one will be totally new..." Under the heading "Prose.doc" we present chapters from the future book of the theater director A. Shapiro. His life after the closure of Riga's Theater of the Young Audience. Developed by the time portraits of the beloved people that surrounded the author in his childhood and the people of the theater: Natalya Krimova, Oleg Tabakov, David Borovskij, Sergey Dreiden...

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**
<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России** — **ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте
<http://дружбанародов.com>

Журнал продаётся в магазине «**Фаланстер**»
Москва, ул. Тверская, 17
(вход с Малого Гнездниковского переулка)

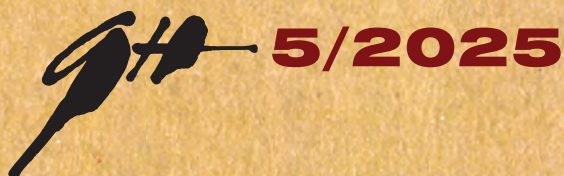
Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»





Читайте:

Георгий Гратт. Двери войны. Повесть

Тёма вскочил с первыми ударами. Разрывы слышались где-то далеко за лесом и станцией, но земля содрогалась так, будто какой-то мифический небесный кузнец колотил по ней своим тяжким молотом. «Дальнобойная кроет, — мелькнуло в голове мгновенное озарение. — Не наши — немцы!» А вместе с этим первым пришло и другое — осознание собственной правоты, но вызвало оно вовсе не удовлетворение, а горечь. Да кому она нужна теперь, эта правота? Всё это пронеслось в сознании мгновенно, он даже не успел толком вскочить на ноги, а вскочив, тут же бросился тормозить товарищей: — Подъём!!! Началось! Война!

Снаряды пожились уже возле самой станции, и когда Юрка наконец-то завёл и вытолкал свою колымагу на дорогу, весь лагерь бурлил и кипел, словно растревоженный муравейник, разворошенный палкой. Вдоль железки горели пакгаузы, рвались складские помещения и чёрный дым заволакивал округу, а над головой, сшибая листву, сучки, свистели и хлупали, врезаясь в стволы, осколки фугасов.